

СИБИРСКИЕ ОГНИ



Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
В. Н. Сероклинов (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Станислав Михайлов (зав. отделом поэзии)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Михаил Косарев (зав. отделом критики)
Марина Акимова (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

11 ноябрь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил ЧВАНОВ. Серебристые облака. Роман-реквием. Окончание.	3
Виталий НАУМЕНКО. Колядки. Рассказ.	57
Сергей КРУЧИНИН. Патерик говорящего скворца. Документальная повесть. <i>Окончание.</i>	74
Алексей СМИРНОВ. Пассажиры. Миниатюры.	118
<i>Представляем молодых</i>	
Яна СТАХНЁВА. Между строчек не читать. Главы из романа.	149

ПОЭЗИЯ

Владимир ЯРЦЕВ. Сон до рассвета. Стихи.	53
Алексей ИВАНТЕР. «И кислый хлеб, и вязкое питье...» Стихи.	71
Нина СТРУЧКОВА. «Самое лучшее платье надену...» Стихи.	114

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь ЛАДЫГИН. Сказания о стрелках сибирских.	154
Геннадий АГАМАНОВ. Мои родные старoverы. Окончание.	161
<i>Народные мемуары</i>	
Дмитрий НЕЧИПУРЕНКО. Воспоминания. Окончание.	180

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА*

Роман-реквием

Жизнь без тебя...

О смерти и о том, что ждет после нее, начинаешь всерьез думать только тогда, когда она напрямую коснется тебя.

После твоей смерти стал читать откровения так называемых святых праведников и старцев. Но чем больше они старались меня убедить в жизни после смерти и в существованиирая, тем меньше во все это я верил.

Меня всегда поражала, возмущала заброшенность, запущенность русских православных кладбищ. А если уж погибла деревня, то кладбище ненамного переживет ее: уже через несколько лет распадется ограда, и оно будет затоптано скотом, через какое-то время через него проложат дорогу или даже ЛЭП... Но, может, действительно, это не от расхристанности души, а оттого, как некоторые меня убеждают, что русские, православные, на каком-то генетическом уровне всегда знали, что мы на Земле только временно, что бессмысленно и даже преступно не только строить рай на Земле, но и более или менее благополучно обустраиваться на ней?

Но вон у католиков, протестантов какие кладбища ухоженные. Но ведь они тоже знают, что они на Земле временно!

Труды всевозможных праведников приводили меня в смущение, прежде всего тем, что больно уж сладки, до приторности, их свидетельства о загробном мире, хотя они там никогда не бывали. Невольно закрадывается мысль: может, нас дурачат, обманывают, специально уводят с Земли, чтобы освободить место кому другому? Меня смущало и смущает, и это не дает покоя, что иная жизнь почему-то всегда представляется вечной халявой, где никто ничего не делает, но где все сыты и счастливы, разве только не пьяны. Этаким счастливым дурдомом. Все мое существо, вся моя суть восстают против этого, не хочу я жить или быть в этом счастливом дурдоме. И на том свете я хочу соучаствовать в общем труде, пусть даже в аду в качестве каторжника, к примеру, на каменоломнях, конечно, зная, что эти камни пойдут на строительство чего-то важного.

Не лукавят ли святые праведники, обманывая самих себя, мечтая о вечном блаженстве? Не может быть счастья при вечном блаженстве. Зачем тогда душа?

Никто не может знать, что там, за гранью смерти, и потому не надо выдавать желаемое за действительное. Чем больше я читаю труды всевозможных праведников, тем более одолевает меня страх, что я становлюсь атеистом.

Я больше узнаю о том, Высшем, молча и благоговейно стоя перед иконами и свечами в небогатом сельском храме...

* Окончание. Начало см.: «Сибирские огни», 2014, № 10.

Если я не верую, то что меня время от времени заставляет идти в храм и, замерев телом и душой, стоять там, порой даже не вслушиваясь в смысл службы?

Жизнь без тебя...

Самое тяжелое в моей памяти о тебе то, что ты так и не смогла понять, что порой обрушивающаяся на меня печаль никак не связана с тобой. Что эта необъяснимая даже самому себе печаль-тоска сидит во мне, может быть, изначально, как тоска по чему-то высшему, неведомому, но интуитивно чувствуемому, может быть, недостижимому, но без чего душа не может чувствовать себя счастливой. А ты, вместо того чтобы попытаться понять и разрушить это чувство, все подозревала, что причиной тому другие женщины, отчуждалась от меня, тем самым отталкивая меня от себя и усиливая эту тоску-одиночество. А я почему-то никак не мог тебе объяснить причину этой печали, может быть, потому, что сам не знал ее причины.

Ты не могла понять, что я от рождения, может, от нелюбви моих родителей друг к другу — одинокий неприкаянный человек, которому не хватает тепла. И пойми ты это, мы были бы, наверное, как никто счастливы. А от твоего неверия я замкнулся в себе, и между нами как бы встала невидимая стена, которую мы так и не смогли преодолеть. Ты не могла понять, что поверь ты мне, пригрей меня, и я расплавился бы как воск. Ты считала, что с появлением тебя в моей жизни я должен был постоянно улыбаться от счастья, но сама ничего не сделала для этого. Получалось: я мешал тебе быть самой собой, ты мешала мне быть самим собой. Так и жили, только в самом конце, на краю пропасти, кажется, поняв, что с обеих сторон это была нелепая гордыня. И чтобы понять это, нужна была твоя смертельная болезнь...

Любили или не любили мы друг друга? Или у каждого осталась неосуществленной мечта об истинной любви, которая, видимо, не всем на Земле дана?

Но все-таки: откуда, почему во мне эта как бы изначальная печаль?..

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Всего несколько лет назад, несмотря на то, что мне за шестьдесят, я летал во сне. Чуть ли не каждую ночь. Раскидывал руки в стороны и — летел...

Это что-то вроде полета на дельтаплане, только я летел на собственных раскинутых руках, да еще для большей летучести распахивал рубашку. И так отчетливо все было. Совсем не как во сне. Даже проверял, ощупывал себя, даже больно щипал себя: может, мне это действительно только приснилось, и убеждался: нет, не во сне.

Как правило, начинал полет от Круглого леса, от нашего огорода, с холма, который ты так любила, потому что с него открывались такие дали! Летел вниз в широкую речную долину, на холмы за ней, где лентой извивалась Транссибирская железнодорожная магистраль, поезда змейкой пробегали подо мной, но я торопливо отплывал в сторону, боясь линии электропередачи...

Порой поднимался так высоко, что становилось страшно, и скорее сбрасывал высоту, запахивая на груди рубаху...

А говорят, что летают во сне только в детстве...

Жизнь без тебя...

Иногда опять приходит кошунственная мысль, что по ту сторону смерти ничего нет, что бессмертие души мы придумали для самообмана, для оправдания пустоты за гранью жизни, чтобы не так страшно было умирать...

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

— Давай повременим с ребенком, — сказала ты, кажется, на следующий день после свадьбы. — Я так устала, мне хочется хоть немного отдохнуть, хоть какое-то время пожить свободно.

А я обрадовался, вместо того чтобы возразить: ребенок мог помешать моей недописанной книге, моим дорогам... Куда торопиться, у нас все впереди...

Это был наш первый и главный грех, из которого истекли все другие.

И потому нет нам прощения... И потому мне нет прощения, потому как своим предложением подождать, ты, может, проверяла меня.

Жизнь без тебя...

Ты ушла раньше меня. Этому есть какое-то оправдание, если существует тот, верхний мир, и тебе в нем сейчас хорошо. А может, ты ушла — в наказание мне, потому что моя вина несоизмеримо больше твоей, чтобы я мучился всю оставшуюся жизнь? Чтобы совершенствовалась моя душа? Но почему-то я этого не ощущаю.

Во мне осталось море неистраченной теплоты, которая тяжелым грузом давит на меня. Я готов обрушить ее на кого-нибудь, как бы в искупление вины перед тобой. Но не могу встретить того человека, которому это тепло было бы нужно, хотя вокруг меня ходят тысячи людей в поисках тепла.

Жизнь для самого себя для меня потеряла смысл.

Жизнь без тебя...

Неожиданно в твоём столе нашел обрывок бумаги:

«Прощай, Дымка, мой не родившийся сын! Ты не зря приходил ко мне в этот мир, из того, неизвестного мне, ровно на 9 месяцев, что отпущены природой каждой женщине. Ты хотел, чтобы я удержала тебя на этом свете, и Бог подсказывал мне: “Не уезжай. Твое место тут, рядом с ним”. Я это чувствовала, я знала, что необходима тебе, но, помимо своей воли, уехала... Прости, я слишком часто в своей жизни шла на поводу чужих желаний, чужих интересов и стремлений.

Ты, моя частичка, помнишь ли, как я несла тебя по скользкой, ненадежной земле, боясь уронить, потерять, как потеряла уже однажды, несколько лет назад, катаясь в жутких схватках? Прости, мой маленький... Бог свидетель, я не хотела, я держала тебя крепко-крепко, хотя было мне очень тяжело. Так же, как тогда, когда еще слабым комочком бился ты в утробе моей...

Прощай...

Скоро я буду далеко, но от этого не стану думать о тебе меньше, может, даже, наоборот, у меня будет свободной душа, чтобы проситься к тебе...»

Дымка — умерший от чумки щенок. Мы поняли, что он заболел, в воскресенье, перед самым отъездом с дачи, когда мы уже опаздывали домой, а среди недели по каким-то причинам я не мог поехать на дачу. А когда приехали вечером в следующую пятницу со всевозможными лекарствами, не обнаружили его. Я ходил по всему садовому поселку в поисках его, искал до самой темноты, но не нашел. Был уже конец октября, был первый настоящий заморозок, трава была белой от инея.

Ты всю ночь не могла успокоиться:

— Если он еще живой, где-то сейчас лежит на мерзлой земле.

Я молчал, я был уверен, что Дымки уже нет.

Утром ты встала чуть свет, тебя очень долго не было, я уже два раза подогревал поставленный на электроплитку чайник. Наконец ты появилась, совершенно вымученная, и без сил повалилась на постель:

— Почти полкилометра несла, выбилась из сил, — сказала ты отчужденно. — Ведь он, наверное, килограммов десять весит. Иди, что стоишь. Он вот там лежит, у посадки.

— А где ты его нашла?

— Плохо ты вчера искал. В лесу, у родника, в чилижнике...

Но уже никакие лекарства ему не помогли...

Сердце надрывается при чтении этого письма. Я не подозревал в тебе этой разрывающей душу тоски по детям. Ну, умер щенок — и умер. А он у тебя ассоциировался с не родившимся сыном. Вот поэтому, видимо, ты не приходишь ко мне во сне. Потому ты не простила меня, потому ты мне ни разу не приснилась.

Жизнь без тебя...

Я знал, что всю оставшуюся жизнь буду жить с чувством вины перед тобой. Но я не подозревал, что чем дальше, тем больше чувство вины перед тобой будет обостряться.

Чуть ли не последние твои слова:

— Скажи что-нибудь...

А я молчал как истукан. Так и осталась между нами — эта напряженная недосказанность.

Жизнь без тебя...

Снова и снова точит мысль: тебя считали доброй, меня считают добрым, но почему мы не были добрыми друг к другу? Почему только в самые последние месяцы и дни мы, наконец, стали друг друга понимать? Чтобы там, в иной жизни, встретиться уже совершенно родными, когда друг другу ничего не нужно будет объяснять, когда мы станем как бы единым целым?

Жизнь без тебя...

Читаю:

«Хотя умершие находятся с нами в постоянном общении, мы, однако, ничего об их близости не подозреваем, пока не наступит час видимого доказательства тесной связи их с Землей, по разным причинам продолжающей их притягивать.

Одни, по своей материальности, еще тяготеют к грубым ее радостям и не могут подняться до более высоких, более духовных радостей, пока еще им недоступных. Других около нас держит их привязанность к нам. Лучшие из них, то есть те, кто там уже достиг известного духовного совершенствования, получают возможность незримо общаться с близкими своими, пока еще живущими на Земле...»

В городской квартире, в которую мы въехали за пять лет до твоей смерти и в которую ты так не хотела въезжать, хотя, в отличие от прежней, она была большой и удобной, я не чувствую твоего присутствия, хотя все в ней напоминает о тебе, начиная с двух твоих фотографий на столе: в юности и через полгода после операции, за год до твоей смерти. В саду же, который на самом деле был твоим главным домом и куда до самых последних дней тянулась твоя душа, я постоянно чувствую твое присутствие: в посаженных тобой яблонях, в осеннем хозяйском посвисте синиц, в весеннем голосе кукушки, во внимательных, как бы укоризненных глазах полудикой собаки Динки, хотя она и родилась уже после тебя.

Жизнь без тебя...

То и дело точит мысль: вот неожиданно умру, погибну в автомобильной катастрофе или еще как: кому все это достанется: квартира, садовый дом?.. Даже не это сосет, мучает, а то, что чужие люди будут копаться в моих вещах, бумагах, письмах, в твоих фотографиях. Поскорее выбросят все на свалку, чтобы занять квартиру, а то вдруг объявятся какие-нибудь родственники. Откуда им знать, что родственников нет...

Жизнь без тебя...

Письмо Валентина Григорьевича Распутина: «Я ведь тоже теперь живу по инерции, надо — поднимаешься и садишься за стол или идешь куда-то, а по дороге понять не можешь, куда и зачем идешь. Все писательство (помнится, в сентябрьском письме ты говорил о том же) — некрологи, воспоминания об ушедших, предисловия к чужим книгам, но и это все с трудом. Началось это еще до гибели Марии, а после уже усугубилось, прошло полгода, и мало кто верит, что за это время нельзя восполнить силы, приступают бесцеремонно: “Ты должен!..” Должен не должен, а не могу, и вернется ли то чувство долга, не знаю.

Удивляюсь я и еще одному совпадению с твоим то ли настроением, то ли ощущением: мы больше хотим верить, чем веруем на самом деле. Во мне это тоже есть, пытаешься погрузиться — и не получается, чувствуешь себя рядом с бабюшками и серьезно верующими обманщиком. Я с владыкой нашим говорил об этом, он успокаивает: “Да вы веруете больше, чем верующие по всем буквам веры”. Но я-то знаю, что это не так и что своей откровенностью ставлю нашего добрейшего владыку в неловкое положение...»

Жизнь без тебя...

Снова и снова вспоминаю, как тебя забирал из ракового центра, уже окончательно выписанную — умирать.

Главврач великодушно предложил оставить тебя умирать в так называемом паллиативном отделении, как он хвалился в газете, чуть ли не лучшим в России. Я поспешно отказался. Без всякого сомнения, я забрал бы тебя из любого самого престижного хосписа, человек должен умирать дома, если, конечно, он у него есть, умирать же в таком паллиативном отделении не пожелаешь и врагу: плотно приставленные друг к другу, как, наверное, в тюремной камере, только второго яруса нет, еле протиснешься между ними, кровати в маленькой душевной палате, разгороженной напололам ширмой. Напротив, через коридорчик, такая же мужская палата. Из-за духоты двери открыты, и ночью какой-то мужик, перепутав, пытался лечь рядом с твоей соседкой.

Вывозил я тебя к машине в выданной мне как бы на прокат больничной коляске черным ходом на хоздвор, чтобы не видели тебя только что поступившие или ждущие очереди в раковый центр, чтобы раньше времени не узнали, что большинство из них ждет в скором или в сравнительно скором будущем. Попадавшие в коридоре врачи и медсестры, еще неделю назад здоровавшиеся с тобой, молча расступались, смотрели как бы сквозь нас, делали вид, что не замечали нас, так как ты уже была вычеркнута не только из списков ракового центра, но и из списка живых. Голова твоя в нелепом парике уже почти не держалась на истонченной шее, заваливалась то в одну, то в другую сторону, и ты стеснительно, как бы извиняясь, что ставишь людей в неловкое положение, поддерживала ее столь же истонченными дрожащими руками. Через черный ход, кроме медперсонала, просачивались навещающие вне положенного времени своих родственников, и они с ужасом смотрели на тебя. А ты улыбалась виновато и все пыталась прямо держать голову, а она все заваливалась и заваливалась то в одну, то в другую сторону...

Жизнь без тебя...

В саду накатил приступ дурноты — до тошноты и сердечной тяжести, хоть ложись и умирай. Так бывало у меня и раньше — при резкой смене погоды, когда южный ветер вдруг менялся на студеной обжигающий северный: на резкое изменение атмосферного давления не успевают реагировать сосуды мозга — последствие тяжелой травмы головы и контузии в юности. В такой момент действительно можно неожиданно умереть. Но ты знала, как быстро снять такой приступ — а без тебя я сейчас не знал, что делать, растерянно копался в куче оставшихся после тебя, в большинстве своем уже просроченных лекарств и без особого сожаления готов был умереть.

Одно было только сожаление: на кого останутся твои собаки...

Жизнь без тебя...

Я один в лесном садовом поселке. Приехал на выходные дни покормить собак: машину оставил в деревне, дальше на лыжах. Не могу уснуть. Выхожу в морозную лунную ночь, искрится иней на ветвях березы, белым облаком нависшей над моим домом. Выше, неясные, мерцают звезды, словно что-то говорят, в том числе мне, хотя я знаю, что это всего лишь раскаленные ступки плазмы, подобно нашему Солнцу. Знаю, но душой почему-то не соглашаюсь с этим, сейчас, в лесном одиночестве, они для меня живые. Друг детства, академик-химик, на днях поздно вечером, совершенно трезвый, позвонил мне и сказал на полном серьезе: «Американцы запустили телескоп “Хаббл”. Установили, что Солнце наше потухнет через 34 миллиарда лет, и мне стало грустно».

Странно томится душа. Она томится с детства, с самого первого дня, сколько помню себя. Даже в самые счастливые дни моей жизни, когда мне было хорошо, по крайней мере, мне так казалось, ей все равно чего-то не хватало, она все равно томилась по чему-то неизвестному...

Неожиданно для себя, запрокинув голову к звездам, говорю вслух:

— Не может у человека не быть продолжения после смерти, если всю свою жизнь, если до последнего дня своего он живет с ощущением, что если не все, то, по крайней мере, самое главное, у него еще впереди. Если с самого первого и до последнего дня у него томится душа по чему-то не осуществленному, если душа, по себе знаю, не стареет, с каждым годом все больше противоречит дряхлеющему телу. Оно становится как бы лишним ей. Душа по-прежнему, как в детстве, томится по чему-то неизбывному, для чего она на самом деле рождена и предназначена. Откуда у человека это стремление в небо, которое для его земных жизненных потребностей совершенно не нужно, откуда — пусть примитивное, на уровне технических средств, вроде полета Гагарина?..

Зашевелились под верандой собаки, встревоженные моим голосом. Чувствовалось, как им, наконец-то по-настоящему сытым, не хотелось выбирать из тепла на мороз, и я поторопился успокоить их:

— Спите, спите, это я сам с собой... Это я — с небесами...

Собаки, кажется, поняли меня и успокоились, только благодарно постучали хвостами о стену дома.

На следующий вечер неожиданно нахожу в одной из книг, трактующих святоотеческое учение:

«Желание жить всегда, которое находится в сердце каждого человека, дано Создателем не без цели. Это есть как бы первое указание на бессмертие души, как бы первое побуждение готовиться к жизни будущей. Желание жить связано с желанием счастья, которого ждет всякий. Эта жажда счастья полностью не утоляется здесь, на Земле, следовательно, должна быть жизнь будущая, где бы могло исполниться это пламенное желание нашего сердца. Но счастья мы ждем беспрестанно. Но никто не может дать нам его. Неужели это

счастье нигде не существует? Ужели Бог вложил в нас это желание, не имея намерения когда-нибудь удовлетворить его?..

Смерть некогда будет истреблена. Таким образом, смерть представляется явлением временным и ненормальным. Смерть не есть установленный закон для человека. Смерть, как бы мы ни рассматривали ее, — зло, а зло Бог не мог сотворить. Напротив, все сотворенное Богом найдено Им самим прекрасным: “И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма”. Уже самый способ создания человека, природа которого, духовная и физическая, образует одно существо — человеческое, показывает, что смерть как расторжение двух природ его не входила первоначально в планы Божьи. По творческому плану Бога сущность человеческого существа должна состоять не из одного духа и не из одного тела, а из того и другого вместе, в неразрывном союзе и согласии: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою”. Святое Писание ясно показывает, что человек даже и по телу создан для жизни бессмертной, когда говорит о древе жизни посреди рая, вкушая от плодов которого, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен навсегда...»

Отрываю глаза от книги, чтобы осмыслить прочитанное. Ему не противится вдунутая в меня при рождении душа, а наоборот, вдумчиво, трепетно внимает.

А вот следующее утверждение осмыслить мне не по силам, и от этого тревожно:

«Между тем сам Бог, давая заповедь нашим прародителям о невкушении плодов от древа познания добра и зла под угрозой смерти, тем самым показывает, что люди могли избежать смерти и могут избежать истинной смерти, если они будут исполнять данную им заповедь».

А зачем он тогда взрастил в раю древо, на котором одновременно плоды познания и добра, и зла? И почему Он вообще попустил существование зла? Я тщусь, но никак не могу понять, моя мысль словно упирается в стену или повисает в пустоте, и рождается отчаяние и раздражение. Почему Господь дал первому человеку возможность совершения греха? Решил проверить его? Почему его первородный грех стал неотвратимым грехом всего человечества до скончания века: человек еще не родился, а он уже грешен?

И еще:

«По выражению Макария Великого, “до падения человека тело его было бессмертным, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховным и плотским ощущениям, ныне ему естественных”. Чувства его были несравненно тоньше, действия их были несравненно обширнее и вполне свободны. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою. Он был способен к общению с ними, а также к тому боговедению и общению с Богом, которые сродни святым духам. Святое тело человека не служило для него препятствием, не отделяло его от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне могут пребывать одни святые и одними душами своими, с которыми по воскресению соединятся их тела. Тогда человек снова вступит в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое одновременно было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресению.

С падением изменились и душа, и тело человека. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть, в сущности, есть только разлучение души с телом, прежде того уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни, Бога. Мы рождаемся уже убитыми вечною смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты, по общему чувству мертвецов не чувствовать своего умерщвления. Недуги нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ естественного мира, его дебе-

лость — суть следствия падения. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных, оно существует жизнью своего павшего естества. Оно служит для души темницей и гробом».

Я пытаюсь все это понять и принять, но если в какой-то мере понимаю и принимаю, то больше умом, чем сердцем. И почему я должен принимать безоговорочно утверждения Макария Великого? Его утверждения, пусть даже они результат какого-то внутреннего зрения, видения — совершенно не доказательны, не подтверждены никаким опытом, в который я мог бы безоговорочно поверить. Это не больше, чем предположение, пусть даже гениальное. Зачем мне все это навязывается как безоговорочная истина, при этом постоянно присутствует какая-то недосказанность, которая, во-первых, дает мне возможность сомневаться в сказанном, а во-вторых, по-разному трактовать сказанное?

Пользуясь этой недосказанностью и почему-то заложенной во мне изначально, еще со времен прародителей человечества, неспособностью отличать плоды познания добра и зла, мне, ищущему истину, то и дело подсовывают другие книги, тоже якобы проповедующие истину, цель которых — заставить меня если не усомниться в истинности существования загробного мира и явления Иисуса Христа, то хотя бы поверить в то, что это учение устарело. В этом ряду неожиданно для меня оказался и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, который однажды вознамерился переписать и Иисуса Христа, и Конфуция, то есть заменить их собой. Я был поражен его ранней дневниковой записью, относящейся к 1855 году: «Ныне я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но обещающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основные мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

Но мало ли что приходит нам в голову в молодости, когда нами часто руководит гордыня. Меня поразило, что с годами Толстой не распроцался со своими нелепыми и кощунственными, и не только по мнению Церкви, идеями, а наоборот, укрепился в гордыне. Уже будучи, мягко говоря, в преклонных летах, за три года до смерти — он поставил себя на место Христа, даже пытался заменить его: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3—5 тысяч лет тому назад».

Другие меня пытаются убедить, что Евангелие было извращено апостолами: не важно, по хитрости или из-за непонимания. Признаюсь, мне порой тоже приходят подобные мысли. Третьи снова и снова мне подсовывают ядовитую мысль, что утверждение о загробном мире — всего лишь сладостный самообман, а на самом деле там пустота. И потому, пусть духовно совершенствуюсь, нужно жить — да, по совести — но только настоящим и брать от жизни все возможное здесь, на Земле, потому что никакой другой жизни не будет.

Однажды твоя подруга, помешанная на эзотеризме, всучила мне при встрече некую книгу:

— Это тебе обязательно нужно прочитать!

Я знаю, что в голове у нее полный хаос, там перемешались Библия, Блаватская, и, разумеется, Рерих, и еще много кто, только, наверное, черт знает всех. У меня было желание выбросить этот подарок в первый же встретившийся на пути мусорный контейнер, я не сделал этого только из уважения к

книге как таковой. Толстенная книга некоего А. Клизовского, которая так и называется «О смысле жизни». Вызывая у меня раздражение и в то же время притягивая к себе, она долго лежала на журнальном столике. Наконец из любопытства заглянул в предисловие: написана в преддверии Второй мировой войны, ее автор за свои убеждения погиб в советском концлагере. Книга стараниями его последователей издана огромным для нашего времени тиражом. Перед сном, чтобы, наконец, решить судьбу книги, открываю:

«Вопрос о смысле жизни принадлежит к числу вечно волнующих, неразрешимых и роковых вопросов, которыми вот уже несколько десятков столетий болеют народы западного мира. Вопрос этот встает перед каждым достигшим известного развития, человеком, рано или поздно, на заре или закате жизни, неизбежно.

Откуда мы пришли, куда идем, какая цель существования человека на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт, “дар напрасный, дар случайный”, или в непрерывной, вечной круговерти жизни кроется какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная, неотвратимая смерть? Убийственно тяжела для человека мысль о неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главной причиной искания человеком смысла своего бытия является недоумение перед смертью, перед прыжком в бездну и неизвестность...

Человеку, утерявшему истину о непрерывности жизни, смерть, действительно, должна казаться ужасной бессмыслицей, и, ища смысла жизни, человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить, во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для всякого?

В выборе смертью своих очередных жертв нет никакой системы, никакого плана, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости или даже до преклонного возраста, то это было бы понятно, но когда умирает человек в возрасте своей плодотворной деятельности или на заре своей юности, или даже только что родившийся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасающей непонятности.

Результатом вызываемого смертью недоумения бывают ропот и упреки в несправедливости того, кого люди называют Богом, или появление апатии и потеря интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность бессмысленной смерти порождает у мыслящего человека горечь, разочарование и нежелание жить, что часто приводит его к еще большей бессмысленности — к прекращению своей жизни, что стало обычным явлением в наше время.

В своей жизни человек ищет конечной цели своего бытия, конечного смысла, который обнимал бы и поглощал бы собою все выдвигаемые жизнью цели и задачи. Он хочет такого объяснения смысла жизни, который не ставил бы в тупик перед смертью, но, перебросив мост между жизнью и смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бесконечным. Который вместе с разрешением этого кардинального вопроса разрешил бы и другие неразрешимые вопросы, вытекающие из этого основного вопроса, т. е. о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной...»

Все это созвучно мыслям, наверное, каждого из нас и притягивает, заставляет читать дальше:

«...Ответы на загадки бытия, которые дает христианская религия, вкратце следующие. Смысл жизни — в познании Бога, в приближении к Нему. Любовь к Богу как к источнику жизни и осуществление этой любви — в служении человечеству. Земное существование человека есть только начало, впереди лежит бесконечность, которая не поглощает человека, но приобщает его к себе. Смерть побеждается вечностью. Ключ к бессмертию заключается в воскресе-

нии Христа и в непреложности воскресения мертвых, уверовавших в воскресение Христа. По этой теории вечным блаженством и вечной жизнью могут наслаждаться лишь избранные. Но это еще не все. По учению христианской церкви, воскреснут из мертвых и наследуют жизнь вечную только верующие во Христа...»

Меня, как и автора этого труда, тоже смущает мысль об избранных: а что с остальными, которые — не по их вине — не poznали Иисуса Христа?

Я полностью согласен с ним, я уже поддаюсь логике его мысли, хотя следующее его утверждение меня заставляет задуматься:

«По учению истиной науки, которая вместе с тем есть истинная философия и истинная религия — цель жизни есть жизнь. Но так как жизнь проявляется в движении, то синонимом жизни является движение. Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами: “Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Здесь ясное и прямое указание на необходимость беспредельного совершенствования, до подобия Отцу Небесному. Вечная жизнь управляется вечными и неизменными законами, которым подчинено все находящееся во Вселенной. В вечной жизни смерти нет. Сама смерть есть непрекращающееся действие жизни, которая отжившие формы жизни заменяет новыми, более совершенными...»

Что значит — истинная наука и истинная философия? Кто установил их неоспоримую истинность? Читаю дальше и начинаю подозревать, что меня, очаровав близкими мне и миллионам других людей мыслями о жизни и смерти, кто-то в очередной раз пытается ввести в смущение, иначе говоря, завербовать в одну из многочисленных сект, суть которых одна: увести от Иисуса Христа, подозревая, что у меня и мне подобных вера в Него не крепка, и своевременно нас нужно перехватить:

«В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих вопрос: для чего необходимо Новое Учение, когда существует Учение Христа?.. Ввиду того, что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности Учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на необходимую высшую ступень. Поэтому полагать, что раз существует Учение Христа, то в новом нет надобности и без него можно обойтись, — значит или совершенно не уяснить себе законов эволюции и пребывать во тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, который не хочет учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он освоил в основной школе, а высшей ему не нужно. То Учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее.

Что касается имени Учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение, ибо он знает, что каждый Учитель уже много раз приходил на Землю, принимая всякий раз новое имя, и какое имя он пожелает принять теперь, никому неизвестно.

Необходимо принять Учителя и Его Учение сердцем, тем высшим сознанием человека, которое все знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени Учителя не станет. Тот, кто не может принять Учителя сердцем, желая постигнуть Его умом и, прежде чем принять Его, удостовериться, есть ли Он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя Учителя, Его не примет.

Христиане ждут прихода Христа, евреи ждут Мессию, магометане ждут Мунтазара, буддисты ждут Майтрею, последователи Зороастра ждут Саошьянта, индусы ждут Калки Аватара. Новое Учение говорит о наступлении эпохи Майтреи. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся?

Нисколько. Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему Единое Мировое Учение. Явится один Учитель, один Спаситель мира, но всякий ждущий и принимающий Его сердцем своим увидит

Его в таком виде, в каком он ждет Его. Христианин увидит Его в образе Христа, магометанин — в виде Мунтазара, буддист — Майтрейей, индус — Калки-Аватаром и т. д.

Из этого явствует, что имя Учителя — вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших Учителей и грядущего Учителя, суть имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрейя, Калки-Аватар, Мунтазар и Мессия обозначают Спасителя мира, единую Высочайшую Индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот Великий Облик в соответствующем воплощении...»

И мне уже все ясно с этой книгой, что это очередная масонская уловка, скрытая под красивые одежды, тайный смысл которой: давайте объединимся в общей вере, но без Иисуса Христа, который устарел, в общем боге, которого нет, но мы от имени Его и вместо Него будем править вами.

Но по инерции еще продолжаю читать:

«Особенностью языка священных писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрыта символами, что дает возможность всякому понимать скрытую символами истину сообразно своему развитию. Необходимость символического языка для сообщения людям трансцендентных истин вытекает из того, что религиозное учение дается не для одного поколения, не для сотен, не на один век, но на десяток веков, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития...»

Символический язык сохраняет жизненность и неувядающую свежесть писаний в течение веков, но он служит отчасти и причиной извращения и ложного понимания Учения. Когда человек своим малым ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символом истины, то неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям...»

Полностью согласен с последним утверждением, меня не однажды посещала эта мысль: почему Истина, коли она истинна, если с нами не лукавят, дана нашему несовершенному уму в виде символов? Ведь именно язык символов — причина многочисленных толкований Истины. Именно язык символов — основная причина появления бесчисленных сект, трактующих Истину. И невольно встает вопрос: тогда Истина ли это, раз ее прячут за символами, которые можно трактовать как угодно? И цель вышеприведенной хитрой тирады Клизовского: снова разбудить давно отвергнутые мной или дремавшие во мне вопросы, посеять сомнение, после чего можно уже в открытую идти в наступление, навязывая свою доктрину:

«Такая замена истины ложью произошла в христианском учении. Из него была изъята жемчужина — непрерывность жизни, и вместо этих ценностей была дана бессмысленнейшая теория вечных мук или вечного блаженства за дела одной короткой жизни. Поэтому, чтобы выйти из этого безвыходного положения и избавить последователей искаженного таким образом учения Христа от ужасных вечных мук, придумано было отпущение грехов. Возможность вечного мучения за одно мгновение, чем в сравнении с вечностью является человеческая жизнь, делает религиозное объяснение смысла жизни неудовлетворительным и неприемлемым. Человеческий разум и человеческое сознание, лишь подчиняясь жестокой необходимости, вопреки здравому смыслу делает вид, что принимает мировоззрение, которое проповедует как истину величайшую несправедливость и самую чудовищную жестокость, то есть дает возможность вечных мук за одну короткую жизнь. Но в действительности в глубине своего сознания человек никогда за истину признать этого не мог и не может...»

И я отчужденно отодвигаю в сторону эту книгу, определив ее в мусорный контейнер. А потом передумываю: увезу на дачу, сожгу в печке или на костре. Но в голове она все-таки, против моей воли, застряла, зародила ядовитые семена.

Ежегодно издаются, переиздаются и вновь пишутся десятки, сотни подобных книг о смысле жизни, о том, что будет с нами после смерти, вроде бы не отрицающих Христа, а как бы наоборот, продолжающих его, но хитро заставляющих сомневаться в его истинности...

В этом ряду особое место занимает учение Николая Рериха, от посредственных картин которого веет ледяным холодом, именем которого заморожены головы миллионов людей. Далеко не безобидная рериховская секта выпустила свои щупальцы по всему миру, ее адепты не хотят слышать, что рериховская экспедиция на Тибет в поисках Шамбалы была экспедицией ОГПУ, что истинным руководителем ее был террорист и оккультист Яков Блюмкин. Учение «Живой этики» Елены Рерих — это сладко-ядовитая масонская антихристианская мистификация, рассчитанная на сомневающихся и простодушных. (Из поздних изданий благоразумно была вычеркнута саморазоблачающая сказка о «письме» великих махатм (учителей) Индии к великому махатме Ленину.)

В конце концов, я стал обходить стороной любые книги о смысле жизни, подозревая в них если не явный, то скрытый обман...

Жизнь без тебя...

Как обычно, в сумеречной тишине, о чем-то глухо и согласно переговариваясь между собой, над нашим лесным домом пролетели два ворона, семейная пара. Так низко, что был слышен посвист крыльев. Как помню, вороны летали над нами в первый день, когда мы, оформив землю, поставили палатку на лесной поляне, и я стал копать ямы под столбы для ограды. Тогда они, видимо, нарушили свой обычный облет: пролетели над поляной взад-вперед несколько раз, пока не убедились, что это не случайная палатка туристов, что в их лесных владениях объявились новые жители. Я всегда задавался вопросом: где они умудряются гнездиться в нашем давно разреженном, без старых деревьев лесу? Неужели, совершая свой каждодневный вечерний облет, они прилетают откуда-то издалека?

Как известно, вороны живут до трехсот и более лет. Эти вороны жили здесь, чувствуя себя хозяевами, до нас, они пролетали над нами каждый вечер в сумерках при тебе, сейчас они пролетают над нашим домом каждый вечер без тебя, и я, невольно вспоминая о тебе, думаю, что так же они будут пролетать после меня. Я полагаю, что с высоты своего полета, с высоты своего долголетия они снисходительно смотрят на нашу быстротечную суетную жизнь. Что они думают о нас?

Жизнь без тебя...

Пришла третья весна после тебя. Сегодня возвращался с дачи. В высоких болотных сапогах, так как в низинах еще лежал глубокий снег, пробирался пригорками, которые вытаяли лишь местами, в деревню, где оставил машину. Вспоминал, что раньше мы с тобой пробирались именно этим путем.

Невидимые глазу жаворонки торжествовали в небе. Низкие печальные полупрозрачные облака стелились над холмами, из них изредка сыпался еле осязаемый дождь. Солнца не было, но какой-то необыкновенно грустный, но в то же время торжествующий светлый свет окружал меня. И сейчас, весной, я снова вспомнил тот октябрьский день, когда мы с тобой с этой горы шли на электричку: перейдя внизу пшеничное поле, оглянулись назад, на полыхающую золотом и багрянцем гору, и с редким ощущением счастья и взаимного согласия, но словно предчувствуя, что впереди у нас что-то грозное, роковое, поцеловались и поклялись: «Давай запомним этот день!»

Я буду помнить этот день до конца дней своих. Помнишь ли ты его там?..

Жизнь без тебя...

Господи, все-таки как хорошо на Земле, несмотря ни на что! Как все-таки прекрасна Земля! И не может того быть, чтобы мы уходили с нее безвозвратно! Не могу согласиться с тем, что мы только гости на ней! Как можно от такой красоты уходить навсегда?! Неужели мы никогда ни в каком качестве не вернемся на нее? Какой смысл нашей сегодняшней жизни, если мы никогда сюда не вернемся?

Почему-то хочется верить, что мы отправлены сюда не только на исправление, как в ГУЛаг, но и для того, чтобы мы приутожили Землю к чему-то очень важному, красивому, может, ко второму пришествию Христа и к нашей новой жизни вместе с Ним. Иначе какой смысл в нашем украшении Земли? Иначе почему так разрывается душа от печали, от одной только мысли будущего прощания с ней?

Как бы подтверждение этой мысли нахожу у преподобного Максима Исповедника. Он пишет, что замысел Бога был в том, чтобы через человека привести мир к еще большей гармонии, слаженности и единству. Человек был призван последовательно преодолеть в себе разделенность мира. Максим Исповедник недвусмысленно пишет, и эту мысль, волнуясь, горячо принимает моя душа, что человек должен был соединить рай со всей Землей, то есть, нося рай в себе в силу своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю Землю. После этого ему предстояло уничтожить пространство — не только для своего духа, но также и для тела, соединить Землю и Небо. Может быть, мы, умирая, все-таки не навсегда покидаем Землю? Может, это не противоречит идее Бога о человеке? С этой мыслью мне будет легче умирать.

Жизнь без тебя...

Старец Амвросий Оптинский: «Господь только тогда прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в Вечность или же когда не видит никакой надежды на его исправление».

Это изречение очень любят повторять священники.

У меня это вызывает невольную усмешку: получается, что если хочешь подольше побыть на этом свете, то нельзя быть уж совсем откровенной сволочью, и в то же время не надо стремиться, даже наоборот, надо остерегаться попасть в праведники, надо — где-нибудь посередине...

Жизнь без тебя...

Когда ты уже была безнадежна и когда мы по пути из ракового центра в очередной раз проезжали мимо дома на бывшей Бекетовской, где начинали жить вместе и прожили большую часть нашей совместной жизни (а я почему-то всегда упорно ехал этой улицей, только в самый последний момент спохватываясь, что снова и снова возвращаю тебя к воспоминаниям), ты молча смотрела на когда-то застекленный мною балкон. На зиму я пристраивал на него какую-нибудь большую ветку, на которую привязывал пучки рябины и калины, а ниже пристраивал кормушку, в которую насыпал хлебные крошки и семечки. С приходом настоящих холодов на деревце собиралось множество самых разных птиц: синиц, снегирей, свиристелей, разумеется, воробьев, особенно хорошо птицы смотрелись в морозную ясную пору, и люди, идущие внизу, невольно поднимали головы и улыбались...

Теперь уже на чужом для нас балконе сушились детские вещи, но кормушку для птиц они оставили, даже не перевесили на другое место, и я весь сжимался от мысли, что сейчас происходит в твоей душе. Здесь мы были относительно счастливы. Здесь мы были несчастны, но почему-то никак не мог-

ли расстаться. Здесь мы совершили свои главные ошибки. Здесь прошла вся наша с тобой жизнь. Сейчас бывшую Бекетовскую переименовали в очередной раз. Это уже не наша улица. Рядом с нашим нынешним домом, незадолго до твоего ухода, огородили забором старый дом, обреченный на слом. Ты жалела даже не столько дом, сколько ель, которая когда-то кем-то была заботливо посажена у подъезда и которая теперь была обречена на вырубку. Она, как и ты, доживала последние дни.

Ель срубили однажды ночью, еще при тебе...

Жизнь без тебя...

В очередной раз приехали с твоей сестрой на кладбище.

Когда я вернулся от колонки с ведром воды, чтобы полить цветы, сестра, закончившая прибирать могилку, не смогла сдержать слез:

— Сколько воспоминаний, но одно не дает покоя: уже в гробу у нее по щеке вдруг побежала слеза... Боже, как она не хотела умирать!..

Боже, как ты не хотела уходить из этого мира, когда поняла, как нужно было жить!

Снова и снова вспоминаю, как ты была прекрасна в гробу, с лица ушли все следы страдания, оно было покойно и светло. Твое лицо, может, более всего говорило о существовании иного мира, иначе почему оно было таким, словно ты наконец нашла то, что всю жизнь искала?

Жизнь без тебя...

Через три года после твоего ухода — на твой день рождения! — неожиданно пришел приبلудный пес Рыжик, которого мы давно считали умершим. Было это так: утром, еще в темноте на кого-то заворчал Дружок. Я открыл дверь веранды, мимо меня с писком прорвался на веранду, а потом в дом, с грязными ногами, ночью был дождь, Рыжик, пробежал в кабинет, к топчану за печью, на котором мы с тобой раньше спали, но тебя там не было, жалобно заскулил и, опустив голову и прихрамывая, побрел на кухню, где, свернувшись в комок, привычно лег за печкой. Утром поел, поскулил, потыкался из угла в угол, то и дело заглядывая на топчан. Все так же поскуливая, послонялся по участку и ушел...

Жизнь без тебя...

Под Новый год неожиданно уволился сторож Игорь. По всему судя, он заранее готовился к этому. Осенью, под предлогом свозить в ветеринарную клинику, куда-то увез свою собаку. Самое неприятное, что, уходя, он даже не предупредил меня, а ведь с ним мы вроде бы даже дружили. Я только случайно через полмесяца узнал, что Дружок и Динка остались беспризорными. Дружок еще ладно, он будет ходить в соседний дачный кооператив, он там дружит с кем-то из сторожей или жителей. А вот полудикая собака Динка никуда не отходит от дома. Прячется от всех, но никуда не отходит. Потому, отказавшись от предложения друзей вместе отметить Новый год, в последний день старого года, несмотря на буран, еду в сад.

Новый год в обществе бездомных собак, без электричества: всю предновогоднюю ночь завывал, метался буран, и, видимо, где-то порвался электрический провод.

И всю зиму в любую погоду каждую субботу я вынужден ехать в сад: в деревне оставляю машину, встаю на лыжи и иду кормить собак.

Динка по-прежнему сторонится меня. Но когда я ухожу, она какое-то время идет за мной, а потом еще долго печально смотрит мне вслед, в то время как наевшийся до отвала Дружок преспокойно дрыхнет под верандой.

Ты — в образе полудикой собаки Динки — так и не отпускаешь меня. Большинство знакомых, знающих о Динке, сочувствуют мне, спрашивают о ней, даже собирают для нее с Дружком кости.

Однажды я чуть не женился. Это было в другом городе. Я гостил у этой женщины. Пришел день, и я сказал:

— Мне нужно ехать, я уже десять дней не был на даче. У меня там собаки голодные.

— А что с ними случится?! — равнодушно сказала она. — Собаки живучие.

Это меня остановило.

Жизнь без тебя...

Никуда не деться и никогда мне не освободиться от памяти о тебе и обо всем, что связано с тобой. Снова и снова пытаюсь осмыслить твою клиническую смерть за десять лет до истинной, необратимой, когда наша последняя поздняя попытка родить ребенка окончилась страшным маточным кровотечением и выкидышем. Что это: Бог тогда хотел тебя взять к себе, но потом посчитал, что ты еще духовно не созрела для той жизни, что ты еще должна помучиться на Земле, осознать свои грехи? Потому как, вычитал я в церковных книжках, «иногда, по неведомому Промыслу Божию, человеку дается возможность пройти “сень смертную” и на время вернуться назад, в мир живых. Таким образом Господь помогает душе в деле нравственного самосознания и самоопределения, зная, что такой урок будет духовно полезен человеку, который оценит эту милость Божию и дальше будет жить по Его заповедям и воле, заботясь о внутреннем очищении».

Мне остается жить надеждой, что после всех твоих земных страданий, многим из которых я виной, тебе там хорошо. И если, забирая к себе, Бог не отбирает у нас память о земном, я знаю, ты все равно тоскуешь о нашем саде, о наших собаках, о деревьях, посаженных тобой, о щемящих земных горизонтах, которые, может, как раз и зовут в мир иной, о том — 19 октября 1994 года — необыкновенном, печально-торжественном, казавшемся нам неземным, а на самом деле самым земным свете, которым светилась, полыхая золотом и багрянцем, наша роща... Может быть, вспоминаешь обо мне...

Жизнь без тебя...

Может, нужно было тебе дать прочесть эту книгу, «Жизнь после смерти»? Другие подобные книги. Сейчас вот думаю: как ты отнеслась бы к этому? Легче тебе стало бы после прочтения их? Мы с тобой старались вообще избегать разговоров о смерти, даже в последние твои дни, словно этим могли обмануть ее. И я, читая тайком подобные книжки, прятал от тебя. А может, на том свете все совсем не так, как в этих книжках, и встреча с загробной действительностью после них стала бы горьким ударом?

Жизнь без тебя...

Только сейчас, по прошествии времени, я осознал, что после клинической смерти ты стала другой, а я этого в суете жизни не заметил. Прежде всего, изменилось отношение ко мне. Оно стало вроде отношения матери к уже взрослому ребенку, воспитание которого было неправильным, и надо воспринимать его таким, какой он есть. После клинической смерти ты не то чтобы простила все мои грехи, а стала смотреть на них иначе, с чувством, что уже ничего нельзя изменить. Я только потом с опозданием понял, что ты тогда не совсем вернулась с того света и на этом жила уже с памятью смертной, которая тебя вроде бы должна была примирить с будущей смертью, а ты, наоборот, еще

больше хотела жить. Но жить, пусть с запозданием, в согласии с собой и со всеми. Твоим единственным миром стал наш сад и, потому как у нас не было детей, наши собаки, которые тебе заменяли детей. Ты не раз с горечью повторяла, что по молодости-дурости выбрала не ту профессию, что тебе нужно было стать врачом, точнее — ветеринарным врачом, так как животные, в отличие от людей, ни в чем не виноваты.

Я только сейчас многое стал понимать.

Но зачем мне сейчас это понимание, которое приносит только запоздалую боль?

А может, как раз смысл в этой боли? Может, это тоже своего рода подготовка к другой жизни? Может, поэтому Господь еще держит меня на этом свете?..

Мысли вслух...

А все-таки: надо ли человеку постоянно напоминать, что он смертный?

Не всякому это по силам — постоянно жить с этим чувством. Для одних это, как утверждают, благодатная память, ограждающая от грехов. Других же, и их, возможно, большинство, малoverующих или вообще неверующих, это прижимает к земле, понуждает торопиться жить, совершать грехи, в том числе самые смертные...

Мысли вслух...

Церкви — представительства, почтовые станции того света на Земле? В них через священников, какими они ни были бы, или напрямую люди общаются с Богом. Раковые центры — тоже своего рода представительства, почтовые станции того света на Земле...

Жизнь без тебя...

Включаю телевизор: передача о переселении душ. Люди видят себя в прошлой жизни, даже на других планетах. И некоторые случаи, примеры настолько убедительны, что не знаешь, во что верить. Когда, например, душа — или что иное? — девочки, погибшей в России, вдруг вселяется в тело девочки, пережившей клиническую смерть в Казахстане. Придя в себя, она не узнает своих родителей, зато признала за своих — родителей и родственников девочки, погибшей за тысячи километров от ее дома в России. И теперь живет то там, то там — на два дома.

Это противоречит основам веры в Иисуса Христа, принимаемого нами за единственную и вечную истину, но это — действительный факт.

Мысли вслух...

Как бы, наконец, опомнившись и в какой-то мере освободившись от разрушительной большевистской химеры, с причинами возникновения которой в России мне далеко не все ясно, в том числе в вопросе, за какие страшные грехи Всевышний наказал нас такой бедой, люди начали искать свои земные корни, составлять родословные. А зачем искать свои земные корни, уходящие в неведомые века, если мы здесь временно? Значит, мы подспудно знаем, что когда-то вернемся на Землю? Значит, для чего-то или для кого-то это нужно, разумеется, прежде всего, для нас самих, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы род тянулся из века в век.

Но иногда по какой-то причине, порой, нам кажется, не зависящей от нас, прерывается не только род, но и жизнь целого народа, даже целой цивилизации, да так, что о существовании ее даже не подозревают или только смутно

догадываются потомки. Потому что как бы специально сгорают в пожарах древние библиотеки, где хранились сведения об этой цивилизации, словно кто-то специально стер память о ней, как, например, случилось с легендарной Атлантидой. Может, могущественная и процветающая, она погрязла в таких грехах, в таких нравственных неизлечимых болезнях, которые могли передаться потомкам? И так как уже ничего невозможно было исправить, легче было ее уничтожить целиком — страшным землетрясением, извержением вулкана или чем-то подобным, — и сделать все возможное, чтобы о существовании ее в будущем даже никто не догадывался.

Мы, русские, в большинстве своем не знаем, не помним своих корней, словно это нам не надо, словно мы действительно временные на Земле. Например, в отличие от татар, с которыми уже много веков живем не просто рядом, но и повязаны одной судьбой. Они, в отличие от нас, как правило, помнят своих предков до седьмого колена, а многие и того дальше.

Мы же, русские, до последнего времени в большинстве своем бывшие крестьяне, преимущественно беспамятны, никогда не вели родословных, в лучшем случае помнили лишь прадедов. Может, это не случайно? Как и не случайно заброшены наши кладбища? Это доказательство нашей ущербности? Или лишнее доказательство того, что как народ мы — не от мира сего и острее других, бессознательно, на генетическом уровне чувствуем, что мы временные на Земле и потому так равнодушны к своей земной судьбе? Но почему же тогда наши предки, будучи земледельцами, привязанными к земле, определили себя народом Христа — крестьянами? Но крестьянин — не просто земледелец, исповедующий Христа, но и добровольно разделивший, несущий вместе с ним его крест. Понятия «христианин» и «крестьянин» до последнего времени на Руси были синонимами. Случайно ли это? Русский народ чувствовал себя одновременно народом этого и того мира. Может ли такой народ быть временным на Земле? Зачем же нас так упорно зовут отсюда, соблазняя раем вне Земли?..

Но, может, в том и трагедия русского народа, что он, определив себя народом Христа, по-прежнему беспредельно привязан к земле, а это противоречит замыслу Всевышнего?..

Спохватившись, уже будучи с седой бородой, я с трудом проследил свою крестьянскую родословную по отцу до начала девятнадцатого века. Мои предки, пригнанные откуда-то из центральной России на южно-уральский Симский горный завод в качестве чернорабочих, в ревизских сказках начала девятнадцатого века назывались уже по фамилии, когда все другие односельчане именовались еще по принципу «Иван сын Петра». Вроде бы за моими предками не было никаких страшных грехов. И во власть никто не лез, правда, дед, будучи кузнецом, по своей грамотности по совместительству ходил в волостных писарях. Никто не вступал ни в какие партии, все, кого знаю, всегда были ниже травы, тише воды, но Господь почему-то решил прекратить наш род.

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Оберегал тебя, как ребенка, от всяких неприятностей и, видимо, делал это неуклюже, потому что тебе казалось, что я имею от тебя какие-то свои тайны. Ты узнала о моей операции по поводу остеомиелита правой голени только на третий или четвертый день после операции, когда из реанимации меня уже перевели в палату. Отправляясь в дальние экспедиции, в места, где заведомо не было никакой связи, я оставлял на последней почте деньги, чтобы тебе время от времени от моего имени посылали телеграммы, что у меня все в порядке. Потом ты узнавала или догадывалась об этом и начинала думать, что у меня есть от тебя и другие тайны.

Получалось, что я все это делал во вред себе.

Вспоминаю...

Когда мы одно время жили каждый сам по себе: еще не в разводе и в то же время вроде бы уже договорившиеся о нем, казалось, нас удерживала лишь общая квартира (сколько несчастных семей удерживал и удерживает этот проклятый для России вопрос), однажды вечером ты как бы между прочим сказала мне:

— Мне предлагают выйти замуж...

Я молчал. Я знал, что у тебя есть поклонники, в том числе статный милицейский полковник, который откуда-то знал, что мы с тобой живем не в ладу, и который однажды на улице пытался заговорить со мной на эту тему, но я отмахнулся от него: «Почему я должен решать, пусть она решает».

— Что мне делать? — спросила ты.

— Решай сама.

— А ты что скажешь?

— Решай сама, — ушел я от прямого ответа.

Порой мне хотелось, чтобы ты ушла. Порой мне самому хотелось уйти от тебя, но я выжидал, чтобы это решение приняла ты, ибо причину наших разногласий я видел только в тебе. А сейчас порой думаю: может, не нужно было тебя тогда удерживать? Может, ушла бы ты к другим берегам, была бы счастлива? И были бы у тебя дети, внуки... Может, и у меня теперь были бы и дети, и внуки. Может, мой большой грех, что я тебя тогда удержал, не способный дать тебе счастье? И, может, не заболела бы ты этой страшной болезнью, ибо не было бы у тебя смертного греха перед Богом...

Однажды, измученная страшными болями, уже не в силах бороться с раздражительностью, ты в сердцах бросила мне: «Ты лишил меня материнства». Я едва сдержался, чтобы не сказать в ответ, что ты лишила меня отцовства и обрекаешь на одиночество, но промолчал.

Но мы не задумывались, что на нас обоих еще один тяжкий грех: мы лишили будущего и твою бездетную от природы сестру, которая теперь, на старости лет, могла бы остаться с племянницей или племянником, которые заменили бы ей детей, а твою мать лишили возможности стать бабкой.

Господи, я знаю, что не имею права даже просить у тебя прощения!

Жизнь без тебя...

Умер от рака Г., второй человек в администрации губернатора. Мне приходилось обращаться к нему с некоторыми вопросами, он всегда старался помочь. Не помогли ему ни ЦКБ в Москве, ни дорогостоящие лекарства, ни знаменитые немецкие онкологические центры. Не знаю, когда в нем поселился рак, но за два года до этого, в авиационной катастрофе над Баденским озером, вместе с семьей Калоева у него погибла дочь, и говорили, что рак у него возник, возможно, в результате нервного потрясения. Всего месяц назад мы встретились с ним и обнялись в ночном аэропорту: я возвращался из Москвы, а он встречал прилетевшую этим же рейсом старшую дочь-студентку. Ничто не говорило о том, что жить ему осталось всего месяц...

Рак!

Что это за болезнь? Было время, еще в начале XX века, когда врач за всю свою медицинскую практику мог ни разу не встретиться с раком. Сейчас же ежегодно в мире от рака умирает около 5 миллионов человек и выявляется до 9 миллионов новых случаев заболевания. И с каждым годом эти цифры растут чуть ли не в геометрической прогрессии. И, главное, — катастрофически растет детская заболеваемость раком.

Какова причина рака? Стресс? Канцерогены? Вирусы? Чей-то, если кто наблюдает за нами со стороны, — способ борьбы с перенаселением планеты? В чем смысл неизлечимости рака, длительности, мучительности умирания?

Раком заболевают грешники, чьи души не могут иначе подготовиться к иной жизни? Может, раком заболевают также люди, которые настолько сильно привязаны к Земле, что в случае внезапной смерти без покаяния могут оказаться совершенно неподготовленными к иной жизни, а покаяние возможно только на Земле? И потому человек перед уходом с нее так мучается, что Бог из милости дает ему возможность осознать свои грехи и покаяться, чтобы ему было легче там?

Человек при раке высыхает так, что остается одна измученная душа. Вместе с ней мучаются, совершенствуясь при этом, души родных и близких?

Заболевший раком, хочет он этого или не хочет, начинает осмысливать прожитую жизнь, и в результате приходит к выводу, — но всегда ли? — что некоторые, а может, и многие его поступки и дела, которыми он, возможно, даже гордился, были грехами?

Но если признать, что причина рака только в неправедной жизни, то я знаю десятки людей, которые жили праведной жизнью, в том числе монахов, умерших от рака. И в то же время я знаю множество случаев, когда человек в результате этих мучений не очищался душой, наоборот, озлоблялся, не примирался с уходом из этой жизни.

В бессилии перед раком мы прячем голову в песок: пока он не коснется нас лично, делаем вид, что вроде бы его вообще не существует. Пока он не коснется нас лично, мы стараемся не замечать, что рядом с нами почти в каждом крупном городе существует раковый центр, а теперь это, как правило, даже целый квартал, город в городе. И мы упорно продолжаем до поры до времени обманывать себя, что этот страшный пограничный город между этим и тем светом не заберет кого-нибудь из близких или нас самих. Может, в мире с каждым годом все больше и больше грешников? Может, со временем раковые центры будут занимать целые микрорайоны? Может, уже бессильны все другие способы разбудить наши души? И скоро каждый человек будет проходить через рак?

По какому принципу и кто нас отбирает, чтобы забрать в этот страшный город в городе на границе миров? Кто-то умирает во сне, не подозревая о своей смерти. Многие мечтают о такой безболезненной и беспмятной смерти. Православные священники, наоборот, утверждают, что это большое несчастье: «Люди неверующие всегда желают умереть внезапно, вернее, избежать смерти через смерть бессознательную. Такая смерть — результат жизни бессмысленной. Насколько легка, спокойна, радостна смерть истинно верующих христиан, настолько она страшна и мучительна для неверующих или для людей, взявших свою веру не из Божественного Откровения. Смерть внезапная, без покаяния, страшна и часто является наказанием за наши грехи. Желание умереть во сне — из трусости. Господь посылает нам болезни для нашего спасения, для осмысления грехов наших, чтобы в немощах своих познавали силу Божию».

Кто решает, когда и как человеку умереть: от сердца — вдруг, неожиданно, или мучительно долго — от рака? Пытаясь найти ответ, открываю книгу приснопамятного владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, светоча России в новое — нынешнее — смутное время:

«Болезнь тела есть лишь следствие болезни души, поэтому главное лекарство для больного — это “дух сокрушен”, это искреннее раскаяние в совершенных грехах и намерение исправиться. О первопричине телесных болезней говорит сам Иисус Христос, исцеляя страждущих, Он напутствовал их такими словами: “Иди и больше не греш!”»

Еще: «Ты неправильно понимаешь суть болезни... Господь хочет через болезнь привести тебя ко спасению, а ты расстраиваешься и тем самым идешь против воли Божией... Говори так: “Господь, укрепи меня в страданиях моих и дай мне терпение, чтобы без ропота переносить все во имя Твое, помилуй мя”».

И еще: «Неверно рассуждаешь, что твоя болезнь якобы не от Господа. То, что она возникла у тебя не на почве порока, еще не значит, что она не от Бога. Это Он болезнями привел тебя к Себе, поэтому не смущайся, а твердо верь, чтобы посредством ее исцелить твою душу».

Оказывается, все просто и ясно, если ты веруешь в Бога. А раз тебе с этими простыми и ясными мыслями трудно смириться, значит, твоя вера некрепка, или ты только обманываешь себя, что веруешь. Простым гриппом окаменевшую душу не вылечишь. Но в то же время: противится этому душа, и без того так мало нам отпущено на этом свете. И каков принципа отбора, я уже говорил, что знаю людей, несомненно, праведных, но окончивших жизнь в страшных страданиях. Или у нас с Всевышним различны понятия о праведности?

И еще читаю: «Часто, возлюбленные братья и сестры, перед нами встает такой вопрос: почему не за всякого больного можно приносить молитвы? Ответ мы находим в житиях подвижников благочестия, которые правильно разумели суть событий. Они разумели, по какой причине происходит та или иная болезнь в естестве человеческом, и в зависимости от этого или умоляли Бога об исцелении, либо всецело предоставляли исход болезни Божественному промыслению о человеке... Я знаю, что современный нам подвижник благочестия протоиерей Иоанн Кронштадтский тоже не за всех молился, хотя и был весьма любвеобилен к немощам и страданиям людским, к человеческому горю. Праведник прежде прозревал причину болезни. И если видел, что она произошла вследствие грехопадения, тогда молился не об исцелении телесного организма, а об исцелении души человеческой».

Но вот что я еще читаю у владыки Иоанна, но уже применительно не к отдельному человеку, не к отдельной душе человеческой, а применительно ко всей России, к Новому Смутному времени:

«Никто не знает, сколько еще отпущено нам, чтобы опомниться и исправиться, поэтому каждый, не откладывая, не медля, спроси себя: “Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает Отчизну в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый миг воскресения?...” Русские люди, подумайте здраво — среди нас никого, кто мог бы оправдаться, случись ему отвечать на эти вопросы не пред земным бесстрастным и слабым человеческим судом, а пред Судом Всеведающим и Всесовершенным».

И сразу рождается мысль: если мы временные на Земле, почему митрополит Иоанн, взывая к нашей совести, говорит о будущем России, о ее воскресении? Где она воскреснет? Или уже есть параллельная небесная Россия? Или она воскреснет в час Воскресения вместе с нами?

Читаю дальше:

«Разумение своей нравственной немощи и побуждает человека стремиться к исправлению. Когда это стремление к чистоте и святости овладевает целым народом, он становится носителем и хранителем цели столь высокой, столь сильной, что это неизбежно сказывается на всем мироустройстве. Такова судьба русского народа».

Если мы временные на Земле, какова же наша цель как народа? Все утверждают, в том числе мусульмане, иудеи, буддисты, что мы временные на Земле, и все воюют между собой, порой за какой-нибудь незначительный кусок планеты. Зачем, если мы рано или поздно навсегда уходим с Земли? Или государства это тоже своего рода детская песочница, в которой, притираясь друг к другу, народы учатся жить?

И опять детский вопрос: зачем Бог — или все-таки не Бог? — разделил нас на разные народы, хотя нет у Бога ни эллинов, ни иудеев? Чтобы мы, время от времени выясняя между собой отношения, не поднимали глаза к небу? А мы, славяне, некогда единый народ, до сих пор продолжаем делиться, разбегаться — только что закончился кровавый дележ на Балканах, а, к при-

меру, у славянской Польши нет более ненавистного врага, чем братская Россия.

Мы говорим, чаще всего всуе, о небесной России. А что это такое? А что — есть и небесная Германия? Небесная Франция? Почему они не могут претендовать на свое место *там*? И мы там снова будем выяснять между собой отношения? И вообще, в чем смысл всемирной истории, если мы — временные на Земле? Или это попытка создания гармоничного общества на Земле — как зеркала того, высшего мира? Чем более гармоничен человек на Земле, тем более он готов к высшей жизни?

Но если все на Земле создал Бог, а человека он отправил на Землю на исправление, то зачем, создав параллельный человеку животный мир, для каждой твари он определил врага? И циничный смысл жизни каждой твари — всего лишь быть пищей другой твари? Всеми и всем на Земле кто-то питается, хотя у животных, несомненно, есть душа, радость жизни, это нетрудно понять, достаточно послушать весенний многоголосый ликующий птичий хор на расставате. И в тоже время — страх смерти! Почему так устроен мир? Из-за греха Адама страдают не только люди, но и весь животный мир? Их вина в чем?

Но говорят, есть остров, где-то около Австралии, где нет хищников. Птицы и звери умирают там собственной смертью: по старости или по болезни. Почему Господь создал этот островок? По недосмотру? Ради эксперимента? Какой смысл во всем этом? И у человека было множество врагов. А когда он, сорвав яблоко с древа познания, стал всемогущим, у него не стало врагов, он определил врагом себе самого себя.

Но если мы вернемся на Землю после Страшного суда, хватит ли нам всем, воскресшим, на ней места? Или на нее вернутся только избранные? Определенные в рай? Или, наоборот, в ад? А может, мы уже живем в аду, за прежние грехи наши, только не подозреваем об этом?

Преподобный Варсонофий Великий: «И во второе пришествие Иисуса Христа будет воскресение мертвых, всеобщий суд, и тогда определится окончательно участь каждого человека. Человек восстанет и с костями, и с жилами, и с волосами — и в теле нетленном, бессмертном, славном».

Блаженный Феодорит: «Бессмертный дух не будет воскресать так, как тело, а только возвратится в оное».

Святитель Иоанн Златоуст: «В воскресении не женятся, не посягают, но как Ангелы. Состояние это утверждается благодатью, ведь и в раю жили девственной жизнью».

Раз мы воскреснем после Страшного суда в прежнем теле, а кости наши остались на Земле, значит, мы вернемся на Землю? Значит, мы ее благоустроиваем для себя? Пришел к этой мысли, точнее, обманул себя этой мыслью и успокоился. Пусть что угодно говорят, но раз воскреснем в прежнем теле, значит — снова на Земле!

Мысли

В конечном итоге я, кажется, внутренне согласился с мыслью, что болезни даются в наказание человеку, для осознания его грехов, в искупление их.

Получается, что какие бы причины возникновения рака мы бы не искали, он ниспослан нам для исправления души. Но как тогда быть с животными? Им Бог посылает болезни — тоже в исправление грехов? Но ведь Церковь утверждает, что у животных душа смертна, значит, не требует покаяния. Или они тоже будут жить в том прекрасном загадочном мире? Сколько погубили мы за тысячелетия в своих бесконечных человеческих войнах ни в чем не повинных лошадиных душ?! Тогда в раю должны пастись на зеленом вечном лугу несметные табуны погубленных нами коней, а человеку там вообще нет места, а если есть, то так, где-то стыдливо в сторонке.

Жизнь без тебя...

Как жить дальше? И сколько мне отмерено? Стоит ли дальше городить земной огород? Может, уже тоже пора собираться в дорогу? И если у меня еще есть время, какова цель, смысл моей оставшейся жизни?

В свое время, бывая в Болгарии, я не раз порывался поехать к известной прорицательнице Ванге, в том числе, может, чтобы узнать свое будущее. Мои болгарские друзья обещали устроить эту встречу. Другое дело: приняла ли бы она меня? Но в последний момент я отказывался от этой поездки. Что-то меня останавливало. Или кто-то меня останавливал. Соблазнительно и в то же время страшно знать свое будущее. С одной стороны, зная свой последний день, можно все спланировать, определить очередность дел, распорядиться своим скромным имуществом. С другой стороны: а вдруг это уже завтра или послезавтра, пусть уж лучше будет неожиданно...

Почему и кем Ванге дан был такой дар?

Почему Вангу не признала Церковь, хотя она считала себя православной? И после ее смерти долго не освящали построенный ею православный храм? Потому что своей мыслью вторгалась в запретное? Но она не просила этого дара, он пришел к ней свыше после несчастного случая. Или, видя будущее, она не имела права сообщать о нем? Получается, что ее предсказание, предвидение будущего — свидетельство того, что наша жизнь — не цепь случайностей, что мы не сами ее планируем, она кем-то запланирована, словно в нас заложен какой-то, вроде часового, механизм с жизненной программой, и мы не в силах в ней что-то изменить. Но ведь тогда получается, что и все наши грехи запланированы! Как же тогда быть с покаянием и с воспитанием души? Почему же некоторые, вроде Ванги, получают — от кого? — дар видеть будущее? Вангу в детстве поднял смерч и ударил о землю, в результате чего она ослепла, но обрела другое зрение, внутреннее. Другой попал в автомобильную катастрофу. Третий был сбит в самолете над Афганистаном...

Почему же Господь не дает нам, обыкновенным смертным, знать будущее?

Преподобный Иоанн Лествичник объясняет это так: «Некоторые испытывают и недоумевают, почему Бог не даровал нам преддверие смерти, если воспоминание о ней столько благотворно для нас? Эти люди не знают, что Бог чудным образом устраивает через это наше спасение. Ибо никто, задолго предузнавши время своей смерти, не спешил бы принять крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы всю свою жизнь в беззакониях, и на самом уже исходе из мира сего приходил бы ко крещению или к покаянию, но от долговременного навыка грех делался бы в человеке второю природою, и он оставался бы совершенно без исправления...»

Как и чем жить дальше?

Читаю у митрополита Антония Сурожского:

«Христиане в древности воспринимали смерть как решающий момент, когда окончится время деяния на Земле, и, значит, надо торопиться, надо спешить совершить на Земле все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в понимании духовных наставников, было стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру приблизиться к этому, что апостол Павел называет полнотой роста Христова, стать — возможно совершеннее — неискаженным образом Его».

Кстати, Ванга тоже умерла от рака...

Читаю очередную книжку о жизни по ту сторону смерти:

«Мы всего лишь странники и пришельцы на этой земле — странники, идущие к Царствию Божию. Как странники, мы имеем за своими плечами котомки, и оттого, что мы запасем в них к концу нашего странствия, и будет

зависеть наше спасение, либо наше отчуждение от жизни вечной. Если в конце нашего жизненного пути окажутся лишь прелести мира, чрезмерная привязанность ко всему тленному — тогда наступит погибель наша. Но если мы отрешимся от самих себя и приучим сердце к небесным благам, складывая в котомку души добродетели, — придет наше спасение».

Только я уверовал в наше будущее воскресение на Земле, как меня снова убеждают, что мы только временные на ней, отбывающие на ней свой срок наказания. Не от лукавого ли все это? Не лукавый ли таким образом, таким сладким языком, подделяваясь под Всевышнего, стремится нас поскорее увести с Земли? Что значит: чрезмерная привязанность ко всему тленному? Это значит: чрезмерная привязанность ко всему земному, к родным, близким?! Не может моя душа принять это.

Я мысли не могу допустить: как это — жить, заранее приучая себя к мысли, что все вокруг, что тебе с рождения дорого, эти рассветы и закаты, эта горящая золотом осенняя березовая роща — для тебя чужое. А если не чужое, то постепенно нужно отчуждать себя от всего этого, иначе тебе нет пути в мир иной. Это в собственном доме, на своей земле чувствовать себя иностранцем, случайным гостем?!

Снова сверлит мысль: тогда в чем смысл мировой истории? Зачем строить Святую Русь? Переживать о судьбах русского народа?

Смысл мировой истории единственно может быть в том, что мы должны осознать, в конце концов, что благоустроиваем Землю для самих себя, когда снова воскреснем.

И все-таки почти каждый человек уходит с мыслью: может, все это — насчет «того света» — обман: умру, а там пустота, ничего нет?

Сюжет: «Всю жизнь жил праведно, готовился к той, истинной жизни, какие только соблазны не отводил от себя, ни разу не согрешил — а там ничего не оказалось, черная пустота. Обманули святоши, а ничего уже не вернешь...»

Жизнь без тебя...

Зачем я снова и снова прокручиваю в памяти нашу с тобой жизнь, с каждым разом все больше и острее чувствуя вину перед тобой, даже в тех случаях, в каких раньше считал себя невиновным? Тем самым терзая душу свою так, что порой кажется, что она не совершенствуется, а истончается, и однажды, истонченная до предела, порвется. Или все-таки в этих душевных муках она как бы шлифуется? Чтобы однажды, может, когда я до конца, без всяких оговорок, осознаю свою вину перед тобой, перед Богом, вопреки мне, вопреки разуму моему, она, может, неожиданно, а может, столь же мучительно, как у тебя, попросится из тела? Чтобы там, если нам суждено встретиться, встать перед тобой на колени, а ты, все простив мне или забыв по воле Божией, погладишь меня, как прежде, как ребенка, по голове?

Жизнь без тебя...

Очередной твой день рождения. Несмотря на осень, буйно цветут стоящие на столе перед твоими фотографиями фиалки. Остальные цветы так себе, безрадостные, еле живые.

Мысли вслух...

Опять у кого-то читаю: «Мы, христиане, не от мира сего». А я хочу быть от мира сего. Не хочу я райских кушей, я хотел бы видеть снова и снова — и так без конца — осенние березы в искрах первого морозца, печь в костре картошку, смотреть и вслушиваться в веселую горную речку...

Мысли вслух...

Мы с раннего детства, как только начинаем осознавать себя, живем будущим. Сначала торопимся стать взрослыми. И радуемся, когда нам говорят: «Какой большой стал!» И даже уже у взрослых: все лучшее у нас всегда впереди, мы никогда не довольствуемся настоящим и даже в лучшие свои времена живем завтрашним днем. И так чуть ли не до самого последнего дня.

Может, это не что иное, как тоска по тому другому, высшему миру, интуитивное и даже генетическое стремление приблизить его? Знаем, что жизнь коротка, а в то же время сами ее гоним и гоним, живя завтрашним днем — и все время в каком-то томлении души...

Вспомнил свою первую школьную любовь. Наверное, ангельская любовь — подобна первой детской невинной любви, когда нет еще телесного желания. А одно лишь желание видеть, быть рядом, быть полезным...

Мысли вслух...

Спрашиваешь ребенка:

— О чем ты мечтаешь?

— Поскорее стать взрослым.

Спрашиваешь взрослого:

— Ради чего живешь? В чем смысл жизни?

— Ради детей. В детях.

— А зачем дети?

Некоторые теряются, отвечают не сразу, другие отвечают, не задумываясь, но все, за редким исключением, отвечают в итоге одинаково:

— Продолжить род.

— А зачем продолжать род?

Недоуменно пожимают плечами: одни — не зная, что ответить, другие — считая вопрос нелепым.

И так — из поколения в поколение. Никто не живет для себя, исключая всяких там художников, писателей, по большому счету — людей ненормальных, больных тщеславием. Большинство живет для детей, для продолжения рода. Получается, что другого предназначения у человека на Земле нет. В этом есть какой-то высший смысл, которого мы не знаем. Вроде бы: зачем тянуть из века в век свой род, когда мы временные на Земле? Значит, мы не временные где-то там, куда уходят наши души?

Если бессмертна наша душа, зачем Господу столько новых душ? Для заселения пустой Вселенной? Для борьбы с дьяволом? Но дьявол отбирает у Господа все новые и новые души. Получается, что плодится как раз войско дьявола?..

Читаю и пытаюсь понять

«Бог создал Адама и Еву и поселил их в раю сладости, чтобы они радовались его красотам и питались его плодами. *В испытании их послушания только от одного дерева запретил им вкушать — от древа познания, на котором начертал смертный приговор.* Все прочие деревья, сказал он им, в вашей власти, берегитесь только, не вкушайте от этого, ибо Я решил, что, как только вы протянете к нему руку, тотчас умрете: «От древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2. 17)».

Зачем же Он тогда создал мужчину и женщину, если знал или предполагал, что они могут согрешить? Или: зачем Он тогда создал человека несовершенным, заложил в него сладкий яд самоуничтожения и посадил перед ним для испытания древо познания, зная или подозревая, что человек, сорвав

с него плод, непременно додумается и до атомной бомбы? Может, не все было во власти Всевышнего? И тем более теперь — не в Его власти?

Ева первая протянула руку, взяла плод, съела сама и подала Адаму. Она поверила не Богу, а змию, который сказал: не умрете. Но почему тогда самым первым и самым верным христианином была женщина, Магдалина? И ныне, войди в любой в храм, увидишь, что там больше женщин?

Мало того что за первородный грех человек был наказан. Но ведь и природа, в которую был брошен человек, тоже была наказана: она стала тленной. «С преступлением человека изменилась и природа, — пишет Феодосий Антиохийский, — и хищники появились только после падения Адама. Природа стала враждебной по отношению к человеку». Что, хищные динозавры и прочие появились на Земле позже или одновременно с человеком, как следствие грехопадения его?

Но если бы не было греха Адама и Евы, как бы появился человеческий род? Они так и жили бы вдвоем в раю, бессмертными? Преп. Максим Исповедник пишет о духовном размножении человеческого рода. Но тогда снова встает вопрос: зачем Господь придумал разделение полов, зачем он создал женщину?

У подвижников церкви из книги в книгу переходит основополагающая мысль, что смерть — последствие грехопадения человека. Бог создал людей бессмертными, но в результате уклонения от заповедей Божиих люди стали смертными и тленными, как и вся Природа.

И вдруг у преподобного Исаака Сирина натыкаюсь на утверждение, что установление смерти и изгнание из рая были только совершены под знаком проклятия, а на самом деле в проклятии этом было скрыто благословение Божие: «Как Он установил для Адама смерть под видом приговора за грех и как посредством наказания Он выявил наличие греха, хотя само наказание не было Его целью, точно так же Он показал, будто смерть была установлена для Адама как возмездие за его ошибку. Но Он скрыл Свою истинную тайну, и под образом чего-то устрашающего Он спрятал Свое предвечное намерение относительно смерти и Свой мудрый план относительно нее: хотя смерть может быть поначалу устрашающей, позорной и трудной, тем не менее в действительности это — средство перенесения нас в тот восхитительный и преславный мир... Когда Он изгнал Адама и Еву из рая, Он изгнал их под личиной гнева... Но во всем этом уже присутствовало домостроительство, совершенствующее и ведущее все к тому, что изначально являлось намерением Создателя. Не непослушание ввело смерть в дом Адама, и не нарушение заповеди извергло Адама и Еву из рая, ибо ясно, что *Бог не сотворил их для пребывания в раю — лишь малой части земли; но всю землю должны были они покорить...*»

Вот: не в этом ли смысл мировой истории и нашего пребывания на Земле — сделать ее частью рая? Или самим раем?

Но нынешний митрополит Волоколамский Илларион так комментирует преподобного Исаака Сирина: «Даже если бы первые люди не нарушили заповедь, то все равно не были бы оставлены в раю навсегда. Таким образом, смерть была благословением, поскольку изначально содержала в себе потенциал будущего воскресения, и изгнание из рая было во благо человеку, поскольку вместо “куска земли” он получал во владение всю землю, утверждает преподобный. Согласно Исааку Сирину, смерть явилась следствием божественной “хитрости”: под маской наказания за грех Бог скрыл Свое истинное намерение, заключавшееся в спасении человечества. Необходимо видеть, утверждает он, что действия Божии в истории человека лишь внешне могут выглядеть как наказание и кара, в действительности же цель Бога — достичь нашего блага любыми средствами. Зная заранее нашу склонность ко всем видам лукавства, Бог премудро и хитро уготовляет то, что кажется нам пагубным, на

самом же деле оно является средством нашего исправления и спасения. Лишь пройдя через то, что представляется нам наказанием от Бога, мы осознаем, что оно служило нашему благу. У Бога нет возмездия, Он всегда заботится о пользе, происходящей от всех Его действий по отношению к людям».

Читаю и пытаюсь понять

«Верующие в Христа попадают в рай».

А куда попадают неверующие, не крещенные, не знающие Христа не по их вине?

Вот тебе и готовый ответ: «Не проходят воздушных мытарств души неверующих в Христа (не крещенных), а сводятся бесами прямо в ад, что подтверждает Сам Христос: *не верующий уже осужден есть*».

Не может такого быть! Не может Он быть таким жестоким! Верно ли тут трактуют Спасителя? Этот ли смысл Он вносил в свои слова?

«Невозможно церковное поминовение не православных». А что, они виноваты, что не православные, если, например, родились где-нибудь в срединной Африке, например, папуасы и слышать не слышали об Иисусе Христе? «Умиравшие вне веры похожи на самоубийц».

А куда попадают мусульмане, которые веруют в Иисуса Христа только как в одного из пророков Всевышнего? Или у них свой рай и свой ад?

Жизнь без тебя...

Ну что, добился я своего: можно сказать, осуществил свою мечту: стал писателем — и оказался у разбитого корыта. Я без всякого сожаления променял бы все свои книги на счастливую семейную жизнь с детьми и внуками, с садом, огородиком и сиренью перед окнами. Помимо всего прочего, мои книги мало кому нужны, более того, они многих даже раздражают: уже несколько человек, кто с легким упреком, а кто даже с досадой бросили мне в лицо, что не жалею я своего читателя, рву нервы: «Хочется чего-то легкого, со счастливым концом, а вы рвете душу...»

Жизнь без тебя...

Два восприятия мира: до — и после твоей смерти. До того, как перечитал купленные в церковной лавке книжки о потустороннем мире: что нас ждет там, за рубежом жизни, и — после. Подобные, до сих пор не знаю, умные или хитрые, книжки попадались мне и раньше, но раньше я их и читал — как научно-фантастическую литературу, они как бы не относились лично ко мне. Разумеется, я и раньше задумывался над тем, что там, за пределом жизни, но я решал эту проблему просто: поскорее отмахивался от этих мыслей, все равно ничего не изменишь, все это в далеком-далеком будущем, придет время, тогда и думать будем. Иначе говоря, за рубежом жизни была для меня неясная, пусть и тревожная, но пока еще далекая от меня пустота. А тут вдруг приходишь к мысли, что это может случиться уже завтра или даже сегодня.

Эти умные или хитрые книжки вроде бы давали надежду на продолжение жизни после смерти или даже на вечную жизнь, они исключали зияющую пустоту, но этот факт меня почему-то не радовал. И я знал, почему он меня не радовал и даже пугал. Почему за порогом смерти меня, может, больше устраивала пустота: пустота — она и есть пустота, в пустоте ни за что не надо будет отвечать. А отвечать я не готов, более того, преступно не готов. Оторванный, пусть во многом не по своей вине, от простых, но основополагающих истин, а я до сих пор сомневаюсь, что они — конечные истины, чаще всего не задумываясь, не считая грехом, в этой жизни я натворил столько такого, за что там придется отвечать, что я, может, предпочел бы пустоту.

Да, как ни парадоксально, легче было жить, когда впереди у тебя пустота. А знание или предположение, что за гранью жизни — другая жизнь, только в иной ипостаси, обострило внутреннее ощущение, что мы, не я конкретно, а мы, люди, — временные на Земле, что мы больше никогда на нее не вернемся, даже после Страшного суда и всеобщего воскресения. Какое-то время после твоей смерти, особенно после прочтения этих книг я вообще на все, в том числе и на себя, смотрел как бы со стороны, как на временное. На так называемые памятники старины, которые мы зачем-то пытаемся сохранить, на бегущие мимо машины, на сидящих в них людей, на ежедневные человеческие проблемы, на политические страсти, даже на всемирную историю. Не знаю, догадывались ли о моем состоянии окружающие, но с этим чувством жутковато было жить. Все вокруг казалось не имеющим смысла. Тысячи, десятки тысяч людей одновременно погибали от ураганов, землетрясений, цунами. На что бы я ни смотрел, все было временным. Временной была и Земля, и даже сама наша Вселенная. Еще из школьного учебника астрономии я знал об этом, не помню, потрясло ли меня это в детстве, но только сейчас я осознал всю суть вселенского временного бытия. Но тогда куда уносятся после нашей смерти, как утверждают, бессмертная наша душа?

В своих мыслях я снова и снова как бы повисал в пустоте, как, очевидно, повисали тысячи, миллионы людей до меня. Только в так называемой святоотеческой литературе все просто и ясно: веруй, и все! Веруй, и все остальное не твоего ума дело! Мое сознание, моя душа оказались не готовыми к восприятию толкований Евангелия. Не своеобразная ли это разновидность так называемой фантастической литературы? Читая подобное, я чувствовал бестелесность не только своего тела, но и мысли. Видимо, не случайно, что именно из среды семинаристов выходило столько крайних атеистов, нигилистов и революционеров всякого рода...

Мне говорят: зачем ты читаешь все это? Читай Евангелие, там все ясно и просто изложено, всякие попытки толкования искажают истину.

С последним утверждением я полностью согласен, но далеко не все ясно мне, может, из-за скудости ума, может, из-за очерствелости души, в Евангелии. Да и действительно ли оно — Евангелие Спасителя, не искажено ли по недоумию или хитрому умыслу его апостолами?

Повторяю, я не знаю, замечали ли мое состояние окружающие. Даже не отчаяние, как прежде, а равнодушие скручивало меня.

Только позже во мне что-то стало устаиваться, успокаиваться: да, все временное, но, видимо, в этом есть какой-то высший смысл, и в этом высшем смысле нужно искать свой смысл, даже если пока он для тебя совершенно не ясен. Но полностью от этого тяжелого чувства я так и не смог освободиться.

И еще я теперь жил с ощущением: если раньше я мог что-то скрыть от тебя, какой-то свой малый грешок, то теперь ты оттуда все видишь. Может, хотя бы потому нужна вера в потусторонний мир, независимо от того, есть он или его нет? Это удерживает человека от многих дурных поступков.

И еще я пришел к мысли, что, наверное, все оставшееся время нужно посвятить тому, чтобы хоть сколько-нибудь подготовиться к ответу за свою жизнь. И не только потому, что я боюсь гореть в аду в вечном огне. Я все-таки думаю, что вечный огонь ада — понятие иносказательное, потому что после твоей смерти я уже беспрестанно горю в нем, исключая, наверное, только часы сна, чувство непоправимой вины перед тобой, впрочем, перед самим собой тоже, меня постоянно гложет. Никто вроде бы, кроме меня и тебя, не знает моей вины, это тайна двоих, и тебя больше нет, и можно было бы делать вид, что никакой вины вообще не было. Но мне от этого нисколько не легче, люди не понимают, почему я прячусь от них, многие считают меня гордецом, а мне с моими смертными грехами тяжело с людьми. Я уже писал, что недавно меня посетила мысль: а может, мы уже живем в аду? Может, Земля — не детский

сад для человечества и не исправительная колония даже, а тот самый ад, куда отправляют падшие души в человеческой личине и тленном теле? Может, потому так мучается душа?

Совість.

Что такое совесть, если мы умираем, если мы временные? Куда она уходит с нашей смертью? Она умирает вместе с нами? Или улетает вместе с душой? Или она одна из составляющих души? Как, когда зарождается в человеке?

Сократу принадлежит мысль, что нельзя объяснить существование у людей нравственных деяний и норм, если упускается из виду верховный нравственный законодатель. Английский ученый Тейлор заметил, что не было открыто до настоящего времени ни одного даже самого дикого народа, который был бы чужд тех или иных понятий о добром и злом, об обязательности первого и непозволительности другого.

Может быть, совесть зарождается и существует в нас независимо от нас? Она как бы стоит выше человека и господствует над его разумом, волей и сердцем, хотя и заключена и живет в нем. Но в то же время такое ощущение, что она не плод самого человека. Иначе говоря, может, совесть — это голос Божий в сердце человека?

Св. Григорий Богослов говорил, что человек совмещает в себе две природы — духовную и материальную, которые, при существенном отличии и совершенной противоположности друг другу, соединены в нем таинственным и неизъяснимым образом. Может быть, они соединены совестью?

Но совесть, как бы меня ни убеждали в обратном, противится смерти, потому как требует беспредельного нравственного совершенствования человека. Но оно недостижимо в этом мире. Может быть, как раз это доказывает, что смерть не могла входить в творческие планы Бога при создании человека?

Читаю: «По воле Всемогущего и Премудрого Бога вся телесная организация человека, если бы он остался святым, могла бы все более и более утончаться, просветляться и усовершенствоваться и, наконец, дойти до такого духовного тела, которое явилось у Иисуса Христа при его воскресении, тела, которое не нуждалось ни в пище, ни в питье, и не было в тесной зависимости от пространства и времени. Подобные примеры еще можно видеть в вознесении Еноха и Илии».

Жизнь без тебя...

Почему-то часто вспоминаю врача в раковом центре, ведущего соседние палаты, который никогда, даже кивком головы, не отвечал на мое приветствие — проходил мимо, глядя в сторону или в пол, словно меня не видел и не слышал. Я до сих пор мучаюсь в догадках: то ли он был настолько погруженным в себя, то ли, зная о твоей безнадежности, чувствовал неловкость передо мной...

Почти каждый раз, когда я изредка заезжал в церковь на вечернюю службу, встречал его там, стоявшим позади всех или где-нибудь в углу, а посреди службы торопливо уходившего. Иногда мы оказывались с ним рядом, или даже сталкивались в тесноте, понятно, что я в церкви не лез к нему с приветствием, но на следующий день, встретившись со мной в коридоре ракового центра, он по-прежнему меня не замечал...

Жизнь без тебя...

Можно месяцами, годами, всю жизнь мучить себя мыслями о цели и смысле человеческой жизни, а вот шел высоко в горах, ругая себя, что поддался соблазну, уговору друзей взойти на прекрасную и загадочную вершину Ирмель, где раньше всегда было томительно хорошо моей душе, поехал и с ужасом обнаружил, что далеко еще до вершины стал задыхаться, надорванное твоим уходом сердце все больше сжимала неизвестная сила, зачем-то еще слишком тепло

оделся, и, взмокший, уставший до предела, отстав от всех, ни о чем не думая, лег в снег, на спину, уставившись в низко пролетающие облака, иногда поворачивая голову на юг, где далеко внизу лежали леса, города и села, здесь же были лишь снег да камни, да близкое небо, и неожиданно пришла мысль, простая и ясная: «Может, смысл и цель человеческой жизни в том, что на Земле в тленном человеческом организме формируется в испытаниях, в соблазнах, муках, в потерях близких, вечная душа человеческая, которая сейчас вот-вот вырвется из моего тела, нужная Богу для каких-то высших целей, с каждой новой душой он увеличивает свое воинство, может, для преодоления смерти вообще, может быть, для борьбы с дьяволом, может быть, для спасения всей Вселенной, которая тоже временна, потому что и в нее вошло зло, и она вся кипит, взрывается, в отдельных своих частях рождается и умирает в мучительных противоречиях... Потому, вкладывая в человека при его рождении зародыш вечной души, которая является Его частью, Бог сперва дал человеку разум, потом Истины, учитывая его младенчество, высказав их иносказательно, через Пророков, через Евангелие. Только это иносказание вышло и Богу, и человеку боком, каждый толкует это иносказание по-своему, а тут еще, видимо, дьявол путает, подсовывает так похожую на истину подделку... Через Пророков Бог лишь приоткрыл основы мироздания, чтобы человек уверовал в вечность своей души и знал, как надо жить на Земле. Но Бог почему-то не всемогущ, а на нашем пути столько соблазнов... Нет, Земля — не концлагерь, не исправительная колония, не ад, а своего рода ясли, детский сад, может быть, начальная школа для человеков. И раз так прекрасна Земля, и совсем не случайно Господь создал ее такой прекрасной, рано или поздно мы должны на нее вернуться...»

Мои друзья уже спускались с вершины:

— Вставай!.. Уходим вниз...

— Вы идите, я догоню.

Мне было легко и покойно лежать в студеном снегу, не ощущая его холода, опрокинувшись глазами в бездонное небо, я сейчас был готов без всякого сожаления умереть, и не важно, кому достанутся моя квартира, машина, только вот жалко было оставлять загородный дом, потому как был он в прекрасном лесу среди берез и сосен, и все там, пусть коряво, но было сделано моими руками. И еще жалко было оставленных там собак. А так моя душа, кажется, была уже готова перенестись в мир иной.

Смогу ли я сохранить это светлое спокойное чувство, спустившись вниз, в земную суету?..

Жизнь еще при тебе...

Это было лет десять назад. Совсем забыл об этом случае, а сейчас вдруг вспомнил...

Соседка по автобусу, незнакомая женщина лет сорока пяти, она — у окна, я — с краю. Оказалось, что мы выходим на одной остановке: в дверях я пропускаю ее вперед, выхожу следом.

Вдруг она поворачивается ко мне, называет по имени-отчеству:

— Простите, мы не знакомы, но я вас узнала по фотографиям... Можно я отберу у вас несколько минут?..

Я пожал плечами.

— Еще раз простите, но я должна вам это сказать. У вас застарелый бронхит. Вы считаете, что вылечили его, а он притаился, перешел в хроническую форму. Не нужно его запускать...

— А почему вы решили, что у меня бронхит? — стараясь сдержать раздражение, спросил я. У меня действительно был хронический бронхит, время от времени дающий знать о себе, отголоски перенесенного в детстве плеврита, но, во-первых, какое кому дело до этого, а во-вторых... а во-вторых, я, кажется, в автобусе ни разу не кашлянул.

— Прошу, не принимайте меня за сумасшедшую. Еще раз простите, что, будучи совершенно незнакомой, лезу вам в душу, но в некотором смысле я ясновидящая и даже целительница. А потом: вы в автобусе несколько раз кашляли, вы так привыкли к этому вроде бы безобидному кашлю, что не замечаете его. Не надо его запускать, хотя он у вас уже основательно запущенный. Я могу предложить вам несколько народных рецептов...

— Спасибо, не надо! — попытался я уйти от «ясновидящей». Огромная армия проходимцев кормится на человеческой беде, а в смутные времена тем более: чуть ли не десятая часть населения страны ходит в народных целителях и ясновидящих. Как Остап Бендер не додумался до такого надежного способа добровольного отбирания у граждан денег, может, совесть не позволила? — А будущее вы не предсказываете? — усмехнулся я, надеясь на этом закончить разговор.

— Могу, но не предсказываю, — не обиделась женщина. — Человек не должен знать своего будущего, по крайней мере, до поры до времени. Пока ему посредством чего-то, может, болезни, иногда неизлечимой, не скажет Бог, чтобы человек, наконец, задумался о своем будущем, — не приняла она моей усмешки. — А вот насчет вашего прошлого я кое-что могу сказать.

— Но свое прошлое я и сам хорошо знаю, — снова усмехнулся я.

— А я вам напомню. Во-первых, чтобы вы мне поверили, а во-вторых, от прошлого во многом зависит будущее. А потом я могу вам сказать о прошлом, которое вы никак не можете знать, например, кем вы были в прошлых жизнях. Или хотя бы в последней прошлой жизни... Да-да, — не дала она мне рот открыть, — я знаю, вы не верите в переселение душ, но тем не менее. Может, просто любопытно будет узнать... Тем более, кто знает, как это бывает на самом деле. И противоречит ли это православию... Что же касается будущего, у вас после тяжелой травмы или ранения головы сужены сосуды мозга левого полушария, и в связи с этим у вас уже в скором времени могут быть серьезные проблемы, если их уже нет.

Я не знал, что ответить. Скорее всего, «девушка», действительно, с приветом, но откуда она знает о моих проблемах с головой, что порой меня мучают сильные головные боли?

— Нет, я вполне нормальная, — словно прочитав мои мысли, улыбнулась незнакомка. — Меня зовут Наталья Петровна. Я учитель русского языка и литературы в школе. Но с некоторых пор, после автомобильной катастрофы и клинической смерти, я обнаружила в себе дар ясновидения и целительства. Старалась не заниматься этим, но какой-то внутренний голос, а скорее, голос извне, заставляет меня это делать, и с некоторых пор, нет, я не лечу, все-таки на это я не решаюсь, не говоря уже о том, что это отбирает много сил, а диагностирую, потому как тот голос меня требовательно спрашивает: «Как ты можешь смириться с тем, что видишь, а человек не знает, что давно болен, и если вовремя не начать лечить, то может быть поздно? Тебе совсем не случайно дан этот дар. Как не случайно на время вернули с той стороны смерти. Нет, не с того света, как у вас в таких случаях принято говорить, а всего лишь с той стороны смерти. С того света не возвращаются. А с той стороны смерти, с пограничья, бесцельно не возвращаются. А внутренний голос тебе подскажет, кому нужно открывать будущее, а кому нет». Потому я иногда диагностирую. В каком-то смысле я и ясновидящая, иногда, вопреки моему желанию, вижу будущее человека. Не знаю, кто, но кто-то отвечает на мои вопросы, стоит мне к нему мысленно обратиться. Таким четким, беззвучным голосом. И что поразительно, я редко, очень редко ошибаюсь.

— И кому, по-вашему, принадлежит этот голос?

— Не знаю. Может, ангелу-хранителю. Или еще кому. Иногда боюсь, что демон, подстроившемуся под ангела. Но словно кто-то постоянно рядом со мной, точнее, где-то вверху, над моей головой. Потому как голос я слышу как

бы сверху. Я мысленно задаю ему вопросы, он отвечает. Иногда мне хочется уйти от всего этого, тогда он сам как бы заставляет задавать ему вопросы и тут же отвечает на них. Иногда мои вопросы строго останавливает: «Этого тебе не нужно знать!» Или: «Этому человеку этого не нужно знать! Всею свое время». И вот сейчас: сижу в автобусе, узнала вас, и, еще раз простите, обратилась к нему, что он может сказать о вас. Была какая-то пауза, а потом он ответил: «Я знаю этого человека...», — и начал словно диктовать, как бы читал по какой бумаге...

Видя, что я демонстративно смотрю на часы, ища повод деликатно откланяться, она спросила:

— Хотите, я расскажу о других ваших болезнях, которые вы перенесли, начиная с детства?

Я помедлил, не зная, что ответить, все это было не очень приятно, но в то же время был соблазн любопытства, «ясновидящая», воспользовавшись моим замешательством, начала перечислять, словно читала мою медицинскую карту, но и не только ее...

Мне с трудом удалось скрыть, что я был поражен. Есть болезни, которыми по жизни, начиная с детства, болеют почти все. Допускаю даже, что она знакома с кем-нибудь из моих знакомых, или даже с участковым врачом из поликлиники, но откуда она могла знать о тех моих болезнях, о которых не знает никто?

— Признаюсь, когда шла за вами в автобусе на выход, я провела рукой вдоль вашей спины от затылка до поясицы, и мне было этого достаточно. Хотите узнать, что сказал о вас мой ангел-хранитель?

Я пожал плечами.

— Наталья, я знаю этого человека. Он живет уже восемь жизней. В предыдущей жизни он был князем, жил в России. Имел жену и троих детей. Была любовница, в которой он души не чаял и очень страдал из-за любви к ней. В настоящей жизни этот человек призван быть тем, кого у вас называют писателем. Это его земной тяжелый крест. Потому его душа не знает утешения. Печаль в нем живет постоянно. Господь покровительствует ему. Но он страдает. Дай, Господи, ему радости!

— А еще что он сказал обо мне? — неожиданно для себя спросил я. — О моем будущем?

— Он меня строго остановил на этом вопросе: не каждому человеку нужно знать, что с ним будет. А точнее: никому, кроме исключительных случаев, этого не нужно знать. Человеку опасно знать, что с ним будет. Но кое-что я увидела сама, я же сказала, что сама в некотором роде ясновидящая.

— И что вы увидели? — я уже не мог остановиться.

— Этого я не имею права говорить... — На какое-то время она отвела взгляд. — А это вам нужно знать, что с вами будет? Как вы будете с этим знанием жить?.. А бронхит свой лечите. Не запускайте, этот очень опасно. Кстати, он в более опасной форме у кого-то из ваших близких. Это, может, самое главное, что сейчас вы должны знать.

— Но если все в нашей жизни заранее предопределено, если судьба прописана с первого до последнего дня, значит, в нашей жизни уже ничего нельзя изменить?

— Не все. Кое-что в наших силах. В зависимости от нашего поведения происходит, а точнее, проводится коррекция нашей жизни. Хотите, я оставлю свой телефон?

— Нет, спасибо, — решительно отказался я.

Потом я, может быть, жалел об этом... Наверное, не трудно было бы найти ее по телефонному справочнику, не так уж много в городе школ, а в них учителей русского языка и литературы по имени Наталья Петровна, но что-то меня каждый раз, как в случае с Вангой, останавливало...

Жизнь без тебя...

Лежу в больнице на обследовании: на третий год после твоего ухода серьезно стало сдавать сердце. И раньше, когда мы с тобой три года жили в ожидании твоей смерти, пытаясь как-то противостоять ей, когда я жил еще с тобой, но в то же время с ощущением, что уже без тебя, я, мягко говоря, чувствовал его, а теперь вот прижало серьезно. Я постоянно слышу, что я должен смириться с твоей смертью, что я должен как можно скорее жениться, пока еще стою на ногах, что нужен элементарный режим, наконец, просто успокоиться...

Я попытался жениться. Нет, не отказавшись от тебя. Наоборот, я хотел, я готов был, как бы в искупление вины перед тобой, отдать встретившейся мне женщине и ее малолетнему сыну, который привязался ко мне, как к отцу, море неистраченной теплоты и нежности. Все вроде бы было хорошо, пока она жила у меня наездами. Но через неделю, как совсем переселилась ко мне, однажды утром, и не просто утром, а на Рождество Христово, она, заломив руки, встала передо мной на колени:

— Нет, не могу. Здесь по-прежнему живет ваша покойная жена. Она не ушла отсюда. Она везде. И не просто везде, а постоянно напоминает о себе. Она не отпускает вас... Или вы не отпускаете ее... Она против меня...

И, собрав свой скудный скарб и заказав такси, она уехала...

Я лежу в кардиоцентре, который во многих случаях — тоже почтовая станция в мир иной, по статистике, люди умирают от болезни сердца даже чаще, чем от рака. Но, в отличие от рака, в большинстве случаев — неожиданно для больного, и потому не так страшна такая смерть.

У меня появилось много свободного времени, потому много читаю.

«Мысль о земной кончине страшит лишь тех, кто не верует в Бога, или тех, чья вера слаба, хотя они думают, что она сильна — так тоже бывает. Мы можем совершать бесконечные паломнические поездки, рыдать у святых мощей угодников Божиих, молиться всю ночь напролет (а потом целый день спать), совершать, как нам кажется, подвиги во имя Христа, даже посещать все богослужения, что само по себе хорошо, но... Но леденящий жутковатый холодок внутри по мысли о смерти безошибочно покажет нам, как слаба наша вера в Милосердного Бога... Без веры думать о смерти страшно. И все-таки думайте о смерти! Потому что рано или поздно эти мысли приведут вас к вере! Человек начинает жить подлинной жизнью, лишь осознанно принимая неотвратимость земной кончины и необходимость подготовки к ней...»

Верую ли я? Не знаю. Если не верую, а только обманываю себя, — что заставляет меня время от времени ходить в храм и замирать там в неясном благоговении?

Если я действительно веровал бы, а не прикидывался верующим, обманывая прежде всего самого себя, если бы верил в тот прекрасный мир по ту сторону смерти, наверное, не была бы для меня так ужасна твоя смерть...

«По сотворению мира все Ангелы были связаны союзом святой любви и пребывали в великой святости и чистоте и имели мир между собой и Богом. Но вскоре Ангел, которому была вверена охрана земли, не вынес чести и славы, дарованной ему творцом, и допустил самомнение, высокоумие и гордость. Слово Божие говорит, что Денница (Диавол) в помышлении своем пожелал взойти на небо, выше звезд небесных поставить престол свой, сесть на горе высоце и быть подобным Всевышнему...»

Не в силах до конца понять сказанного, набираюсь наглости размышлять: значит, с самого начала что-то ущербное было в творении Божиим, раз один из ангелов восстал, раз он захотел на Земле создать свой мир и, может быть, создал его?

«...Он возымел желание стать равным Богу. И вслед за этим самообольщением последовало прямое неповиновение Богу. Кроме того, он увлек за

собой множество состоящих под его властью Ангелов. И спал сатана вместе с мятежными ангелами с неба, как молния. И падение, и изгнание Дьявола, по учению святой церкви, произошло до сотворения человека. И зло уже было в отпадении Ангелов. Человек, как земной ангел, украшенный добродетелью и чистотой, явился венцом творения. Но Дьявол смутил любимое деяние Божие...»

Почему ангелы восстали против Господа?

Раз это произошло раньше появления человека, действительно, не создал ли Бог человека себе в помощь в борьбе с Дьяволом, возмечтавшим стать богом для Земли, а тот быстро переманил человека на свою сторону?

Остаться после смерти жить на Земле, это значит — оставить скольконнибудь благодарную память о себе, если не у всего народа, если не у всей деревни, то хотя бы у своих потомков, то есть жить как бы в двух мирах, которые потом, может быть, соединятся.

Если мы временные на Земле, то почему каждый старается после себя оставить память на Земле, прежде всего в образе детей?

Иначе, почему я так страдаю, что никого после себя не оставляю?

По мнению ученых, мозг наш задействован всего лишь процентов на 10. Остальные 90 процентов как бы спят.

Почему же мы умираем, не использовав даже малой доли возможностей мозга?

Может, мозг человека специально заблокирован, чтобы мы чего-то не творили по своей безнравственности? Может, эта блокировка произошла после грехопадения Адама и Евы? И опять, словно гвоздь в мозг: но почему Бог не смог предвидеть и предотвратить их грехопадение? И наложил печать греха на все последующее человечество?

Или же наш мозг — часть души, он остается задействованным здесь всего лишь на 10 процентов, чтобы проявиться где-то в другом месте, в другом мире? Где-то же должны проявиться в полной мере возможности нашего мозга!

В другой жизни? Но мы знаем, что мозг смертен, а бессмертна, если это правда, только душа. Но, может, действительно, мозг — часть души? Может, действительно, наш мозг должен заработать в полную силу в результате нравственной эволюции, когда он будет вторичен по отношению к душе, а не наоборот, как сейчас: мы сначала до всего доходим умом? Это совсем не противоречит божественному происхождению человека, наоборот, подтверждает его. Бог только дал толчок, как бы сделал первоначальную колодку человека, заложив в него душу и полностью подвластный ей ум, а дальше мы должны были нравственно расти сами, и главной должна была быть душа, а ум подчинен ей. Но после того как первый человек сорвал плод с дерева познания, Господь, в печальном предчувствии, что может натворить человек, у которого ум переборол душу, заблокировал наш мозг, надеясь, что не навсегда?

Читаю:

«И сказал змей жене: в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела; и дала мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания».

Сколько не пытаюсь понять конечного смысла этих слов, не могу...

Кто-то недобрый вселяет в меня мысль: «Бог наказал Адама и Еву за то, что они полюбили друг друга, а он хотел, чтобы они любили только его».

Читаю:

«Бессмертие человека состоит в том, что душа его по смерти тела продолжает жить отдельно от тела, и человек за гробом продолжает свое существование в другом мире. Правда, в другой форме и в других условиях. Смерть не прерывает существование человека, а только видоизменяет его... Потому для православного верующего человека существует в большей степени память смертная, чем страх смерти. И чем сильнее и крепче вера, тем меньше страх смерти. Но больше память смертная».

Мой ближайший друг с детства — мусульманин. Без всякого сомнения, — я-то уж знаю, — он выше меня по нравственным и духовным качествам, но для него, по утверждению христианских священников, закрыты врата рая. Он же должен считать, что врата его рая закрыты для меня, православного христианина.

У каждого свой рай?

Оба мы веруем, или хотим веровать, в Иисуса Христа, только я, православный, как в Бога, а он — как только в одного из пророков, посланников Бога. У нас нет проблем по этому поводу, я мог бы сказать, что мы просто деликатно обходим стороной эту тему, но это было бы неправдой, потому что нас, кроме детства, кроме всего прочего, объединяет как раз то, что мы веруем в одно божественное существо, пусть и по-разному.

Но почему из-за этого, в общем-то, не принципиального для рядового верующего разногласия христиане и мусульмане воюют между собой много веков, начиная с явления пророка Мухаммада, хотя, по Корану, он пришел на Землю, чтобы как раз продолжить дело Иисуса Христа. Из-за этого в явных и тайных религиозных войнах уничтожены миллионы и миллионы людей. Мало того, сегодня мир стоит на грани действительно мировой христианско-мусульманской войны, за которой, может, и последует конец света, но совсем не тот, за которым мы ждем всеобщего Воскресения, а действительный конец-пустота. Может, по этой причине погибали древние цивилизации, и кто-то специально стер память о них, чтобы каждая следующая начинала с чистого листа? А мы так и остаемся малыми злыми детьми, дерущимися из-за игрушек в песочнице?

Неужели мы с другом детства — друзья только потому, что я не в полной мере христианин, только обманываю себя, что верую в Иисуса Христа, а он — не в полной мере мусульманин? А если были бы в полной, то тут же схватились бы один — за топор, второй — за ятаган?

Я всегда испытываю странное чувство, когда из иллюминатора самолета смотрю вниз, на Землю: почему, получив в дар ее, невообразимо красивую, невообразимо прекрасную, люди разгородили ее на государства, вместо того, чтобы всем вместе, единым человечеством обихаживать ее, — занялись кровавым дележом ее?

И снова и снова прежний вопрос: почему Всевышний разделил людей по религиям, как до того разделил на расы, народы? На языки, ведь первоначально у нас был единый язык. Чтобы мы без конца выясняли между собой отношения и не поднимали головы к небу? Или мы сами разделились, помимо Его воли? Что Его так испугало в созданном Им самим человеке? Или это дело рук дьявола? Почему Господь, — или кто иной? — так упорно отделяет Землю от потустороннего мира, а не стремится сделать Землю частью его? Или это случилось только после грехопадения человека?

Вспоминаю...

Сначала вижу все как бы со стороны...

Несколько придавленных горем людей в черном около гроба в Крестовоздвиженской церкви. Рядом стучат поезда, спешат, везут людей по их земным делам на восток и запад по великой Транссибирской железнодорожной

магистрали, люди смотрят в окна, глаза неожиданно упираются в купола церкви, кто-то крестится, и никто из них не подозревает, что в церкви в сии минуты кого-то провожают в мир иной. Знакомый священник, татарин, отец Роман (у меня вдруг мелькает мысль: а если мы провожаем тебя в лучший мир, в истинную жизнь, почему священник в черном и почему вообще люди, уже в этой жизни отрешившиеся от мира, монахи, всегда в черном?) начинает читать Последование по исходе души от тела:

— Благословен Бог наш...

Каждое слово гулко отдается то ли в сводах храма, то ли внутри меня, и я уже как бы не вспоминаю, а как бы снова стою над твоим гробом. Кажется, что и меня вслед за тобой отрывает от земли, я стою на хрупкой грани двух миров и чувствую присутствие над нами или среди нас еще Кого-то. И я не узнаю отца Романа, он внутренне преображается, как бы уходит в себя, его лицо становится торжественным и отрешенным, он смотрит словно сквозь меня и словно видит за мной или надо мной что-то или Кого-то.

Он торжественно и отрешенно повторяет:

Благословен Бог наш...

И я словно отрываюсь от Земли. Голос священника доносится до меня как бы издалека:

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас...

Я настолько погружаюсь в себя, что не сразу понимаю, что священник о чем-то спрашивает меня. Он вполголоса повторяет вопрос:

— Здесь закрываем гроб или на кладбище?

И я непроизвольно отвечаю: «Здесь», — тем самым лишив себя последней возможности увидеть тебя. И он обыкновенным молотком с надтреснутой рукояткой забивает в крышку гроба обыкновенные полуржавые, по нищете церковной, гвозди. И эта обыкновенность меня потрясает. Но потом на кладбище, к своему удивлению, у меня не будет желания открыть гроб и еще раз увидеть твое лицо, у меня будет чувство, что тебя уже нет в гробу. Ты осталась там, в церкви, или уже была где-то далеко. А тут тебя уже нет.

Жизнь без тебя...

Сосед по больничной палате, актер театра, с язвой желудка. Увидев на моей тумбочке Евангелие:

— Мне упорно твердят: «Бог познается не разумом, но сердцем. В Бога можно только безоглядно, безрассудно верить, его нельзя познать опытным путем». Но ведь так же безоглядно можно верить и в Сатану, искренне веря, что ты веруешь в Бога.

Всевозможные секты тоже построены на бесконечной вере рядовых ее членов, не объясняемой разумом. Как отличить Истину от Лжи, хитро замаскированной под Истину? Ведь находят же ключи к душам людей умных, образованных, искренних, зомбируют их адепты всевозможных сект-химер.

Чем секта отличается от истины? Количеством людей, верующих в ее постулаты? Но количество не всегда свидетельство Истины. Не потерялась ли Истина где-нибудь между сектами? Может, Иисус Христос нам хотел сказать совсем не то или не совсем то, что ему приписывают? Ведь Его учение мы знаем лишь в пересказе учеников. Может быть, они донесли его до нас, искажив, если не сказать — переврав? Может, совсем не по злему умыслу, а по неготовности понять всей глубины его мысли...

Может, кто-то за Иисуса Христа придумал его земную и небесную историю, а на самом деле за гранью жизни ничего нет? Или Иисус Христос был просто наивным инопланетянином, прилетевшим из другой галактики миссионером, ужаснувшимся нравственному состоянию землян и попытавшимся

каким-то образом подействовать на их нравственность? Может, он оказался в роли европейца-миссионера, пришедшего просвещать пигмеев. Их вожди жестоко обошлись с ним, справедливо решив, что его не совсем или совсем непонятные проповеди ни к чему хорошему не приведут, так как в корне нарушают их образ жизни. И он после казни, чудом оставшись в живых, был забран своими соотечественниками-инопланетянами, а они восприняли это как его воскресение. Ему тяжело было с ними прощаться, он улетал и оставлял их, понимая свою беспомощность. И он оставил им нечто вроде наставления, как жить дальше. Все, что он мог сделать для них — дать надежду, и он придумал красивую сказку об иной прекрасной жизни за пределами смерти, если будешь прилично себя вести в этой жизни. Я даже явственно вижу эту картину. И потрясенные его ученики оформили эту сказку в учение. Может быть, действительно, он был всего лишь инопланетянином-миссионером, или простым пилотом, оказавшимся на Земле в результате катастрофы космического корабля, или разведчиком, ищущим планету для переселения, потому как их планете грозит космическая катастрофа?

Я молчал. Актер приподнялся на локтях, видимо, его насторожило мое молчание.

— Вы не согласны со мной?

— Я внимательно слушаю, — ушел я от прямого ответа.

— Тогда, с вашего позволения, я продолжу свою мысль... Загадочная и притягивающая звезда Сириус. Откуда у дикого африканского племени знание о ней, а тем более — о небольшой звезде в созвездии Сириуса, которая сравнительно недавно по космическим меркам взорвалась, и которую ученые только сейчас обнаружили в мощные телескопы? Может, он оттуда? Или мы оттуда, а взорвалась она по причине нашей падшей нравственности, в результате техногенной катастрофы? Неужели мы, подобно пассажирам корабля Ноя, остатки там погибшей цивилизация? И так и остались неразумными сиротами во Вселенной? Может, нас, набедокуривших на другой планете, потеряв надежду на наше исправление, завезли сюда, на Землю, ради эксперимента, и со стороны наблюдают за нами?.. Во многих местах Земли известны наскальные рисунки, где люди, а может, инопланетяне летят в ракетах, в скафандрах...

Вошла медсестра, пригласила его на укол.

А я вспомнил, что сам видел летающих в космических кораблях и в скафандрах людей, но не на древних наскальных рисунках, а на церковных фресках.

Это было в бывшей Югославии, в Косовской Метохии, во время последней балканской войны — недалеко от города Печ, в сербском монастыре Дечаны, основанном в XIV веке. Ныне сербы уже изгнаны из Косова, и я не знаю, цел ли монастырь и сохранились ли фрески. Фрески в Дечанах изображают события Старого и Нового Заветов. «Чудо» в Дечанах было открыто в начале 1964 года. Студент Белградской академии живописи с помощью телеобъектива сделал фотоснимки фресок, в том числе и фресок «Распятие» и «Воскресение». То, что раньше не удавалось рассмотреть в подробностях, так как фрески находятся на высоте 15 метров, стало ясно видно. Открылись детали, которые прежде никто не замечал. Оказывается, на этих фресках изображены люди, летящие в космических аппаратах. На одной «космонавт» держится за невидимый «рычаг управления» и оглядывается назад. Создается впечатление, что он следит за полетом следующего. Бывший со мной серб утверждал, что это ангелы. Но сидящие в аппаратах явно были без ангельского ореола. А «настоящие» ангелы, с ореолом, наблюдали за полетом аппаратов, закрыв глаза и уши руками и в ужасе отшатнувшись. В центре композиции — фигура распятого Иисуса Христа. Таким образом, наряду с традиционными ка-

ноническими изображениями, фреска содержит ряд деталей, которые трудно объяснить...

Бог, по моему темному разумению, постоянно должен давать человеку какие-то знаки, признаки своей истинности, чтобы человек не метался из стороны в сторону и не соблазнялся подсовываемыми ему ядовитыми пряниками.

Он их дает упорно и настойчиво — тем же огнем от своего гроба в Иерусалиме, но даже это нас никак не убеждает...

Читаю

«Ученые пришли к выводу, что сознание во время клинической смерти “живет” независимо от работы мозга. Мало того, было выявлено, что сознание существует вообще независимо от мозга, и физическая оболочка людей — это не единственное место, где “обитает” наше сознание. Означает ли это, что человеческое сознание не умирает даже после смерти тела, гибели мозга? По выводам ученых, энергия и информация от умершего задерживается во Вселенной. Люди подобны звездам: они постоянно испускают невидимые фотоны света, и эти фотоны устремляются в космос. То, что наша энергия, информация и наше сознание после смерти продолжают жить, так же вероятно, как и то, что свет от далеких, тысячи лет назад угасших звезд продолжает распространяться по Вселенной, звезд давно нет, а мы продолжаем их видеть и считать живыми».

Ученые-атеисты не хотят или даже боятся себе признаться, что в своих выводах они пришли к подтверждению существования души. Они испуганно спрятали ее за понятиями «энергия», «информация»...

Странное ощущение жизни, когда знаешь, что в любую минуту можешь умереть... Что, это и есть «память смертная»?..

Первоначально с этим ощущением жить было жутковато, но постепенно я свыкся, и меня уже почти не беспокоит, кому достанется моя квартира, загородный дом, машина, только вот разные бумаги, письма надо будет на всякий случай сжечь... В свое время я поразился, когда старушка, у которой я квартировал, чувствуя приближение смерти, сожгла все свои фотографии, письма, среди которых были письма Шаляпина, который дружил с ее мужем, а до того ухаживал за ней, а теперь я ее прекрасно понимаю...

Чукчи, эвены, эвенки, другие кочующие северные народы, — впрочем, не только северные, — не знают Иисуса Христа. Если они даже крещены православными миссионерами, вера их поверхностна. Но в них глубже, чем в нас, христианах (а может, они даже больше, чем мы, христиане, чувствуют Его на генетическом уровне?), вера в иной мир, который они называют Верхним. Мы приходим к осознанию этого в результате мучительных исканий и даже страданий, чаще всего к концу жизни, а они знают о нем, чувствуют его с того времени, как только начинают осознавать себя, и потому не только не боятся, а с радостью принимают смерть, не как итог, а как какую-то вежу в вечной жизни.

У них нет понятия дома в нашем смысле. Из-за того, что мох-ягель, которым питаются олени, восстанавливается лишь через десятилетия, они вынуждены постоянно кочевать, потому для них все их огромное кочевье, порой многие сотни или даже тысячи квадратных километров — дом, а значит, и вся Земля — дом. И, в отличие от нас, они бережно относятся ко всей Земле и не разделяют тот и этот мир, они знают, что их душа рано или поздно из того мира вернется обратно, пусть в другом человеке, они даже считают, что по имени, на которое откликнулся новорожденный, они узнают, кто снова вернулся.

Потому они не только не боятся, а с радостью принимают смерть, потому они не торопятся жить. Потому они, в отличие от нас, не суетливы в своих поступках. Они могут день ловить упрямого упряжного оленя, а поймав его

лишь к вечеру, снова отпускают, потому что ехать сегодня уже поздно. Это может повториться и завтра. Нас это, мягко говоря, удивляет и раздражает: чего проще — привязать наконец-то пойманного оленя до утра, но в самом процессе ловли оленя особая прелесть жизни, и раз мы временные, но в то же время вечные на Земле — куда и зачем торопиться?!

У них, как у травы, нет высоких целей, которые мы себе понапридумывали и тем самым вывели себя из естественного, может, запрограммированного для нас круговорота жизни. Святитель И. Брянчанинов говорил, что одним из основных признаков кончины мира и близости Второго пришествия Господа будет «необыкновенное вещественное развитие: люди забудут Бога, забудут небо, забудут вечность и, в обольщении своем, как бы вечные на земле, все внимание устремят на землю, на доставление на ней себе возвышенного и неизменного состояния».

А что касается нас, русичей-русских: как только мы в конце века XIX в очередной раз, подобно иудеям, начали толковать о своем особом предназначении, ничего не делая при этом, Всевышний в XX веке наказал нас: напустил на нас две мировые войны, революцию между ними, и, по всему, до сих пор продолжается это наказание...

«Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежелание перемениться», — говорит св. Иоанн Златоуст.

Мысли вслух...

В однообразной обыденной жизни, может, для укрепления непрочной веры, нам так хочется проявления ясной божеской воли, иначе говоря, чуда.

А все вокруг — разве не чудо?!

Ведь чудо — во всем!

Вода — уже сама по себе — разве не чудо? А вода, превращающаяся в снег? А узоры на оконном стекле? И снег, снова превращающийся в воду?! А текущая миллионы лет из Вечности в Вечность река?! Зачем она течет?! Чтобы мы любовались, кормились ей? А сам земной шар, заботливо укутанный атмосферой, спасающей нас от губительного космического излучения, разве не чудо?! А Вселенная, у которой нет границ? У всего есть пределы, а у нее нет — разве это не чудо? А закон земного притяжения, не дающий нам упасть с земного шара, как и не дающий сорваться с орбиты самому земному шару?! Этот ряд можно продолжать бесконечно...

А сам факт нашего рождения из ничего — разве не чудо?

И разве не чудо: рождаются, порой далеко друг от друга, даже в разных странах и на разных континентах, мальчик и девочка, среди миллионов людей почему-то влюбляются именно друг в друга, женятся, становятся на свете самыми дорогими друг другу людьми, становятся ближе друг другу, чем родители, которые постепенно как бы уходят на второй план, и нет ничего страшнее, чем потерять другого, даже когда знаешь, что мы все равно умрем, что мы временные на Земле и что на том свете, может быть, встретимся?

Разве не чудо: чтобы в сложении любви двоих родился новый человек, тоже временный на Земле, который в свою очередь тоже встретит другого человека, который будет ему дороже всех остальных, — и так будет продолжаться без конца. В этом какой-то высший неведомый смысл, который я нарушил, оборвал...

Жизнь без тебя...

Получилось так, по воле случая, а может, по воле Божьей, что заканчиваю я свои печальные записки в Париже, — в нем начинал, в нем и заканчиваю, — как и в прошлый раз, в маленькой и уютной, выбранной по принципу «где поде-

шевле» гостинице. Ко мне на третий этаж нужно подниматься по крутой не освещенной лестнице. Крошечное окно в моем номере упирается в глухую стену.

Большинство обитателей гостиницы — тихие русские женщины, ищущие работу. Русских женщин в Париже я без труда отличаю по особому свету глаз, у француженок в глазах уже давно нет не только этого смущенно-покорного света, но и вообще никакого света, о красоте я уже не говорю, у русских женщин словно на лбу написано, что они русские. Случайно ли Господом дана им такая красота? Чтобы они, горькой русской судьбой из века в век разбрасываемые по миру, смягчали нравы?

Да, получив направление в кардиоцентр на обследование на предмет необходимости операции, я сорвался в Париж.

А было это так. Несколько дней я тянул со звоном в кардиоцентр. Наконец внутренне собрался, позвонил, но телефон молчал, на другой день — тоже, и так несколько дней, потом выяснилось, что заведующий хирургическим отделением, к которому я должен был явиться на обследование, как мне сказали, ушел в отпуск (позже я узнаю, что ушел он не в отпуск, а попал в онкоцентр с диагнозом: рак). И тут подвернулась командировка в Париж.

Наверное, от нее нужно было отказаться. Но, с другой стороны, почему бы не слетать, если подвернулась, как нынче говорят, такая халява. Но дело было не только в халяве. Мне неожиданно захотелось проверить свое прежнее впечатление о Париже. Ведь в конце концов он был мне родным, несмотря на то, что я не только не почувствовал с ним родства, а пережил в нем, чужом, холодном, вдалеке от тебя, нелегкие десять дней, в ожидании твоей неотвратимой смерти. Да, он был мне своего рода родственником, которого по тем или иным причинам не любят, но родственников не выбирают, к тому же именно в Париже я начал писать эти тяжелые, изматывающие душу записки, и я подумал, что, может, в Париже я, наконец, смогу их закончить, они мне мешали дальше жить.

Но было еще одно обстоятельство, заставившее меня поехать. Бытует расхожая фраза: «Увидеть Париж — и умереть». Она подразумевает: увидеть Елисейские поля, Сену, Лувр, ну и прежде всего, конечно, Эйфелеву башню. Всякий в первую очередь непременно идет или едет к ней: если не подняться, то хотя бы сфотографироваться на ее фоне, без этого вроде в Париже и не побывал.

В двадцатые же годы прошлого века эта фраза для несчастных русских беженцев имела другой, прямой смысл: чудом оставшись в живых на Родине, после долгих скитаний добраться до Парижа и умереть здесь в тоске по России, на купленном кусочке земли около городка Сент-Женевьев-де Буа, сделал этот кусочек частью России.

В прошлый раз я привез из Франции воспоминания Ирен де Юрша, в девичестве Ирины де Гас-Переяславльцевой, дочери бывшего владельца кумысолечебного санатория Шафраново на Транссибирской железнодорожной магистрали под Уфой, полуфранцуженки-полурусской, после Октябрьского переворота вынужденной бежать из России и добравшейся до Парижа целых десять лет! Записки потрясли меня своей любовью к России, несмотря на то, что она, француженка по отцу и по гражданству, потеряла в ней мать, брата, жениха и испытала столько страданий. На склоне лет она завещала своему двоюродному племяннику, профессору католического университета: после того как в России падет власть большевиков, узнать, сохранилась ли церковь в Шафранове, и если не сохранилась, по возможности поучаствовать в ее восстановлении. Церковь, разумеется, не сохранилась. И вместе с тоненькой, но полной горя книжицей воспоминаний я привез из Франции тысячу евро, которую передал со мной ее племянник, но от которой отказался священник: «Вы еще не приехали, а слух впереди вас пришел, что такой-то француз миллион

дал». И мы, чтобы сохранить память об этой удивительной семье, отказались от мысли купить несколько кубометров досок или несколько тысяч кирпичей, а, добавив своих денег, заказали колокол, на котором отлили славянской вязью надпись, продиктованную племянником по телефону: «В память семьи де Гас, жившей в Шафранове с 1910 по 1917 год и беззаветно любившей Россию».

Племянник, никогда не бывавший в России, не знающий не одного русского слова, но беззаветно полюбивший Россию по рассказам своей тети, два года назад умер — тоже от рака! Из его послесловия к воспоминаниям Ирен де Юрша я знал, что она была похоронена на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем, рядом с мужем, отпрыском древнейшего литовского рода, капитаном белой армии, так и не принявшим французского гражданства, который в свое время лег рядом с ее отцом, чистым французом, отпрыском древнейшего французского рода, потерявшим в России жену, сына, состояние, но принципиально пожелавшим — первым из семьи! — лечь как бы на клочке России, на кладбище русских изгнанников, то есть пожелавшим уйти в мир иной русским. И я почувствовал душевную необходимость найти их могилы.

Командировочных дел в Париже у меня было немного, уже на следующий день я их успешно решил и вечером в гостинице соображал, как мне завтра попасть на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Не зная языка, добираться до него на электричке, а потом на автобусе — не так-то просто, я решил посоветоваться с Владимиром Николаевичем Сергеевым, который опекал меня в прошлый приезд во Францию. Позвонив ему, я искал удобный момент, как деликатно перевести разговор на нужную мне тему, как он вдруг, словно читая мои мысли, сам предложил утром поехать в Сент-Женевьев де Буа. Мало того, он попросил подъехать туда жившую недалеко от кладбища и хорошо знавшую его, потому как на нем лежали ее родители, родственники и друзья, свою знакомую Татьяну Борисовну Маретте, в девичестве Флорову. Она даже время от времени подрабатывала тем, что проводила экскурсии по кладбищу для приезжающих из России. Но, увы, Татьяна Борисовна никогда не слышала имени Ирен де Юрша: «Нас же, русских беженцев, были в Париже десятки тысяч...», — словно оправдывалась она.

Могилы Ирен де Юрша, как и могил ее отца, мужа, к моей полной растерянности, мы не нашли. Была суббота, и контора кладбища была закрыта.

— Давайте так, — успокаивала меня Татьяна Борисовна, тяжело передвигающаяся с палкой, так как недавно сломала ногу. — Мне тут рядом, все равно завтра приеду в кладбищенскую церковь на службу и еще поищу. И священника, прихожан расспрошу. А в понедельник пойду в контору, там же есть списки. И сразу вам позвоню...

Я долго еще бродил меж могильных рядов... «Увидеть Париж — и умереть!» Умирали в тоске по России... Умирали в тоске по России, многие даже уже в третьем поколении.

Если мы временные на Земле, почему такая тоска по России?

На кладбищах обычно трудно долго находиться, кладбища угнетают, стараешься поскорее уйти, если даже на них похоронены твои близкие родственники. А это было удивительно светлым в любую погоду. Если была бы возможность, я спокойно и радостно остался бы здесь на ночь, среди русских сосен и берез, но непременно бы под открытым небом, только под себя что-нибудь подстелил бы, чтобы не простыть.

На следующий день, в воскресенье, на 3-й неделе Великого поста, Крестопоклонной, я пошел на службу на рю Дарю, в русскую церковь Александра Невского, построенную русскими беженцами. Это, может, единственное место в Париже, которое грело мою душу в прошлый приезд. Здесь молилась по погибшим в России матери и брату и венчалась Ирен де Юрша, в девичества

Ирина Альбертовна де Гас-Переяславльцева. Собираясь в церковь, я снова перечитал ее воспоминания:

«Именно на вечеринке бывших офицеров случилось то, что определило мою судьбу: мой кузен Ипполит Комаров рассказывал однажды своим друзьям, что одна из его кузин только что вернулась из России. Он назвал мое имя, и другой молодой офицер, который до этого слушал довольно рассеянно, подошел к нему: “Прошу прощения, но нет ли у нее брата по имени Дмитрий, который был вместе со мной в Добровольческой Армии?” Мой кузен подтвердил, что я действительно сестра Дмитрия... Мишель Юрша, с которым я подружилась в Киеве, когда навещала брата, отправился к моему отцу, и вообразите, каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя я получила письмо от него! И вот каким образом, несколько месяцев спустя в соборе на улице Дарю я стала супругой Мишеля де Юрша, капитана 2-го гвардейского артиллерийского полка.

Мишель был очень добрым человеком, очень простым, очень умным, и всегда находил забавное словцо, чтобы посмеяться над трудностями, которых, как вы догадываетесь, мы не сумели избежать. Демобилизовавшись в Галлиполи вместе со своими товарищами из несчастной Белой Армии, он получил нансеновский паспорт, который предоставлял русским беженцам, лишенным родины, защиту великих держав. Многие эмигранты просили гражданства в странах, где они нашли убежище; из верности России мой муж не хотел менять гражданства...

Радости и печали — все было! — шли чередой. Мой любимый отец работал до самой своей смерти в 92 года; у моего мужа были приступы нервной депрессии после немецкой оккупации Франции, когда его преследовала мысль о том, что его могут насильно забрать в легион и заставить сражаться против СССР, который все же оставался Россией...»

Перед службой, в пустом тихом храме я подошел к церковному служке, продающему свечи. Я познакомился с ним в прошлый приезд: Игорь Александрович Марков, сын полковника белой армии, командира 3-го драгунского полка Александра Михайловича Маркова, тоже прошедшего через печальное стояние на турецком полуострове Галлиполи, где многие нашли свой конец.

— Я рад вас снова видеть... — узнал он меня. — Случаем, не привелось побывать в Новочеркасске? Как там, на Родине? Вроде что-то стало образовываться... Нет, мне туда уже не собраться, даже в гости, только душу травить. Я перестал даже мечтать об этом. Так легче жить. Моя Россия здесь. Я кусочек ее.

Церковь к началу службы постепенно заполнилась, стало негде встать. Странное чувство: словно я был где-то в России. Может быть, эта светло-печальная церковь, намоленная изгнанниками, тоже была частью России?

После службы ко мне подошел небрежно одетый, со включенными волосами человек, протянул руку:

— Пошли обедать.

— Куда? — не понял я.

— Ко мне домой, я здесь рядом живу.

— ...

— Пошли, пошли, там и познакомимся... — И совершенно незнакомый человек мне, совершенно незнакомому человеку, стал рассказывать свою жизнь.

Уже минут через пятнадцать появилось ощущение, что мы знакомы с ним очень давно.

— Ну, а почему все-таки ты подошел именно ко мне? — спросил я Сергея уже на кухне, рассматривая альбом с репродукциями его картин.

— Ну, здешних прихожан я преимущественно знаю. Ну и кого в Париже можно встретить во фланелевой рубашке?!

— В гостинице не топят, немного подмерз.

Сергей поразил меня своей открытостью. Через час я знал о нем буквально все, даже то, во что стараются не посвящать посторонних. А тут: совершенно чужому человеку, с которым познакомился буквально час назад случайно на улице (потом, правда, в гостинице, анализируя, я уточнил для себя, что все-таки не на улице, а около церкви), он рассказывал о своих бедах и несчастьях, в том числе семейных. Я в свою очередь, по каким-то причинам, скорее всего, из-за неизжитой гордыни избегающий церковной исповеди, рассказал ему о своих бедах, о тебе, о своей вине перед тобой.

— Не убивайся! — Сергей положил мне руку на плечо. — Нам с тобой осталось на этой земле совсем немного, — как-то очень легко, без грусти сказал он. — Здесь мы временно. Там все встретимся. Там мы все простим друг другу...

Я сначала даже насторожился, всерьез ли он все это говорит? Но он говорил так естественно, с такой уверенностью, без тени печали или грусти, даже с какой-то торжественной радостью, что я не то чтобы растерялся, но, может быть, окончательно поверил в существование того мира, в чем, может, до сих пор сомневался, где мы все непременно встретимся и простим друг друга. Он верил в загробный мир так же безоговорочно, как Ирен де Юрша, могилу которой я искал и пока не нашел, а почему-то мне это было очень нужно. Я испытывал неловкость или даже вину перед своими родственниками, на могилах которых бываю нечасто. Я снова и снова прокручивал в голове несколько строчек из ее воспоминаний: «Пасхальной ночью племянник отвозит меня на обедню в Сент-Женевьев де Буа в красивую часовню, творение великого русского художника Бенуа, потом мы идем чередой среди могил со свечами в руках, мы устанавливаем эти маленькие огоньки на могилах моего отца и мужа. Я говорю им: “Христос воскрес, и мы тоже однажды воскреснем, и мы найдем друг друга там, где нет больше ни боли, ни печали, ни стоны, но только поклонение и радость”».

Я поверил ему больше, чем многочисленным толкователям Св. Писания и, может, даже больше, чем самому Св. Писанию. Он был как бы живым свидетелем одновременно этого и того мира, для него между ними как бы не было границы. Почему-то я ему безоговорочно верил. Мне стало даже неловко перед ним и перед собой, что я не обладаю такой верой. Я что-то начинаю понимать, самые простые истины — и то, постоянно сомневаясь, только к концу жизни, — кто виноват в этом: сатанинская власть, отторгнувшая моих родителей от Бога? Но Сергей ведь тоже родился при той власти, из России уехал уже взрослым — но с раннего детства живет с верой в Бога, не мучаясь никакими сомнениями. Или он познал Бога только в результате долгих и мучительных страданий после смерти своих детей, сгоревших еще в России при пожаре?

Я не решился его об этом спросить.

— Может, останешься хотя бы еще на неделю? Я отвез бы тебя в православный монастырь, тут недалеко, под Парижем, у меня там дом. Хочешь, поживи в монастыре, хочешь, у меня, рядом с монастырем. Поживи хоть немного, успокойся. Вижу, тебе надо успокоиться перед операцией. И вообще успокойся. Вижу, мечешься. Я тебе дам телефон брата в Москве, он как раз кардиохирург, я его предупрежу, что ты позвонишь, он не только проконсультирует тебя, а сделает все что нужно. А болезнь порой Господь посылает, чтобы человек приостановил свой обычный жизненный бег, задумался, к какой пропасти его этот бег ведет, изменился, покаялся. А когда уходит... Господь сам решает, когда кого забрать. Не зря говорят: пути Господни неисповедимы.

У Бога свой замысел как о человечестве в целом, так и об отдельном человеке. В тебе еще много от мира сего, резкости, категоричности. Надо прощать людям слабости. И даже зло, ибо Господь не случайно его попускает, может, злом Он испытывает нас. Мы по привычке судим по своим земным меркам о Его поступках, порой они нам непонятны, мы готовы возмущаться, забываем, что у Него свои планы, потому как Он строит Царство не земное, а небесное... Когда у меня на глазах сторели дети, мне вдруг было откровение, я вдруг увидел вечность: и рай, и ад. Потому живу как бы наполовину тут, а наполовину там... Надо жить по Его заповедям, а когда Он нас возьмет и куда, не нам решать.

Мне хотелось спросить, какой он увидел вечность, но не решился, наверное, он имел на это какой-то внутренний запрет. Если мог бы сказать, то сказал бы без просьбы, догадываясь, что я мучаюсь этим вопросом.

Мне хотелось задать ему много вопросов, но я боялся, что они покажутся ему детскими, наивными. Будучи старше его на 15 лет, я чувствовал, что в вопросах истины, в вопросах жизни и смерти я был перед ним ребенком. И самое главное: в отличие от ребенка, мое отравленное атеизмом сердце было закрыто для истины, если я и воспринимал ее, то только рассудком.

Я понял, что встретил Сергея не случайно, как уже знал, что многие встречи в моей жизни, особенно в последнее время, не случайны, или я просто стал замечать это, и, может быть, именно для этой встречи меня кто-то надоумил прилететь в Париж, а командировка лишь повод. Я еще раз убедился, что в последнее время кто-то по жизни ведет меня, кто-то если не руководит моими поступками, то подсказывает их или устраивает мне нужные встречи, подкладывает нужные книги, или я вроде бы случайно беру в руки лежащий на столе журнал и открываю его именно на той странице, где оказывается статья с так нужными мне сведениями, о существовании которых я не подозревал. Сергей говорил и не догадывался, что каждая его фраза была для меня не случайна, и я безоговорочно верил ему, как не верил ни одному священнику, потому как у священников это было профессией, за которую получают зарплату. Я боялся, что не запомню всего того, что он говорил, мне хотелось взять ручку и записывать за ним, но это было бы нелепо, и только это меня удерживало. И, как я предполагал, приехав в гостиницу и схватившись за карандаш, я уже не смог толком что-то ясно выразить на бумаге, память моя с некоторых пор была словно решето, а может, память тут была ни при чем, может, кто-то специально затуманил сказанное Сергеем — как знание, которое мне рано знать: только смутные отблески его простых и ясных мыслей блуждали в голове, и я бросил карандаш. Но я уже не жалел, что прилетел в Париж...

В понедельник вечером позвонила Татьяна Борисовна: могилы Ирен де Юрша в списках кладбища она не нашла. Мало сказать, что я был удручен. Неужели могила за отсутствием ухаживающих за ней родственников не сохранилась? Положили же умершего — от рака! — Андрея Тарковского первоначально в заброшенную могилу некоего есаула Григорьева.

Через день мне нужно было улетать, и на душе было тоскливо от напрасных поисков. Почему-то это было для меня чрезвычайно важно, а я знал, что в Париж больше никогда не попаду, и буду жить оставшуюся жизнь с чувством невыполненного долга, не знаю, перед кем, скорее всего, перед собой, перед этой удивительной русско-французской семьей, хотя вроде бы перед ней ни в чем не виноват. Я бесцельно, до изнеможения, несмотря на холодный пронизывающий ветер, бродил по Парижу, а к вечеру снова пошел в русскую церковь на рю Дарю, может, Игорю Александровичу Маркову удалось что-нибудь выяснить у прихожан. Увы! Что меня поразило: на службе, кроме священника и Игоря Александровича, я был, кажется, один. Как в России...

По дороге в гостиницу решил, что если сегодня Татьяна Борисовна ничего не прояснит, то завтра поеду в Сент-Женевьев де Буа рано утром на поезде, чтобы до отлета еще раз внимательно пройтись по кладбищу. Но поздно вечером Татьяна Борисовна обрадовала:

— Я нашла... Уж очень неприметная табличка на французском, касающаяся ее отца и мужа. А ее — всего лишь временная, когда ее похоронили, так и осталась. Она заржавела и совсем почти не читается. И вот что я выяснила в муниципалитете: место на кладбище в день ее похорон было оплачено на тридцать лет, срок оплаты истек, обычно год-два еще ждут, а потом, если не объявляются родственники, в любое время в эту могилу могут похоронить другого человека. Потому-то ее и нет в списках конторы кладбища, но какое-то время, видимо, они еще выжидают...

Я позвонил еще одной знакомой, обретенной в Париже, врачу Ольге Назаровой, занесенной во Францию третьей волной эмиграции и начинавшей жизнь в ней певицей кабаре. У нее завтра был напряженный день, но она сумела перепланировать его. Утром, по пути забрав Татьяну Борисовну, мы захвали в муниципалитет г. Сент-Женевьев де Буа, где я написал заявление, что я приехавший из России родственник Ирен де Юрша и что я в течение месяца произведу оплату, хотя я еще не представлял, как это сделаю.

С волнением я шел меж могильных рядов. Оказалось, что я не раз проходил мимо этой могилы, но, во-первых, надпись на кресте была на французском, мелким шрифтом, и имени на табличке не было, оно было на другой, ниже, проржавшей, и почти не читалось, а во-вторых, я представлял могилу более богатой, что ли, меня отвлекали окружающие ее пышные и яркие надгробия.

Я долго стоял над могилой, словно здесь были похоронены мои родственники. У меня в кармане был плоский флакон с коньяком, на всякий случай, вместо сердечных таблеток, у Ольги в багажнике оказалась вареная курица и, несмотря на Великий пост, мы пошли в кладбищенскую сторожку к мусульманке марроканке Фариде и по-русски помянули усопших. И было легко и светло у меня на душе.

Вечером позвонил Сергей:

— Я договорился с Юрой-десантником, он заберет тебя завтра утром хоть на пару дней в монастырь.

— Сережа, я внимательно посмотрел билет: оказывается, улетаю не в воскресенье, а уже завтра.

— Жалко!.. А завтра я не смогу тебя проводить. Буду далеко за городом. Прилетай обязательно еще.

— Ты думаешь, так просто: взял — и полетел.

— А я тебе оплачу билет туда и обратно.

— Сережа, я обязательно приеду, но я еще в состоянии сам заработать на билет. Но если ты серьезно, можешь оплатить просроченную аренду земли на кладбище Сент-Женевьев де Буа?

Он задумался всего на несколько секунд:

— Да, конечно. Есть кому тут без тебя выписать счет?

— Есть... Спасибо, Сережа! Я обязательно приеду...

Я улетаю из Парижа почти счастливым. Я уже совсем не жалел, что поменял кардиоцентр на Париж, чем бы для меня это не закончилось. Я знал, что не случайно и не зря в него прилетал.

Нет, мое отношение к Парижу мало изменилось. Да, конечно, это был совсем другой город, чем в прошлый мой приезд, более светлый, более, может, теплый. Значит, все-таки что-то изменилось в моей душе. Но родным он мне все равно не стал. Меня по-прежнему тяготили его величественные

католические храмы, они не поднимали мою душу, а наоборот, придавливали к земле, меня почему-то угнетала их утонченно-прекрасная холодная каменная вязь, они тоже свидетельствовали об ином мире, но он меня пугал своей жестокостью... Сколько-нибудь родным Париж для меня делало кладбище Сент-Женевьев де Буа, на котором лежали тысячи и тысячи русских беженцев и их потомков, и потому оно стало частью России, там была могила Ивана Сергеевича Бунина, там была могила Ирен де Юрша, ее отца и мужа, которые стали казаться мне почти родственниками, особенно после того, как оказалось, что кроме меня о них больше некому позаботиться... Я уже говорил, что на кладбище Сент-Женевьев де Буа нет ощущения смерти. Оно торжественно и светло. Словно оно было частью того горнего мира, встреча с которым нас так тревожит, встречи с которым мы так боимся. Оно примиряло меня со смертью.

Родным Париж делала русская церковь на рю Дарю.

Родным мне его сделал Сергей, который, теперь я точно знал, не случайно встретился на моем пути.

Когда я пришел к Сергею во второй раз, то застал у него почти уже в дверях сухонького старичка.

— Раздевайся, книги вон посмотри, пока я его провожу, — сказал Сергей. — Это мой тесть, — вернувшись, пояснил он. — По матери я из Голицыных, а жена — в девичестве Осоргина.

Сергей стал рыться в книжном стеллаже. Нашел «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына, стал листать:

— Ты, конечно, это читал, но прочти, вспомни вот этот отрывок, а я пока чайник поставлю.

«Кроме духовенства никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвез мантию и Св. Дары. По доносу посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться более трех дней, как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, — не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, что муж взялся за голову с мукой. — “Что с тобой?” — “Ничего”, — прояснился он тут же. Она могла еще остаться — он упрямил ее уехать. Черта времени: убедил ее взять теплые вещи, он в следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу...»

— Ну, прочел? — вернувшись, спросил Сергей. — Мой тесть — ребенок, зачатый во время этого свидания.

Я долго сидел молча, не в силах что-нибудь сказать...

— Пошли пить чай, — нарушил мое оцепенение Сергей.

Жизнь без тебя...

Я возвращался домой с очередной годовщины кончины сестры, которая неожиданно опередила тебя: умерла на полгода раньше. Автомагистраль А-5, известная между водителями больше как «дорога смерти» — на ней раньше времени можно попасть в мир иной — пересекала Уральские горы.

Перед этим, в июне, после моего возвращения из Парижа, были совсем не летние холода, и так хотелось тепла, а теперь вот вторую неделю стояла изматывающая, сдавливающая сердце жара. Потому я выехал поздним вечером, надеясь, что к ночи жара немного спадет. Но жара перешла в еще более изматывающую духоту, и я свернул к блеснувшему справа от дороги озеру.

Была прекрасная ночь, раствориться бы в ней, но жутковатое чувство бесприютности в этом мире вновь скрутило меня. Разумеется, каждый из нас задумывается о смысле жизни и над тем, что нас ждет за рубежом жизни, если вообще что-то ждет. Хотя легче жить, не утруждая себя мыслями обо всем этом. Как я уже писал, после твоей смерти я стал почитать умные книжки на эту тему, которые в изобилии продаются в церковных лавках. Как правило, они начинались главой с названием «Смысл жизни», а заканчивались главой «Жизнь после смерти». И оказывается, что в этой жизни нет никакого смысла, кроме познания Бога и подготовки к иной жизни.

Я уже писал, что ничего для себя я в этих книжках не вычитал. Более того, они оставляли в душе странный, если не сказать, тяжелый осадок. И я бросил читать их, они нечто вроде наркотиков, и опасны, как наркотики, я чувствую в них скрытый обман или благостный самообман, нельзя придумывать то и выдавать за истину то, что для человека по какой-то причине скрыто. Они внесли в мою душу только еще большее смятение.

Новое знание о жизни и смерти почему-то не подняло меня над Землей, а наоборот, придавило к ней, я давно смирился с тем, что я на Земле временный, но я никак не мог смириться с тем, что все мы на Земле навсегда временные, что мы никогда не вернемся на нее. Пока мы будем жить с этим чувством, никогда на ней не будет порядка, мы постепенно превратим ее в ядовитую, непригодную для жизни свалку. Рай после Страшного суда и всеобщего Воскрешения я почему-то представляю только на Земле. Может быть, мы все-таки предназначены готовить ее к всеобщему Воскресению, к своему возвращению, превратить ее в цветущий сад, а кто-то от имени Бога стремится увести нас с нее?

С этими гнетущими мыслями я снова сел за руль. Через сотню километров в лучах фар справа высветился дорожный указатель на поворот к деревне моего детства. В последние годы я никак не могу найти времени, чтобы не спеша пройти проселками, тропами детства, напиться воды из его родников. Все наскоком, все некогда. Странное свойство времени. Оно разное в зависимости от возраста. Чем взрослее становишься, тем оно стремительнее несетя. Какой долгий день в детстве: ходил в школу, поиграл на улице, сделал уроки, вздремнул, снова поиграл, а дню все нет конца. А чем взрослее, тем день короче, а к старости: встал — и не заметил, как наступил вечер.

Страна детства спала сладким предутренним сном. Серпантинном я заехал на гору, которая отвесной скалой нависала над притихшей ночной рекой, хотя, наверное, ее перекаты переговаривались с вечностью ночью не тише, чем днем. Но, может, действительно, река на ночь тоже притихает?

Внизу под скалой на противоположном берегу стояли палатки, кто-то сплавлялся по реке. Думают ли эти люди о том, что они временные на Земле, или спокойно, в отличие от меня, знают это и стараются унести реку в своей памяти в тот неведомый мир, для того и сплавляются?

Постояв на скале, я заехал на самую вершину, где когда-то, много лет назад, вернувшись из истекающей кровью Югославии, показал друзьям детства, где хотел бы быть похороненным. Там, в Югославии мне было не столь страшно умереть, сколь страшно умереть и быть похороненным именно вдали от Родины, хотя вроде должно быть все равно, где быть похороненным, раз мы временные на Земле и она лишь условно поделена нами на государства

и границы. Почему я хочу быть похороненным именно здесь, если я после своей смерти никогда сюда не вернусь? Может, я подспудно знаю, что моя душа, живя в лучшем мире или скитаясь по неведомым мирам, будет время от времени или постоянно возвращаться сюда, иначе — почему мне так хочется, чтобы я лег именно тут, чтобы была видна деревня, в которой я родился, изгиб реки, слышен клекот коршунов, шелест ветвей одинокой сосны? Разве это нужно моему телу, которое через несколько лет превратится в прах? Значит, это нужно моей душе, которая будет время от времени посещать мою могилу? Зачем? Чтобы я когда-то после Страшного суда встал из нее?

Я долго смотрел на редкие огни родной деревни далеко внизу. Они меня не грели, потому что ночные огни, как правило, — свидетельство беды: кто-то там тяжело болел, может, умирал...

Повернулся, чтобы идти к машине — и вздрогнул: прямо передо мной, надо мной, другим своим краем спускаясь к юго-восточному горизонту, висели серебристые облака. Еще полчаса назад их не было, я бы не мог их не заметить, со скалы я смотрел как раз в ту сторону, а сейчас они висели и чуть заметно мерцали в треть горизонта.

От неожиданности я растерялся, было такое чувство, когда к тебе тайком подкрадываются со спины. Неприятный холодок побегал по спине, но скоро я почувствовал, что от облаков идет мягкий доверительный свет, и мне стало неловко за свое прежнее чувство подозрительности или даже страха.

К этому времени я перечитал все, что касалось серебристых облаков, ученые вроде бы меня убедили в их чисто физической природе. И в то же время, вопреки всему, во мне все больше росло убеждение, что они — живые. Как живые — родники, реки, моря... Что они с умыслом время от времени появляются на ночном небосводе, и в трудную минуту разговаривают не только со мной. Мне кажется, что они тоже имеют душу, или что это даже чьи-то души, уже оторвавшиеся от Земли, но не успевшие улететь или не желающие улететь в иные миры. Иначе почему они таким странным образом волнуют мою душу, и не просто волнуют, меня при появлении их сразу покидает чувство безысходного одиночества, но в то же время душа начинает необыкновенно томиться по чему-то неведомому и высокому, она еще больше начинает страдать от одиночества, но совсем в другом, не безысходном смысле, который я только смутно чувствую, но не могу объяснить. Словно они мне что-то говорят о том главном, что я всю свою жизнь пытаюсь понять, а я, как ни стараюсь, не могу понять смысл этого, только смутно догадываюсь, и еще больше томится душа.

Я по-прежнему был один в ночи, и в то же время уже не один. И, затаив дыхание, смотрел в перламутровый ласково-тревожный свет, ниспадающий на меня сверху, и не знал, то ли мне принадлежат вдруг пришедшие мысли, то ли я считываю их с таинственных облаков.

И я решил, может, с великим опозданием для себя, что высший смысл, материалистический ли, религиозно-христианский, мистический ли — надо радоваться, насколько это возможно, самому дару жизни, раз она тебе дана, а она дана тебе не случайно, надо радоваться каждому данному тебе дню, но жить нужно прежде всего для ближнего, а потом только для себя. И раз мне по каким-то причинам запрещено знать раньше времени, что будет со мной после смерти, значит, не надо гадать, на халявных перинах или ржавых гвоздях я там буду возлежать, ибо, в конце концов, не в этом дело. Я уверен, что про халявные перины придумано нищими телом и духом людьми, какими бы святыми словами и даже делами они не прикрывались, они в этом мире мечтали о халяве, и раз тут не получается, они мечтают о ней в мире ином, это не имеет ничего общего ни с христианством, ни с Иисусом Христом. Я не приемлю рая, как они его описывают, я не хочу туда, хотя туда меня и не пустят, а если вдруг

пустили бы, то уже на третий день, наверное, я полез бы на стены, мучаясь от безделья, что для меня страшнее самого страшного ада.

Просто надо жить, не лукавя, прежде всего с самим собой. И ты не умерла и не покинула Землю, пока я жив и на Земле. Пока я молюсь за тебя, моя молитва оставляет тебя, по крайней мере, для меня, на Земле.

Я почему-то знаю, что тебе легче там, когда захожу в церковь и ставлю свечу тебе. Есть ты там или нет, я тебя чувствую по ту сторону свечи. Потом как бы в подтверждение этому я прочту у Иоанна Дамаскина: «Несчастливы те из умерших, о которых не молятся на земле живые!» Во спасение своей души, есть мир иной или нет, надо сделать хоть что-то, чтобы и за меня потом кто-то молился на Земле. Может быть, в этом главный смысл этой жизни и связь этого мира с тем.

Я только сейчас понял, как крепко мы связаны с тобой невидимыми узами, наверное, даже больше, чем при жизни. И если раньше даже сама мысль: жить с постоянным ожиданием своей смерти, — была страшна, то теперь я не только свыкся с ней, но заметил, что, живя с ней, стал, несмотря на болезнь, несмотря на годы, каждый день успевать больше. В свое время я у кого-то из подвижников веры прочитал: «Живи так, чтобы всегда быть готовым к смерти!» Меня покорила эта мысль. Теперь же я поймал себя на том, что не заметил той грани, когда произошел перелом, после чего мне уже казалось, что я сам пришел к этой простой и ясной мысли, что это утверждение принадлежит мне.

Память смертная — это не значит постоянно помнить, что ты умрешь, и пребывать от этого в ужасе. Память смертная — это ясное и спокойное осознание, что ты рано или поздно все равно умрешь, но это может случиться уже завтра или даже через час, а потому надо как можно больше в жизни успеть сделать, хотя вроде бы зачем все это, когда ты все равно умрешь, и все умрут, и, возможно, что уже через несколько десятилетий магнитные полюса поменяются местами, и всех нас ждет катастрофа, подобная библейскому потопу. И нужно стараться как можно меньше причинять боли людям, прежде всего своим ближним, животным, природе. Я только никак не могу смириться с тем, что, в отличие от души человеческой, души животных, потому как животные якобы неразумны, неотделимы от тела и распадаются вместе с ним, и что я не встречу там ни Динку, ни души загубленных людьми в своих кровавых разборках коней... Если судить по неразумности некоторых человеческих поступков, невольно приходишь к мысли: может, и наши души, по крайней мере, у многих, умирают вместе с телом?

Память смертная — это ясное осознание того, что за рубежом смерти придется давать ответ за прожитую жизнь, если даже этого отчета и не будет, даже если там вообще ничего не будет. Это своего рода самоконтроль. Память смертная — это не страх умереть, а страх совершить грех, а если совершил, то успеи раскататься в нем на Земле, ведь одному Господу известно, когда наступит наш смертный час. Но память смертную в то же время нужно соединить с чувством, что ты живешь на Земле вечно, что ты бессмертен, иначе она придавит тебя.

Было такое чувство, что все это я считывал с серебристых облаков или мне они это говорили. Стоило мне снова подумать о тебе, я как бы услышал в ответ: «Если ты всем сердцем желаешь помочь ей, не допускай сомнений в спасении ее души. Своей оставшейся жизнью, памятью и молитвой ты способен изменять ее загробное состояние. До Страшного суда ныне живущие на Земле должны помогать друг другу и в состоянии изменять загробное состояние ближних и всех, кто им был дорог на Земле...»

«А что такое Страшный суд?... И что такое конец света?» — осмелился я спросить.

«Не мучай себя этими вопросами. Главное, как в случае с памятью смертной, — всегда помнить, что то и другое у тебя впереди, как и у всех. А может, ответ со временем сам придет к тебе. А может, это понятие иносказательное. Главное: у каждого человека должен быть свой страшный суд над самим собой, который страшнее всех других судов. Тогда ему будет не страшен тот, вселенский суд. До всеобщего Страшного суда есть время помогать друг другу: как здесь, на Земле, так и в разных мирах. Всем усопшим, за которых на Земле приносится Бескровная Жертва, пусть даже это скромная милостыня нищему на паперти, пусть даже ты видишь, что он прикидывается нищим, прощаются некоторые грехи. Ты же читал у святителя Иоанна Златоуста: “Почти умершего милостыней и благотворениями, ибо это послужит к избавлению от вечных мук”. И еще ты у кого-то читал: “Если ты идешь в церковь, и денег у тебя мало, и берет тебя раздумье, дать ли нищему или свечу поставить, — то лучше дай нищему, а сам стань свечой Богу: гори верой и свети любовью ко всему Божию миру”».

Да, ты словно ребенок. Мучаешься, сжигаешь себя пустым вопросом о смысле жизни. Смысл один — стать свечой Богу, рабом Божиим, даже если ты допускаешь мысль, что Он просто придуман, чтобы было легче умирать. Пусть тебя не пугает понятие «раб Божий». Человек извратил это понятие из боязни, что Бог превратит его в низменного раба, подобного рабочему скоту, а раб Божий — это работник, соратник Божий, потому как человек задуман Богом не просто как свободно-разумное творение, а как образ Его, хотя и неизмеримо низший своего бесконечного Первообраза, но отражающий в своей духовной природе Его Божественные свойства, способный к их развитию в себе до степени нравственного богоподобия и бессмертный по своему назначению.

Уверуй, что душа человека не умирает вместе с телом, а остается бессмертной. Иначе почему она с самого детства так томится, словно ей тесно в теле? А потому всю жизнь и томится твоя душа, и не просто томится, а по чему-то неведомому, и никогда не успокаивается на достигнутом, никогда не ощущает полноты счастья, что она, в отличие от тебя, твердо знает, что то неведомое, с которым она, наконец, обретет всю полноту счастья — за пределами земной жизни...

Но в то же время живи с верой, что рано или поздно, может, после Страшного суда, если не ты сам, то хотя бы кто-то снова вернется на Землю, потому благоустройвай ее, сколько в твоих силах, для других, которые будут жить после тебя, как для себя. Надо жить на Земле так, словно ты на нее рано или поздно вернешься. И, может, на самом деле вернешься. Может, просто нужно заслужить право снова видеть закаты и рассветы...

Наступал рассвет. Серебристые облака стали уходить за горизонт. Но как бы на прощанье я услышал: «Остановись, задумайся, наконец, почему Бог уже много раз в самый последний момент, на краю гибели спасает тебя? Он тебя предупреждает, напоминает, чтобы ты, наконец, задумался, зачем Он тебя держит на этом свете, а ты уже на следующий день забываешь об этом. Остановись, переосмысли всю свою прежнюю и оставшуюся жизнь.

И еще: ты ужасался подвига монашества, тебя по-прежнему приводит в ужас сама мысль об этом. И в то же время страшит ужас одинокой старости. Ты прав: спасаясь от одиночества, не идут в монахи, в монахи идут от безграничной веры в Бога...»

Серебристые облака уплывали, растворяясь в рассвете. Я оставался один.

И вдруг неожиданно для себя я стал читать псалом 90, который читается человеком в крайней опасности:

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него...»

2009 г., октябрь

Р. S. 8 ноября рано утром я за двести верст торопился на утреннюю службу на престольный праздник в церковь во имя Дм. Солунского, покровителя всех славян, которую более сорока лет назад, тогда уже полуразрушенную, мне случайно, а может, не случайно оказавшемуся рядом, удалось спасти от взрыва. На одном из скользких поворотов машину занесло, видимо, задремал водитель, она сорвалась с крутой дорожной насыпи и, несколько раз перевернувшись, снова встала на колеса, меня смятой крышей так придавило, что голова оказалась между ног. Выброшенный или выпрыгнувший во время смертельного кульбита водитель с трудом ломиком сумел выковырять то, что осталось от двери и с таким же трудом вытащить меня. Какое-то время в полузабытьи полежав на припорошенной снегом земле, боясь пошевелиться от страха боли в переломанных руках и ногах, а то и позвоночнике, я осторожно встал. В голове стоял тонкий гул, переходящий в свист, похожий на звук взлетающего истребителя, который по сей день так и не прошел, но, кроме нескольких мелких порезов на голове от осколков лобового стекла, ран я на себе не обнаружил. В результате мы успели только к концу службы. Отец Петр, бежавший с Западной Украины от братьев во Христе, униатов, годный мне в сыновья, вместо сочувствия строго сказал мне: «Бог не убивает, но наказует. Это знак тебе. Задумайся, так ли живешь...»

А через два с половиной месяца, 21 января кардиохирурги буквально вытащили меня с того света. Меня спасли сразу пять счастливых, следующих друг за другом обстоятельств, исключи одно, любое из них, и я не писал бы эти строки. И как тогда, когда незадолго до твоей смерти я увидел во сне или придумал в полузабытьи таинственную женщину в светлом ореоле, по-матерински успокаивающую меня, которая, как я потом гадал, могла быть Матерью Божьей, так и теперь, теряя на операционном столе сознание, я явственно увидел над собой ушедшую в изгнание с частью русского народа и мечтающую вернуться назад в Россию, на место первого явления, Ея Табынскую икону Божией Матери, и услышал тот же голос, как тогда, мягкий и ласковый, как голос матери над колыбелью младенца: «Не беспокойся, у тебя все будет хорошо...»

И живу теперь я с вопросом: что за грозные предупреждения мне одно за другим были, суть которых я так и не могу осмыслить? Зачем Всевышний меня все еще держит на этом свете?



Владимир ЯРЦЕВ

СОН ДО РАССВЕТА

* * *

Шмель, слетевший с рекламы «Билайна»,
Утолит желтизну в черноте.
Крановщица! Ни вира, ни майна
Не спасают. Ни эти, ни те.

Воскресает зверек землеройка,
Котлован зарастает травой.
Крановщица, зачем эта стройка
И стрела над моей головой?

Прорицатели сядут в галошу,
Ну а лучше бы — сразу в тюрьму.
Опускай неподъемную ношу,
Я холодные стропы приму.

СТРОФЫ

Подвластна певичке
Округлость заморского слова.
Достаточно спички —
И публика вспыхнуть готова.

Вкушают эстеты
Изыск кружевной арабески.
Но — батюшки светы! —
Какие вокруг перелески!

Де факто, де юре...
Холоп — и сановный вельможа.
Чужая культура.
Сухая змеиная кожа.

Чего-то не спится,
Как будто я кинут кидалой.
А отроковица
С годами сопьется, пожалуй.

* * *

Говорят, что случай слеп.
Нет же! Зряч. На то и случай.
Как иначе, потрох сучий,
Заработает на хлеб?

Говорят еще, что этот
Костоправ ли, костолом
Применяет гнусный метод —
Караулит за углом.

И опять догадка мимо:
Безучастный сделав вид,
Грустный, словно пантомима,
Он на площади стоит.

Со ступеньки на ступеньку,
Из метро, к нему:
— Родной!
Как охота? — Помаленьку. —
И обходит стороной.

* * *

В тех краях, где эфир прозрачен,
Черен хлеб, ключевая вода чиста,
Кто бы пастырем ни был назначен, —
Не для молитвы отворены уста.

Там поленницу почитают как вид искусства
И на дверь не навешивают замок,
И карманы честны, и в них не густо,
Что владельцам их невдомек.

В тех краях, от папоротников рябые,
Ждать не ждут, когда придут топоры,
Вековые, тянущиеся вдоль Бии,
По-научному — ленточные, боры.

Много лет прошло, как оттуда
Я сбежал. Могилы матери и отца
В тех краях. И уже не свершится чудо.
Не хочу сохранять лица,

Но хочу, чтобы в корне переиначен
Был удел обреченных на вырубку и разор,
В тех краях, где эфир прозрачен
И вода чиста сих пор.

* * *

Я безбытен. Выходит, безбеден.
И конфликт между мной и судьбой
Для меня абсолютно безвреден
И удар не опасен любой.

Раскулачить возможно ль идею?
В долговую внесенный тетрадь,
Не боюсь, потому что владею
Только тем, что нельзя потерять.

* * *

Великих мертвых опасно отстраня,
Трогательная в своей неискренности,
Провозгласила — не кого-нибудь, а меня
Мэтрот Западно-Сибирской низменности.

Уж лучше б я побывал под троллейбусом
Или другая приключилась утопия.
Совестно ощущать себя негусом
Средне-Сибирского —
Абиссинского! — плоскостопия.

...Я люблю ее
(По-отечески, яко дочь),
И — пока не сгнули, не погибли мы, —
Вечность, пасть ненасытно не щерь:
Отношения наши
Незыблемы.

* * *

Эх, колючая стерня,
Сжатые поля.
Скоро примет и меня
Матушка-земля.

А со мной — прервется род.
Под грачиный грай
Память — вальс или фокстрот —
От безмолвия умрет.
Ты — не умирай!

Хоть и не было любви, —
Шел я по стерне, —
Ты, пожалуйста, живи,
Помни обо мне.

* * *

В старом парке цветет волчье лыко,
Ни беседок, ни светлых аллей.
Ну откуда взялась ты, улыбка,
Беспощадная, словно улика, —
Для тебя! — господин дуралей?

Ну откуда и нежность, и жалость
Меж чубушников в парке пустом?
И она ничего не боялась,
Эта девушка, — шла и смеялась,
И глаза прикрывала зонтом...

* * *

Уже который год
Ищу забитый вход
В полузабытый дом.
Ищу калитку в сад,
Где много лет назад
Я бегал босиком.
Все кажется: вот-вот,
Еще чуть-чуть, почти,
Ищу который год —
И не могу найти.

Но! Прошлое во мне,
Внутри, а не вовне —
Со светлым потолком
В квартирной полумгле,
Со ржицей-васильком
В стакане на столе,
С окном, раскрытым в сад,
И запахами трав.
Но в scarлатине брат,
Босяк по кличке Граф —
И женская рука
На детском лбу лежит:
Все хорошо, пока
Вечерний сад жужжит.

Но в сумерках вползет
Беда сквозь щель в стене.
И доктор не придет.
И брат умрет во сне.

ФАНТАСМАГОРИЯ

Втиснут, вмят, не по-доброму впихнут —
Против воли — в сомнительный поезд.
...Фонари на перроне не вспыхнут,
Упреждая погоню и поиск.
Пахнет пыльным сукном, сухоцветом,
Валерьянкой, дешевым кагором.
Тесно мне в нерестилище этом,
И в ушах отдает ре-минором.
Ни роптанья, ни детского плача,
Ни малейшей зацепки для слуха.
Это, видимо, все же не плаха.
Депортация духа.
То не мелкие козни Фролова,
Счетовода из тридцать второго,
Чей сигнал безупречно оплачен —
Доноситель и сам раскулачен.
То не игры вождигов в английских,
В чанкайшистских и прочих шпионов,
Но молчание дальних и близких.
Глухота миллионов.
То не вывих истории нашей,
Но невинною девочкой Машей
Невзначай обозначенный вектор —
Переменчивый ветер.

...Как ни ахал, ни охал, ни эхал,
Ни стenal на глухом перегоне,
Но до станции дальней доехал
В неприветливом общем вагоне.
Вот и вышел с предчувствием боли,
Но неладное что-то со мною:
Впереди — медоносное поле,
И попутчиков нет за спиною.
Где народ из гадючьей теплушки?
Снова призрачный сон до рассвета?
Клевера. Кукованье кукушки
За опушкой гремящего лета.



Виталий НАУМЕНКО

КОЛЯДКИ

Р а с с к а з

Даша и Рита вообще ни о чем таком не думали. Тем более — Вася Кузопетрин. Он был младше всех на три года, и у него собирались, как на штабквартире, потому что родители на новогодние каникулы уехали в отпуск. Он вообще иногда не понимал, о чем речь между девчонками. Все придумала двоюродная сестра Настя...

* * *

Пацаны давно пронюхали, что малолетки-старшеклассницы поселились у Кузопетрина, и все время звонили им в дверь.

— Марго! Шутки закончились! Я человек без чувства юмора!

— Чем он там пыхтит? Весь подъезд задымил уже. Труба выхлопная. Я пошла на балкон, — сказала Даша.

— Дефиле? И что ты им покажешь? Синего человека? А лечить тебя от ангины кто будет — птица счастья завтрашнего дня? — спросила Настя.

Даша согласилась:

— Я — объект воображения. Ну, как будто меня нет. Только представить можно. Еще не хватало: чтобы пялились. Да меня эта дылда и так всю продымила насквозь.

Действительно, но весь дым от сигарет, которые Рита отбирала на переменах у младшеклассников, доставался почему-то исключительно Даше.

— У меня глаза стали большие и красные, — жаловалась она.

Васю в целях безопасности — подросток все-таки — возраст взрывоопасный — отодвинули на матрасе ближе к балкону. Остальные спали как попало. Настя и Даша валетом на диване, пихаясь и толкаясь, делили территорию. А поскольку они были совершенно одинаковые по объему (одинаковой комплекции), это было непросто.

Рита — девушка самая эффектная, высокая и невозмутимая — раздвинула кресло, у которого не было верхней части. Туда подложили доску, но доска не подходила по размеру и все время проваливалась. Вместе с подушкой и головой Риты. Возможно, самой изящной в мире по форме головы. Комнату то и дело среди ночи оглашали Ритины нецензурные высказывания, сопровождаемые грохотом. Грохот напоминал по звуку падение со строительных лесов мешка с цементом.

Стоило ему прозвучать, сейчас же на диване просыпались Даша с Настей, снова начинали вертеться, щипаться и обзываться.

Дверной звонок не смолкал всю ночь.

— Танцы в метро, странные танцы... Марго, я могу и головой дверь выбить. И рукой... — пацан в подъезде надолго задумался. — И ногой. Система кун-фу.

Настя стала суматошно бегать по комнате.

— В три часа ночи! Они что там совсем обдолбались?! Если бы я не была женщиной, я бы ему показала.

— А ты и так не женщина. Так что спи и не брыкайся всё время, — сказала Даша.

— Я-то, может, и не женщина, а ты — профура. На таких только в деревне Мамырь ведутся. Нашла чем гордиться. Вот я всё тете Любе расскажу.

— Танцы в метро, — настойчивый друг не унимался и продолжал с каким-то звериным удовольствием давить в звонок, — Марго! Синюшкина! Я знаю, ты где. Я сейчас дверь сломаю приемом, за свой счет будешь ремонтировать, отвечаю!

Маргарита спокойно спала, пока ее голова опять не провалилась следом за доской.

— Девчонки, кто там все время орет? — сонно спросила она, даже как будто сделала им одолжение.

Вот тут-то весь накопленный друг на друга за ночь гнев Даши и Насти нашел выход.

— Дебил твой! Придурок. А у него и по лицу видно, что придурок.

— Может, это другой? — усомнилась Даша.

— А может, это ты другая? Да ты из-за сантиметра дивана меня задумишь, — Настя пришла в ярость. — А он сюда к экзаменам пришел готовиться, да? Другой из кого? Вспоминаю: идешь — вроде парень как парень, а приглядишься: ну полный придурок. Говорю, я этого даже от остальных придурков отличаю.

Звонок все-таки, медленно затухая, скончался.

— Ка-те-го-ри-аль-но! — сказала Даша и отвернулась к стенке. — Вы тут, по-моему, все родственники, а я спать хочу.

Важно объяснить, кто такая была Даша. Даша была невысокой девочкой с короткой стрижкой, не менявшейся с первого класса, и странным, чуть надломленным тембром голоса. Кроме этого, ее отличала всего одна и очень странная черта: за ней всегда стояла армия молчаливых поклонников. Все знали о существовании этой армии, хотя армия ничем себя не выдавала. Каждый мечтал прикоснуться к Дашиной руке, каждый мечтал сделать за нее все-превсе домашние задания, спасти ее в случае опасности, но Даше хватало просто факта наличия этой стены молчаливого обожания.

А прочнее стены не могло быть: у Даши был парень, гораздо старше ее (он катал ее на мотороллере, они почему-то все время падали с него, поэтому она постоянно ходила в бинтах, зеленке или пластырях), она спала с этим парнем, но это ничего не меняло в сплоченных рядах за спиной: ни намек, ни записки — тишина, и только замороженный шепот, опущенные глаза, корявые подростковые фразы, в которых все равно ничего не поймешь.

Это вам не правдолюбка и пацанка Настя, не Маргарита, оставлявшая везде и всюду ощущение своей крайней развязности и доступности (совершенно обманчивое) — тут совсем другое. Разбей аквариум — вся вода вытечет: такой была Даша, с ее ранним вступлением во взрослую жизнь, вечными порезами, миловидностью, которую она и не берегла, считая, что никуда она не денется, как и армия дыхателей.

Настя металась по квартире, как фурия. Хотя никто не видел, как мечутся фурии. А вообразить, как мечется Настя, наверное, возможно. Как любая девушка с характером, которой не дают поспать.

— Кто там? Пятьсот грамм, — прислонила она ухо к двери.

— Марго! Это юмор такой? А что у тебя с голосом?

— Курим много, сигареты стреляем. А это кто там из-под земли сейчас спросил? Ты уже достал всех башкой об дверь биться! Мужиков что ли нет в подъезде — тебя выгнать? Или их в природе нет? Один остался. Который долбитя, как дятел. Не терпится, что ли?

— Я с буровой.

После буровой стало совсем скучно, звонок давно сломался, Даша уснула. Одна Настя, у которой волосы стояли дыбом из-за какого-то химического средства, из принципа объясняла пацану за дверью, что она думает обо всех его буровых. Тот сперва что-то бубнил, но потом сдулся. Мгновенно наступили такие тишина и покой, что ни шороха, ни звука, даже занавеска ласково прилегла на подоконник.

Настя вдоволь напиналась с Дашей. Теперь они спали как два измученных ангела. Их локоны спутались, а пальцы сплелись. Невинность — как многие представляют ее себе.

Даже Вася Кузопетрин задремал. Никто не предполагал, что произойдет дальше. Голова Риты с обычным треском-грохотом провалилась, одновременно ничуть не сломленный духом бурильщик включил в подъезде мощный радиоприемник — песню «Музыка нас связала». Перепуганная Даша так пнула Настю перебинтованной ногой, что та упала с дивана на копчик. Обе завопили. Вася ударился головой о батарею. И всё это в одну долю секунды.

— Та, которая была, ушла-шала-ла-лу-ла. Которая пряталась от меня. Шизофреническая. Я ей сказал, что бурить — это не призвание, а работа. Она говорит: призвание. А я то же говорю: призвание. Какая же это работа! Думать надо. А она спряталась и не открывает. Марго! Пью с тобой за буровую. Где нас тарасит. Да я пенсионер, считай, уже по возрасту, скоро пенсию буду получать. Музыка нас повязала!

— Нет, он что вообще не отключается? — Даша вертелась в простынях, отвоеванных у Насти.

— А вот я с кем-то сейчас местами возьму и поменяюсь, — не выдержала Рита.

На этот раз разрушения кресла были фатальными. Оно захлопнулось, сплющив Риту.

— Это что за поза для сна? — возмущалась Рита. — Я что, должна вверх ногами спать?.. Вася, ты сходи, поговори с ним, а то он правда дверь ломает. А мы одеты по-пляжному.

Вася послушно перешагнул через Риту и ее кресло и подошел к двери.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Дверь открывай, я к Синюшкиной. Я пенсионером скоро буду.

— Поздравляю. Синюшкиной здесь нет.

— Нет? А я тебя на улице поймаю.

— Здесь нет Синюшкиной, а ловить меня на улице не надо.

Поняв, что диалог зашел в тупик, все в комнате, в том числе Вася Кузопетрин, вернувшийся на свой матрас, дружно посмеялись.

— Васенька, спасибо тебе, — сказала Рита.

— Тебе там, наверное, неудобно у батареи спать? — спросила Настя. — И из форточки дует. Вася, иди к нам. У нас тут тепло.

— Эй! — прикрикнула Рита. — Лучше ко мне. Ты знаешь, что бывает от связи двоюродных родственников? А я — безопасный вариант.

— Ты — безопасный?

Вася от ужаса уткнулся лицом в батарею. Он был давно влюблен в Риту и точно знал, что она будет его женой. Правда, ждать нужно долго — лет пять.

Но это неизбежно, это судьба — они будут вместе. Пока свои планы он скрывал.

Даша смеялась дольше всех, а потом заплакала.

— Ты чего? — утешала ее Настя. — Сама сказала: как пнула тебя — даже нога прошла.

— Чего-чего... Мне мужик один сказал, что я никогда замуж не выйду. Факир.

— А где сказал?

— В Доме культуры. В фойе. Еще сказал, что от лампочки умеет прикуривать. И в Ленинграде был — два дня!

— Врет, — закурила Рита. Ноги ее действительно торчали теперь над ее головой, а голову вообще не было видно. Только дым сигареты выдавал тот факт, что она существует.

— Ну и не ходи туда. Зачем ты туда ходишь?

— Да, Настенька? — в Даше произошел внутренний переворот. — А потому что я не хочу быть проституткой при красивой подруге. Типа тебя.

— Зато ты уже... Саша Барабаш. Будто никто не знает, как ты с ним...

— А что — Саша Барабаш? Губошлеп. У него даже часы всё время неправильное время показывают. Ты бы его пальцем поманила — и всё. Еще лежит тут, выпендривается. «Как бы мне девственность потерять...» Тоже мне проблема! Вот отбиться от них — проблема! Им бы хоть с кем. А я — неповторимая. На меня в мире никто не похож даже внешне, не считая, какая я внутри.

— Ты, неповторимая, ребенка мне не травмируй... Он и так странно как-то к батарее прилип. Я уже из-за тебя вся в синяках. Ты меня запинала! Я как в таком виде мужчине могу показаться?

Рита явила свою скульптурно вылепленную голову, хотела что-то сказать, но, взмахнув длинными волосами и вытянув вперед руки, окончательно провалилась в остатки еще недавно пригодной для наслаждения мебели.

* * *

Утром заспанный Вася Кузопетрин пошел умываться. На кухне сидели Даша и какой-то парень. Между ними на столе стоял деревянный ящик с бутылками пива.

На обратном пути парень Васю перехватил.

— Ты Кузопетрин? Ну, я сдаюсь. Ты такого быка ночью завалил. Но я тебе и не завидую. Ты только не расстраивайся, но тебя на днях убьют. Они же с заточками все; Даша говорит, чуть дверь не выломали. Смотри, ящик пива, да? «Жигулевское». Вот тебе бутылка, сам ее открою. Из уважения к тебе. Сходи, погуляй, а? А мы тут с Дашей... понимаешь, контрольные по литературе, ну, икс плюс игрек, просек? У нас почерк похож, вот я ей и помогаю.

Даша кивнула: мол, можно доверять.

Вася вышел во двор. Вылил пиво. Посидел на скамейке, перелез через ограду на стадион: жалко мяча нет, посмотрел, как убирает снег дворник, сходил на железную дорогу. Залез в недостроенное здание, но его оттуда прогнало строители. Посидел на скамейке. Замерз.

Вернулся. Дома не было ни Даши, ни ящика с пивом, ни парня. Только сестра Настя и Маргарита. Они сидели и курили на кухне. Дым столбом.

— Вася, а ты где был? Час тебя ждем. Я за тобой присматриваю, между прочим, — сказала Настя, — это поручение родителей. У нас сегодня будет вечеринка «диско», а мы слабые девушки, мы всё из магазина не донесем, ты нам поможешь?

— Конечно, поможет. Васенька, иди ко мне, — Рита легонько прижала к себе Васю, и он подумал, что когда она возьмет его фамилию, они вдвоем будут всё это вспоминать. И много других случаев. У них будет машина и двухкомнатная квартира.

— Какой-то он неразговорчивый, — пожаловалась Рита.

Настя меланхолично курила:

— Железки варит. Я не знаю. Что-то там конструирует в гараже. В футбол играет, в шашки. Составил график развития своей личности. Кстати, интересное увлечение: выписывает афоризмы. На гитаре хочет научиться.

Настя была брюнеткой. Все ее идеи были вздорными, но заразительные тем духом юности, который их и порождал. Она была ребенком рядом с Ритой — воплощением цветущей женственности.

В их компании всё позволялось и прощалось только Даше.

Рита, например, страшно мечтала выйти замуж и всё для этого делала — нарочно распускала волосы (избранным их можно было понюхать), ходила в школе в обуви на каблуках, а не в кроссовках, выражалась, носила короткие платья, душилась до обморока сознания, регулярно провоцировала вызовы на ковер к директору школы, который любил играть на баяне, и вместо того чтобы бороться с антиобщественным поведением своих старшеклассниц — таких, как Рита, — с упоением пел и плясал перед ними.

Итак, втроем — Рита, Настя и Вася — отправились в 21-й магазин. Всё погрузили на Кузопетрина. Это были авоськи с красным вином в литровых банках, консервы, колбасный сыр... Девушкам на вечеринке Вася не нужен был совсем, но и девать его было некуда.

— Хорошо, что Дашки с нами нет, — сказала Настя, — ненавижу ее безответственность — она меня «головкой от сифона» назвала. Обмотается своими бинтами... Даже шлем показывала: ровно напополам расколотый — удивительно. Кстати, Вася, а ты не знаешь, где она?

— Не знаю. Может, в кино пошла. Хотя их туда с ящиком пива не пустят.

— Ага, в кино, на «Эммануэль-2», — сказала Рита, — куда она еще может пойти с ящиком пива.

— Что-то знакомое. «Эммануэль». Про собаку, да? А хороший фильм? — спросила Настя.

— Да ну. Про любовь, где голые. Порнография. Я такие фильмы много раз видела. В видеосалоне в «Детском мире». Это такие фильмы — всегда одно и то же. То ли дело «Рожденные революцией». Мне больше нравится. Интрига, и на мужчин приятно посмотреть.

— А что такое порнография? — заинтересовался Кузопетрин.

Настя дала ему подзатыльник.

* * *

— Смотри, вот это баррэ.

Блондин с гитарой то и дело отвлекался от обучения Васи и смотрел на Настю. И чем больше он смотрел на нее, тем меньше она обращала на него внимание. Вася Кузопетрин, уткнувшись в гриф гитары, ничего не замечал.

— Ты не волнуйся, ни у кого сразу не получается, — подбадривал его блондин.

Даша лежала на коленях своего приятеля, замеченного утром с ящиком пива, и пыталась, раскручивая бесконечный бинт на лодыжке, прибинтовать к своей ноге его голову.

Рита пряталась за Васей от неразговорчивого крановщика Виктора. Тот мрачно вскрывал консервным ножом банки с вином.

— А помните, — Насте, как всегда, стало смешно, — мы Людке объясняли, как шампанское надо открывать? Сказали ей: зубами. Она — ка-ак потянет...

— А дальше что было?

— А помните, — отмахнулась Настя, — как Погодаев склад ограбил? Свалил все конфеты в одеяло, ходил по школе и всех угощал? Романтик.

— Его отчислили еще.

— Да. А потом за убийство посадили, — Настя загрустила. — Жалко. А я считаю, он за кого-то мстил. Точно! Парень обидел девушку, а Погодаев на суде не сознался, за какую, чтобы ее имя не выдавать. По-моему, очень романтический поступок.

При упоминании романтики блондин с гитарой вдруг заголосолил, глядя на Настю:

— Милая Алёнушка, где ты, где? Может, на планете — на Земле? Может, просто в сказке ты живешь? Может, на одной из дальних звезд?

— Вообще-то меня Настей зовут, — обиделась Настя.

— А я — Жека.

— Из какого жэка?

— Из нашего. А из какого?

— А кто тебя привел: эта или та? — подозрительно спросила Рита.

Даша и ее обмотанный бинтами спутник сползли куда-то под стол. Настя сделала вид, что она вообще здесь случайно и никого не знает.

Виктор мрачно прохаживался и осматривал книжные полки. Его заинтересовал театральный бинокль.

— А чё он маленький такой?

— Для театра. Или с балкона на соседний дом смотреть, — сказал Вася.

— Мысль. Себе возьму.

Жека продолжал надрываться:

— Живет в белорусском Полесье ровесница леса Олеся. Считает года по кукушке, встречает меня на опушке!

— Тоже романтично, — прокомментировала Настя.

— Чего романтичного-то? — Рита была непреклонна. — Сейчас всё выясним. Мальчики и девочки, кто из нас кого привел? Или это вас всех одна... В общем, начинающий организатор половой жизни привела?

— Ты про меня, что ли? — удивилась Настя.

— Ну уж ты-то чего? За братом присматривай, сопли ему вытирай. Это Дашка. Ее нет — верный признак.

Перед девушками стояли вперемешку литровые банки с вином и банки с домашними салатами. Подруги смотрели друг на друга так, будто их осенило. Вася Кузопетрин смотрел на Жеку.

— А Цоя можешь? — спросил он его.

— Ясно — могу. Цой жив! Целый год голый лед...

— Да подожди ты со своим льдом, — не на шутку завелась Рита, — а где же это Дашуля-то наша законспирированная? И кто там под столом возится? Мы кошку завели?

Из-под стола вылезла растрепанная Даша.

— А я куда и не уходила. Мне у Цоя другая нравится: «На вечеринку один, пока моя девушка больна».

— Нормально? Она больна, а он — на вечеринку, — из-под стола вылез не менее растрепанный парень Даши — Саша Барабаш. (Да-да, таинственным незнакомцем был именно он.) Саша вытянулся, застегивал ремень, и, стараясь держаться молодцом, стал оглядываться по сторонам.

— Все в сборе, — заключила Рита. — А где Виктор?

Виктора нигде не было. Все стали его искать.

— Поздравляю вас. Виктор вашу квартиру обчистил, — подытожил Саша, иронически наблюдавший за поисками. — Наркотики ему нужны? Нужны. Клей в пакете нюхать. Чтобы вштырило. А на что их брать? Его из ПТУ отчислили. По карманам в гардеробе искал себе уют. Собрали педсовет. Он разбежался в туалете — бац об стену головой. Сотрясение мозга. И главное: нам говорит: я сейчас об стену головой... А мы чинарики смолим. А он: а я сейчас об стену головой. А мы чинарики уже побросали. Он разбежался и действительно — бац. Ну его в больницу, типа, психоз. А он тут мужика одного чуть люком кана... каналы... кана...

— Канализационным? Заело, да? — Даша набросилась на Барабаша и стала возюкать его по коврику. Разбила ему нос. — Ты зачем его привел? Этого Виктора! У тебя друзей других нет? Это тебя надо люком кана-каналы...

— Сашка и меня привел, — сказал блондин Жека, ползавший по полу в поисках гитары, — но я никого не обчистил. Честно. Людям доверять надо.

Рита смотрела на всю эту возню и смеялась про себя. Настя подбежала к Кузопетрину и обняла его:

— Вася, что пропало? Я отвечаю за тебя. Что пропало?

— Бинокль.

Даша устала лупить Барабаша, она достала платок и принялась вытирать с его лица кровь. Настя хлебала вино прямо из банки. Жеку затошнило, и он убежал. Рита продолжала смеяться — уже в полный голос.

Вася Кузопетрин присел к батарее, смотрел на Риту, на ее локон, чуть прикрывавший ухо, локон, который она поправляла, когда задумывалась, и никогда не был так счастлив. «Почему я? — думал он. — Почему она выберет именно меня? Конечно, хорошо быть ее мужем, но вдруг у нее окажется ужасный характер, и мы начнем ссориться? Нет, она добрая. Главное: я ее всегда перевоспитаю, если мне что-то не понравится в ней».

— Ты на кого смотришь? — строго спросила Рита.

— Ни на кого, — испугался Вася.

— Поставь что-нибудь. «Для вас, женщины» есть? Нет, лучше медяк. Смотри, сколько у тебя пластинок. Я хочу с тобой потанцевать. Ты же не будешь меня тискать? А то тискают постоянно, я уже вся в гармошку. Вася, а ты умеешь вести партнершу? В мир грез.

Вася бросился на диван и зарылся под одеяло, не замечая, что в это время здесь же, на его диване, Даша и Саша Барабаш производили определенные телодвижения. Рита легла прямо на ковер, забрызганный кровью, стала лепить шарики из хлеба и бросать их в люстру. Жека уснул на унитазе. Одна Настя с отрешенным видом сидела за столом, лицом к окну, и машинально ела колбасный сыр, запивая его шампанским.

* * *

Девушки все еще бодрствовали. Юноши спали.

— Ты все-таки испортила мне ребенка! Могли бы и на кухне своей похабелю заниматься!

— А пусть учится, — ответила Даша, — да и вообще он ничего не видел. Он под одеялом трясся.

— Это она испортила тебе ребенка? — удивилась Рита — Да это я его тебе испортила. Такой сладкий вкусный мальчик.

— Да? А я сейчас с тебя клипсу сорву и в окно выкину!

— Да шутка это. Не буду я его трогать. Первый поцелуй, первая гроза, первое хочю, первое нельзя...

— А мне так нравится Сашке волосы ерошить! — Даша разливала вино из последней банки.

За окном светлело.

— Кто о чем! — воскликнула Настя.

— А что? Завидуешь? Да и вообще я тебе не верю, что ты одна из нас ни с кем не спала. А помнишь, тебя изнасиловать пытались на Горбаках? Зачем ты туда в такую рань поперлась?

— Как зачем? За машиной. Я ездить учусь.

Однажды Настя утром пошла в гараж на Горбаки, и на нее напал маньяк. Начал срывать с нее одежду, а как дошло до дела, у него не вышло. Бывает. Настя сразу подобрала осколок стекла и стала резать им маньяка. И нашли его по приметам, по шрамам. И у Насти на ладони тоже шрам остался.

— Нет, что ни говори, а ты мужественная, — сказала Рита. — А вот меня бы никто никогда изнасиловать бы не смог.

— Это почему?

— Надо над мужиком посмеяться — и все. Оскорбить его, унижить. А если совсем тупой — резко поговорить. А безнадежный вариант — приласкать.

Именно в этот момент Настя придумала то, с чего и начинался рассказ. То, что не пришло бы в голову ни Рите, ни Даше, ни тем более Васе Кузопетрину...

— Девчонки, а пойдемте сегодня ночью колядовать! Ночь на Рождество. Подарки домой принесем.

— И венерические болезни, — добавила Даша, — на нее же маньяки бросаются, и она же хочет по ночам гулять!

— А мы Васю с собой возьмем. Нас и так трое. Потом, я мешок на себе не собираюсь тащить. Пусть привыкает.

Даша постучала по опущенной голове Кузопетрина.

— Он что у тебя — дружинник? Может, самбист? Лучше бы бурильщика оставили, он кун-фу знает. Хотя — что это такое? Может, это «добрый вечер» означает по-китайски?

Даша втиснулась на диван между спящими головами, ушастью — Васи и перемотанной бинтами — Саши, уложила себе на грудь, обняла их.

— Ну-ну, дерзайте! Колядуйте! А я в городской больничке подежурю. Все равно мне туда Барабаша сдавать. Я ему, кажется, нос сломала, а зачем он мне с кривым носом? Вот пусть там свои портянки и мотает, мотогонщик.

Таким образом Даша взбесила Риту.

— Трусиха ты, Дашуля! Это тебе не безжизненное тело мутузить.

— А твой бурильщик!.. Его не музыка, а белая горячка повязала.

— А дверной звонок кто будет чинить? — подхватила тут и Настя. — Первое хочу, первое нельзя? И ты, Ритулечка, — красавица просто. Снегурочка. Все отморозки к тебе лепятся. Мы на диване пихаемся, а она в своем кресле захлопнулась и лежит там, как на курорте.

Рита подошла к окну и стала беспорядочно нюхать цветы в горшках.

— А я и сама хочу поменяться. Барабаш починил, пусть Дашка там и спит. Я, между прочим, с бурильщиком и словом не обмолвилась. Это ты с ним, Настенька, час обсуждала всю буровую систему Советского Союза. И не только буровую. Телом своим меня прикрыла. Проявила комсомольскую инициативу. Так что пойду я с тобой, Настя, потому что ты не размазня на сковородке, как некоторые. Я буду петь. Я в хоре пела, ясно? Вторая слева во втором ряду. «Дважды два четыре — это знают в целом мире». Ладно, я в туалет пошла.

Даша грустно гладила безжизненные головы.

— Дашка, да что ты, — продолжала гнуть свое Настя, — возьмем мешок, костюмы себе придумаем, маски карнавальные.

— В этом мешке тебя и похоронят. А с Риткой я спать не буду. У нее одна мечта: чтобы все ее волосами дышали. Разбрасает их по подушке. А что кресло? Барабаш прибил к креслу какой-то гвоздь. И ничего не изменилось, только гвоздь торчит.

Появилась Рита, тащившая под руку Жеку.

— Это чей? Весь туалет заблевал.

* * *

Настя стала подпрыгивать. Жека не растерялся, поймал Настину ногу и уже не отпускал.

— Еще один! — сказала Даша, отвернувшись. — Попрыгунья ты наша.

Настя продолжала скакать на одной ноге, поскольку вторую беспрерывно и смачно целовал Жека.

— Да? А ты вообще между двумя мужиками лежишь и, между прочим, с моим братом! Скажи спасибо, что я прыгаю, а то бы зарядила с размаху бутылкой — и весь интерьер в крови, видала шрам на руке? — вскипятилась Настя. — Миг забвения — и ты в одной палате со своим мотогонщиком. «Даша, я ползу к тебе». «И я, но у меня голова плохо держится». «А у меня нога отвалилась, катни мне свою голову, буду с ней жить».

— Ну и что? Может, мне приятнее лежать с мужиками, чем с тобой. Ты-то не знаешь, что это такое, ты их режешь стеклом, кусаешь!

Рита начала отдирать Жеку от ноги Насти:

— Нашли о чем говорить. Тут и так все в крови. Только патологоанатома не хватает. Хорошо, что этот Виктор ушел. А то бы всех нас перерезал. Ладно, вы дуры, а я при чем? Я что, рыба разделочная?

Все замолчали.

Тут заголосил Жека, обращаясь к Насте:

Оттого что есть ты на планете,
Будет мир немножечко светлей,
Радоваться жизни будут дети
И ромашки посреди полей.

— Ну да, — продолжала Рита, — и куда нам их теперь девать? Дашуль, не нравится тебе колядовать — не ходи, только Сашку убери, задвинь куда-нибудь. Я при нем не разденусь никогда, а спать хочется. И ты тоже, как ответственная за разврат, со своей ромашкой разберись, — повернулась она к Насте.

— Он от ноги не отцепляется! Да я его во второй раз в жизни вижу, он такой же мой, как и твой, — рассердилась Настя. — Кстати, где его гитара?

— Как это где? — удивилась Рита. — Виктор спер. А давай, раз дело приобретает серьезный характер, убьем Барабаша — это же он его привел. Смерть во сне — самая безболезненная.

— Бери пепельницу.

Даша не на шутку испугалась и стала Барабаша толкать.

— Сашка, они пьяные. А пьяные, знаешь, какие сильные? И дуры обе. Ты чего — совсем отрубился?

— Заходим, — командовала Настя, волоча за собой Жеку, который от поцелуев перешел к какому-то ласковому и трепетному разглядыванию ноги, словно боялся потревожить ее совершенство, но хватку не ослабил. — Я бросаюсь на него. А ты — пепельницей со всей дури. Им тут можно, значит, акробатические этюды... При ребенке. А я на секунду отвлеклась — смотрела на звезды.

— И Дашку придется убить.

— Да. А что делать? Она — свидетель. И пинается еще.

Даша спрыгнула с дивана. Вид ее был страшен, глаза не моргали, руки дрожали, на ногах висели грязные бинты.

— Я щас вас сама всех поубиваю! В мешок засуну, утоплю и скажу: на-колядовала.

Завязалась женская драка, стол свернули, посыпались банки и тарелки. Рита сидела на полу вся в шпротах, Настя в консервированных помидорах, а Даша лежала среди осколков как мертвая.

— Правда убили что ли? Это же шутка была.

— Надо скорую вызывать!

Барабаш проснулся:

— Вы что тут творите? Я спать хочу.

— Ты спать хочешь, а мы Дашку убили, — заистерила Настя.

— Да ну вас, — Барабаш повернулся к стенке и снова уснул.

* * *

Девушки кроили и примеряли костюмы, обматывались фольгой и серпантинном.

— Я буду снежинкой, — сказала Даша.

— Снежинок с такими формами тела не бывает.

— Рита, скажи ей! А то я тут опять всё переверну.

— Типичная снежинка, — подтвердила Рита, — Настя, а ты кто?

— Индианка.

— Очень логично, — не удержалась Даша, — индианка колядовать не может.

— Почему это? У всех женщин равные права.

Рита вертелась перед зеркалом:

— А я — принцесса цирка, — похвасталась она. — Я из пушки в небо уйду. Ду-ду-ду-ду. Хау ду ю ду. В небо уйду.

И тут все трое повернулись к Васе...

— А чего тут думать? Уши ему пришьем. Будет зайчиком, — сказала Даша.

— Отстань от него, — возмутилась Настя, — ты снежинка, а они не разговаривают. У него и так уши — дай бог.

— Кстати, зайчик — это очень сексуально, — заметила Рита.

В дверь застучали, поскольку звонок был сломан.

— Опять! Вася, узнай.

— Кто это? — спросил Вася, подойдя к двери.

— Это Жека! «Изгиб гитары желтой» еще с тобой обнимали. Нежно.

Настя села на диван:

— Блин, и что делать? Проспался. Зачем нам этот Жека? Он все мероприятие сорвет. Опять к ноге приклеится или еще к чему-нибудь.

— Братан, открой, — с бардовской теплотой в голосе умолял Жека. — Я за гитарой.

— А ее Виктор украл, — ответил Вася.

— Я с Жекой поговорю, — вдруг решила Рита.

Открыла дверь и вышла в коридор.

— Значит, Жека. Понравилось? Что ты сюда ходишь каждый день?

— За гитарой пришел.

— Сначала за гитарой, потом телевизор посмотреть, а потом за женским телом?

Жека испугался.

— За каким телом? Труп на меня хочешь повесить?

— Какой труп?

— Даши. Вы же ее убили. Весь ковер был в крови. И я весь в крови домой вернулся. Кто мной по коврам елозил? Я всё знаю. И еще Настя кричала: всё, убили мы ее, я слышал.

— Так. Ты, Жека, — Рита нервничала, — за гитарой иди к Виктору, пускай он тебе ее на голову оденет. А Дашку мы не убивали. Наоборот. Она теперь снежинка.

— Ясно, секта. Я же знаю: после смерти человек может стать чем угодно. Главное: сохранить сущность. Гитару вынеси. Ну или Настю позови. Вот у нее — сущность! Запах жасмина.

— Не могу я ее вынести. Ты, главное, никому не говори ни о чем. А то я и Настю убью. Надоела она мне. И подозревает что-то.

— Учти, — Жека стал очень серьезным, — ты у меня на крючке. У меня сестра в милиции работает. Могу подписать все показания. Только ради Насти буду молчать. Но если что-то с ней случится, ты запоешь другие песни.

— Эти песни нам пели в «Артеке». И про жасмин тоже. Всё, давай, — Рита захихнула Жеку в лифт и нажала на кнопку.

Когда она вернулась в квартиру, Даша и Настя крутились перед Васей:

— Ну, как тебе?

— Что?

— Что «что»? Костюмы.

— А я думал, в смысле вы — как женщины. Не знаю. А вы что, переоделись?

— Бесплезно, — Настя села на стул. — Рита, ну как?

— Отшила. Дашка, тебя убили, оказывается... Мне вот что интересно — где этот бойфренд твой недоделанный — Барабаш? Что-то его не видно нигде. Тоже в сущность превратился?

— Откуда я знаю? Я только два часа назад очнулась.

— Вы все уснули, а мы утром с ним опохмеляться пошли, — сказал Вася Кузопетрин.

— А тебе-то зачем?

— Не знаю. Он сказал, что нам опохмелиться надо.

— Слушай, Настя, — Даша вышла из образа снежинки, — твой брат вообще нормальный человек? Он если начинает говорить, то мне сразу плохо. Или я ему говорю: у женщины должны быть длинные волосы. Он: почему? Естественный ответ: чтобы в них можно было утонуть. А он молчит.

— Да ладно, — возразила Рита, — вот у тебя короткие. Может, он в тебя влюбился? Да, Вася?

— Отстаньте от него. С вами три минуты побудешь — точно идиотом станешь. Костюмы готовы — ну и вперед, — сказала Настя.

— А Вася? Берем его?

— Возьмите меня. Я маску нашел, — обрадовался Кузопетрин, — монгола.

Он надел на себя довольно устрашающую маску.

— Ну, я бы не сказала, что лицо очень изменилось, — начала Даша, и Настя тут же снова вспомнила, что в детстве представляла себе снежинки несколько иначе.

Девушки немного потолкались, Рита их разняла, и все дружно, вооружившись пустым мешком, пошли колядовать.

* * *

— Какая я свеженькая, — сказала Настя, когда они вышли, — и шапочка мне идет. А погода какая!

Действительно — шел снег, переливавшийся в свете фонарей, и сказочная церемония на его фоне не выглядела настолько уж нелепой.

— Это я снежинка, — рассердилась Даша. — А ты индианка. Тебе такая погода вообще нравиться не должна.

— А меня в детстве выкрал местный раджа. И вообще за моим ребенком лучше присматривай. А я в раю как будто. Я танцевать хочу.

— Настя, не волнуйся. Ребенок за моей талией присмагивает, — Рита как принцесса цирка была одета очень легко. — К кому первому пойдем?

Пока шло обсуждение, Вася Кузопетрин, зараженный всеобщим воодушевлением, нашел где-то выброшенную новогоднюю елку и поволок ее за собой.

— А к Барабашу, — съязвила Настя, — к почетному секс-символу мотоциклетного движения. Он уже, наверное, пять раз опохмелился. Тут дома через два. Вася, выбрось эту гадость!

Девушки весело скатились с горы, началась игра в снежки, и почему-то все снежки попадали в Кузопетрина. Он завалился вместе с мешком.

— С пустым мешком завалился! Что дальше-то будет?

* * *

Барабаш с уже настолько обвязанной-перевязанной головой, что его было невозможно узнать, открыл дверь и заорал. Небольшого роста ушастый Вася в маске монгола с гостеприимно открытым мешком представлял собой зрелище, требующее железных нервов. К тому же за его спиной стояла Даша, чье недавнее рукоприкладство произвело на Сашу тяжелое и памятное впечатление.

— У меня мальчишки нет, у тебя девчонки нет, — запела Рита в костюме принцессы цирка.

— Принял уже? — поинтересовалась Даша. — Сейчас выясним.

Делегация невозмутимо прошла мимо Барабаша на кухню, только Настя шепнула Рите: «Это что за репертуар, мы же колядуем».

— Так я и знала, — Даша горестно села за стол, рядом с бутылкой водки и одинокой рюмкой.

— Ты что, — нашлась Настя, — это же он по тебе тоскует. Места себе не может найти. Вот и пьет что попало.

— Мальчик мой, мой малыш, в этот час ты не спишь, знаю я, что с тобой, — подключилась Рита.

— Да перестань уже, — махнула рукой Настя. — А знаешь, Барабаш, как Дашка тебя любит? Лично твою кровь с ковра оттирала и плакала. И всю квартиру убрала. Обещала расходы за посуду возместить. А сама всё: «Где Саша? Где этот рыцарь? Может, обидела я его чем?» Да, била тебя. Потому что понравиться хотела. Защищала от Виктора. Своим нежным девичьим телом. Мы, женщины, знаешь, какие? Мы же очень сложные. У нас в голове все переплетается, и бьешь, потому что любишь, и защищаешь, потому что любишь. Попробуй — совмести у себя в голове! Вот видишь? А у нас так.

Барабаш достал рюмки.

— Так выходит, она за меня заступилась? — он чуть не заплакал. — А я проснулся, смотрю, ты, Настюха, отъехала. Сидишь разговариваешь с кем-то. Синюшкина Дашку прикрыла, а сверху обе — все в осколках, в салате. Я же на Жеку подумал. А он за стол перевернутый держится. Думаю, проспится — убью. Малого разбудил, пошли с ним, посидели за жизнь. А сейчас одиночество навалилось на плечи. Только вы чего так ради меня разделись? Да не надо, вы и так... Имено в виду, не каждому такая красавица достанется. А жизнь короткая. Мне один рокер сказал: где ждет тебя следующий поворот, никогда не знаешь. Ну, в общем, это тост был.

Все, кроме Васи, выпили.

— На дальней станции трава, трава по пояс, как хорошо с травой наедине, — продолжала гнуть свое Рита.

— А разделись... Для тебя, конечно, — сказала Даша.

— Мы колядуем, — вставил Вася Кузопетрин, — вон какой мешок.

Когда они вышли от Барабаша, Даша стала с этим мешком гоняться за Васей. «Меня отмазали, а ты: “Колядуем”. Сашка думал, я для него снежинкой разделась! Я сама так стала думать. Била его вчера как хотела. А теперь... Нет, я поняла... Ты гном — ты гном страшный! Мешком прихлопну тебя! Я тебя боюсь!»

В это время Настя была увлечена разговором с Маргаритой.

— А мне Жека нравится, — сказала она.

— Который на унитазе спал?

— А что такого? Вот вы мне: ты все девственницей прикидываешься. А может, я не прикидываюсь. Еще я буду разбираться, кто на ком спал... Я, и сама знаешь, много где спала, и по ручонкам по их поганым лупила. А блевандос, вообще, — хороший показатель.

— Это еще почему?

— Дура ты! Это значит, что непьющий. Что ты всё из себя строишь, — продолжала Настя, — ты для них игрушка, а я — земная женщина. Тоже мне нашлась многоопытная. Скучные вы обе. Ну, вот Дашка выйдет за Барабаша, будут ходить в обмотках, ты — за кого-нибудь, кто тебя отсюда увезет в большой мир — на станцию Анзеби. Очень увлекательно.

— А ты за кого?

— Не знаю. Зато я тебе обещаю, что вы на свадьбе рыдать будете от зависти.

Они углубились в тот район, где фонари почти не горели и дома были деревянными двухэтажками. Заходили к родственникам и друзьям. Мешок постепенно наполнялся, и отстающий от делегации Вася Кузопетрин уже очень хотел вернуться домой. Девушки в процессе затянувшегося похода тут и там выпивали, а он — нет, и разница в восприятии реальности между ними стремительно разрасталась.

Некоторые хозяева похвалили костюмы. Особенно костюм индианки, потому что каждый видел в нем что-то свое. Все что угодно, кроме индианки.

* * *

— Что-то я еду куда-то, — сказала Настя, остановившись под редким в этих местах работающим фонарем.

Все уже слабо представляли, где они находятся.

— А мне что-то надо куда-то выйти, — сказала Даша и полезла по сугробам в сторону жидкой рощицы.

— Васенька, тебе не тяжело? — спросила Настя и тоже куда-то поплелась.

— А где камень лежит, ведьма-речка бежит, — никак не могла уgomониться Рита.

Навстречу ей по еле освещенной улице двигалась мужская фигура. На человеке все болталось: и куртка, и шарф, и шапка. Он подошел к Рите и стал упорно ее рассматривать.

— Там где речка бежит, этот камень лежит, — мужественно продолжала Рита.

— Я уже понял. Где Настя? Я, представь, весь день хожу по городу, я же оплакиваю ее. Она же воздушное создание. Она дитя природы:

Звонко журчащих ручьев,
Птиц, за границу спешащих,
В мае цветущих садов,
Теплых дождей моросящих... —

и она же убийца, — горестно продолжал Жека (это был он). — Я всё возьму на себя. Но вот одно не дает покоя — Дашу жалко. А Барабаш знает? Ничего он не знает. Он под поезд не ляжет, как я ради Насти.

Жека лег на дорогу и притворился мертвым. Из-за дерева показалась Даша со словами:

— А там не так уж и холодно.

Жека вскочил и стремительно умчался назад по улице. Кроме Риты, никто ничего не понял.

— А нам пора домой, — сказала Рита, — вон как Васю заносит.

Именно в этот момент Васю Кузопетрина и занесло. Мешок, набитый конфетами и пирожками, потянул его за собой, Вася скатился с горы и впридачу потерял маску монгола. Она так и осталась лежать где-то в сугробе, засыпаемая снегом.

* * *

— Девушка, а ведь вы наверняка курящая?

— А вы наверняка с девушками знакомиться не умеете, — ответила Рита.

— Есть закон такой: больше трех не собираться, — подтвердила Настя.

— Я не читал. Читать-то я не умею. Ухо вместе с сережкой оторвать могу.

— А это не моя сережка.

— А ухо чье?

— Мы не одни, — вступилась Даша, — мы с мужиками.

— А! Это вы для них разделись. Я подумал, для нас. Стасик, Валера, берите вот эту, тебе — красивая, а моя — в чулках.

Вася Кузопетрин, не оставляя мешок, как партизан, стиснув зубы, полз наверх. Картина, представшая его глазам, была ужасна: Настю повалили прямо на дороге, Риту утащили в тот самый жидкий лесок, а Даша из последних сил в одиночку продолжала сражаться с двумя переростками, уже оборвавшими с нее все опознавательные признаки снежинки.

— А-а-а-на тебе со всей силы по башке! — Вася разбежался и незатейливо ударил мешком по шапке одного из налетчиков. На Васю тут же навалился второй. Он тяжело дышал, и Вася даже как-то не ощущал его ударов. Нужно было помочь Насте. «Вот вечно с ней так», — подумал он и ненадолго потерял сознание.

Почти тут же очнувшись, он увидел рядом мешок и Жеку с Дашей, которые оттащили от Насты ее налетчика и скатывали его сейчас с горы — туда, где снег меланхолично засыпал ненайденную маску монгола. Дашины переростки разбежались.

Настя кинулась к Васе:

— Он тебя бил? Сломал что-нибудь? Где болит?

Вася Кузопетрин заревел.

Из-за деревьев вышла Рита. Со всеми, нисколько не пострадавшими, атрибутами принцессы цирка.

— Я же говорила: вот в чем ваша проблема: вы не умеете разговаривать. Пара слов — и всё. Эти гопники — ручные котятка. Тем более Виктора я уже вчера раскусила. Теперь даже гитару обещал вернуть. Сам говорит: до кучи ее взял.

— То есть он так тебя и не коснулся? — спросила Даша.

— Нет, конечно коснулся. Это же невозможно контролировать! Просто договорились, где встречаемся, обменялись телефонами.

— А у нас Вася — герой. Мешком — по башке. Меня спас. А я за Жекой побежала, догнала, — хвасталась Даша.

Настя и Жека сидели на дороге, обнявшись.

Маргарита погрузила на Васю мешок:

— Наконец-то и сестру твою пристроили. А то она выпендривается всё: на свадьбе обзавидуемся... Еще неизвестно — кто кому.

Алексей ИВАНТЕР

«И КИСЛЫЙ ХЛЕБ, И ВЯЗКОЕ ПИТЬЕ...»

* * *

Геннадью Русакову

И я слетел с тарковского гнезда, и мне судьба першила кочевая, товарные свистели поезда, и слаще правды речь была живая. Я не ступал по выжженной стерне, держа штандарт затекшею десницей, не звезды путь указывали мне, не мчались вслед всполохнутые птицы, но за барачной хлипкою стеной общаги вертолетного завода делили мы с болеющей женой с соседями полсотки огорода, я сторожил писательский подъезд, я окна мыл, уран искал в распадках, канавы рыл, бежал из этих мест, хранил стихи в залистанных тетрадках. Растила хлеб великая страна, в вагонах пела, щерилась в колючке, и древние явила письма шабашнику, мальчишке, недоучке! И кислый хлеб, и вязкое питье, и дух сивушный в мутном самогоне... И глухо сердце стукнуло мое, как товарняк на снежном перегоне.

* * *

Не разобрать семейного архива. Не то чтоб пачки были велики — да вот они — надписанные криво, в них лица, как над морем огоньки. В галантерее куплена тесемка, над булочной на верхнем этаже, где ножницы, резинки и кленка, и мелочь, позабытая уже. Их письма длань незримая листает, неслышный голос шепчет их слова, а снег идет, и дом мой заметает, и подступает к выселкам Москва. И, как пенек от ивы, росшей криво, себе судьбу найдя не по плечу, и сам — я часть семейного архива, а все никак в тесемки не хочу.

* * *

Говорила мне мама, ладони сложа, как снега наступали, над домом пурга, говорил мне отец, поправляя топор, как зимой на дрова попилили забор. Говорила мне мама, как мерзли в Тавде, говорил мне отец про окопы в воде, а мне мама — как шли по этапу врачи, а отец — чего дома услышал — молчи. Керосин берегли и стирали в пруду, наше все я в далеком усвоил году, поглотило его и вернуло жерло, как озимые, словом под снегом взошло. А за домом шуга, в Салтыковке пурга, на могиле отца снег, и вся недолга. То водой над Тавдой нас кропит, то бедой. И ребенок мой старший не чтоб молодой.

* * *

По дорогам высохшим и мокрым, по стерне и снежной целине, верховыми — на груди с биноклем, пешими — с винтовкой на спине, с тазом и стиральной доскою, с Пушкиным, свекольною ботвой, лесом и станицею донскою, Питером, Тавдою и Москвой, по болотам, наледям, проселкам, Невскому, Ильинке и тайге, Павлодару, Минску, Новосёлкам — в сапогах чужих не по ноге, семьями, вдвоем, поодиночке... С метками посконное белье... Вы входили в жизнь мою и в строчки, как в свое законное жилье. Правдолюбцы. Вруши записные. Русские обжившие края. Милые. Далекые. Родные. Павшая фамилия моя!

* * *

Когда меня в психушке били не по злобе, но от души (так алкаши с ума сходили в психиатрической тиши, я был приبلуда и обуза, бурчатель непонятных фраз) и гимн Советского Союза мне пел печальный пидарас, уже заколотый до дури, но исцеленный не вполне, и взгляд его по арматуре в окне блуждал и по мошне, в ошметках синего халата я мог ли думать в этот миг, что все сполна вернет Эллада, слегка знакомая из книг? Когда судьба меня мотала по Верхоянскому хребту, и горло медью обрастало, а сердце плакало Христу, я мог ли верить в том бараке, в той бесприютности, скажи, где два бича в сивушной драке друг в друга всунули ножи, и был поставлен отвечать я за производство двух гробов, и в непорочное зачатье, и в умножение хлебов? Когда я чуждые обычи в себе прочерчивал углем и пахли лавки кожей бычьей и пережженным миндалем, торговлю тягостней обмана я постигал на раз и два, но с древней хитростью османа душой не чувствовал родства, я жил без веры и уклада, ногой в тюрьме, ногой в дерьме... Пока ждала меня Эллада вечерней службой на холме. И над холмом, и выше, выше — над пеньем крепких стариков... Где что-то русское я слышу, иных не помня языков...

* * *

Некому жить тут, и некому плакать,
церковь гниет на вершине горы.
Будешь, как утка осенняя, крикать,
встанет деревня когда в топоры.
Пела она и пила, но не встала,
не поднялась с заскорузлых колен —
ноги ее оковали металлом,
рот ее выжжен, а взор опален.
Только и слышно, что мага и мыка,
змий огнедышащий реет вблизи,
руки скрестивши, лежит, безъязыка,
в лед она вмерзла, утопла в грязи.
Ангел стоит у железной кровати,
ночью удавят ее паханы.
Вечная жено, стожильная мати!
Крест положи перед смертью за ны.

* * *

Солнце оловянное восходит, песню деревянную поет,
жизнь моя от пристани отходит, длинный, три коротких
подает. Там, где воблу к пиву подавали, на закваске чер-
ный хлеб пекли — так друзья сигналы подавали, распла-
тились, встали и ушли.

* * *

Старуху с банками в кошелках, дедка с ведерком чеснока
и парня в лагерных наколках несет великая река. Дымит
паром, дедок шуткует, мотает бакены волной, КамАЗ на
пристани паркуют напротив бочки нефтяной. И пахнет
дымом и соляжкой, и рыбу чистит на лотке по виду ста-
рая доярка в посадском хлопковом платке.
... На черном фоне или белом в любом проведенном краю
углем кузнецким, курским мелом рисую родину мою.
... но у дощатого причала в краю мочала и кайла — она
сама меня стачала, сковала, в воске отлила. Причал. Тут
пьют и расстаются, сидят до вязкой темноты...
И все никак не удаются неуловимые черты.



Сергей КРУЧИНИН

ПАТЕРИК ГОВОРЯЩЕГО СКВОРЦА*

Документальная повесть

Глава двенадцатая. Боже, милостив буди мне, грешному

Отправляясь в Воронеж, я и предположить не мог, что обучение мое начнется на кукурузном поле. Все училище на месяц с лишним отправили в колхоз на уборку кукурузы — это был пик известной кампании Хрущева. На тучной воронежской почве стеной стояли мощные стебли «царицы полей», выше наших голов золотились вызревшие початки, снизу обернутые волосками подсыхших пестиков и пергаментом пожухлых листьев.

— Восковая спелость, — доверительно сообщил сопровождавший нас колхозный бригадир и ловко, с хрустом отломил крупный початок. — Вот так и будете делать, — поучал он, — складывать в мешки и относить к грузовикам.

Поначалу сламывать кукурузные головы одним движением показалось нам занятным, и мы организовали соревнование, прежде из озорства, потом уже взыграли амбиции: мы начали конкурировать всерьез, даже выпускали стахановский листок. После работы отмывались в узкой, по-осеннему остывающей речушке под деревней: почему-то баню для нас так и не организовали, но кормили по-деревенски обильно и вкусно.

Развлечений почти не было — так сильно уставали. По рукам ходили лишь две книги, которые читали вслух, собираясь человек по пять: «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и «Век нейлона» Эльзы Триоле. Раза два или три в клубе устраивали танцы. Там я и познакомился с будущей своей женой Алей, Альбиной Никандровной Слепковой.

После провинциальной Калуги Воронеж, добротной отстроенный после войны, показался мне настоящей музыкальной столицей. Здесь был красивый оперный театр, филармония с большим симфоническим оркестром и множеством известных гастролеров. В училище для встреч со студентами приглашали многих выдающихся музыкантов. Мы слушали молодого пианиста Дмитрия Башкирова, виолончелистов — Хомицера, Ростроповича. Сейчас наше воронежское училище носит имя Ростроповичей, поскольку все три поколения известных музыкантов имели непосредственное отношение к этому городу: дед, Витольд Ганнибалович Ростропович, вел в училище класс форте-

* Окончание. Начало см.: «Сибирские огни», 2014, № 9, № 10.

пиано; тесть его, Герман Федорович Пуле, входил в дирекцию воронежского отделения Императорского русского музыкального общества и играл на органе в кирхе, где и умер во время исполнения «Мессь»; сын Витольда Ганнибаловича, Леопольд, отец знаменитого Мстислава Ростроповича, первые уроки игры на виолончели получил в Воронеже, продолжив обучение в Ленинградской консерватории. Мстислав Ростропович рассказывал нам, что в город его тянет память о предках и теплая атмосфера старинного города, которой он часто не находит в столице.

В опере и филармонии мы пропадали чуть не каждый вечер, поскольку пускали нас по студенческим билетам. Чаще всего с Алей мы бывали в филармонии.

Как-то, проходя мимо редакции областной газеты «Коммуна», мне пришла в голову мысль начать писать рецензии на наиболее интересные концерты. Долго не раздумывая, я зашел в редакцию, отыскал отдел науки и культуры и предложил свои услуги. Редакторы, молодой человек и девушка, посмотрели на меня оценивающе и сказали: «Приносите, посмотрим». Хлеб начинающего рецензента я предложил разделить со мной Але. Поскольку она училась на «теоретическом», ее знания должны были облегчать мое понимание формы, гармонии и истории музыки. Я же считал себя знатоком инструментализма, штрихов и особых приемов игры на скрипке.

Первой жертвой нашего критического запала стал замечательный скрипач Рафаил Соболевский. Сидя на концерте, мы не наслаждались музыкой, а выискивали «блех» в игре музыканта и все заносили в блокнотики. Ваять рецензию мы отправились домой к Але. Анна Пертовна, Алина мама, ощущая нашу чрезвычайную деловитость, быстро накормила нас и удалилась к себе. Я положил перед собою чистый лист бумаги, достал авторучку. Страх перед началом работы сковал нас, пришлось листать подшивки «Советской музыки». С трудом выдавили из себя первый абзац, потом было не легче. К последнему трамваю мы все-таки наваяли что-то вменяемое. Я схватил черновик и уехал в совершенно пустом трамвае на квартиру, которую снимал. Утром переписал текст начисто и отнес в редакцию. «Оставьте», — равнодушно сказала редакторша и показала на стол с беспорядочно набросанными бумагами.

В двенадцать часов следующего дня я подошел к киоску и купил газету, с трепетом развернул ее; на четвертой странице красовалось: «Концерт Рафаила Соболевского», а в самом конце семидесятистрочной заметки — «С. Кручинин и А. Слепкова». Я был потрясен, купил еще две газеты, одну для Али, другую для своей мамы, целый день ходил обалдевший: в тексте не было изменено ни слова, ни буквы, ни запятой.

Недели через две мы написали еще одну рецензию. Через месяц получили гонорар за первую статью — семь рублей, по десять копеек за строчку. Как распорядились свалившимися на нас деньжищами, не помню. Напротив училища продавали свежий сок в конусах и вкусные пирожки, должно быть, прокутили там.

В училище публикации прошли незамеченными, хотя, может быть, нас считали выскочками, потому молчали, лишь преподаватель музыкальной литературы Лариса Николаевна Марголина с лукавой улыбкой одобрила наш с Алей творческий дуэт и назвала первый опыт удачным. Зато директор филармонии, когда приезжали на гастроли скрипачи или виолончелисты, просил меня переворачивать ноты пианистам-аккомпаниаторам.

Когда в Воронеже концертировал Валерий Климов, победитель Первого международного конкурса Чайковского, я переворачивал ноты великому пианисту Владимиру Ямпольскому, прежде работавшему с легендарным Давидом Ойстрахом. За кулисами он много балагурил и среди прочих рассказал одну смешную и поучительную историю. В молодости он работал в оперетте. Однажды заболел первый кларнетист, срочно на его место пригласили молодого

парня — студента консерватории. Требовалось сыграть очень сложное соло почти без подготовки, с листа. Прodelал он это блестяще. В антракте его окружили восхищенные музыканты, горячо поздравляли; кто-то без всякой задней мысли указал на заковыристый пассаж, с которым не справлялся предыдущий исполнитель. С тех самых пор наш герой ни единого разу не сыграл то злополучное место без помарки. Мораль сей басни: не слушай ни укоров, ни похвал, делай свое дело и пропускай мимо ушей чужое мнение. Играй свободно, будто пьешь чистую воду. Именно такой я ощущал игру Владимира Ямпольского, переворачивая ему ноты. В быстрых темпах мне казалось, что под его пальцами клавиши дымятся — еще немного, и я начну испаряться...

— Верги, друже! — услышал я голос Ямпольского, судорожно перевернул страницу и покрылся потом. Больше я так не ошибался.

С Климовым у Ямпольского был такой удивительный тандем, что могло показаться — инструменты плотно свинчены и играет на них один человек. Понятно, что после такого концерта наша с Алей рецензия прошла в газете на ура. Но гонорар оставался стандартным — семь рублей...

Слово за словом, строчка за строчкой — и мы поженились; родилась у нас дочь, которую мы назвали Анной.

Родилась Анютка в феврале, двадцать шестого. В роддоме был деревянный барьер, выкрашенный белой краской и отделявший приемный покой от посетителей, и широченная зеленая доска-прилавок, стопорившая дверцу. Вот на этот прилавок и выложили мне кулечек — нечто живое, завернутое в конвертик одеяла, как в магазине.

— Принимайте, — сказала мне медсестра. — Поздравляем!

Из-за ее широченной фигуры в белом халате светились глаза Али.

В такси было холодно, я еле сдерживал себя, чтобы не приоткрыть конверт и всмотреться в лицо своей собственной дочери. В небольшом деревянном доме, где жили Анна Петровна с сыном Анатолием и дочерью Алей, а теперь поселился я, было жарко натоплено. Я был в нетерпении: все ли на месте у ребенка, на кого похожа... Малютку осторожно развернули; она спала — красноватая кожица, завиток на голове, большой выпуклый пупок, клеенчатый номерок на пухленькой кукольной ручке, аккуратные ушки...

— Красавица! — восторженно прошептала бабушка Анна Петровна.

— Мама, на тебя похожа! — в два голоса изрекли Толя и Аля.

Я промолчал: лицом чадо было — точно моя мама.

На личике у крохи появилась странная гримаса, она что-то непонятное проделала своими бусинками-губками. «Пора кормить», — сказала Аля. Нас с Толей удалили, а счастливая бабушка осталась наблюдать сакральное действо и давать советы.

Первое время мне позволялось принимать участие только в купаниях ребенка, и то — с большими предосторожностями. Гулять выносили на веранду — зима была суровой.

После колхоза, как только я освоил альтовый ключ и гриф нового для меня инструмента, новый преподаватель Митрофан Филиппович Крячко предложил мне поработать в альтовой группе симфонического оркестра, которую возглавлял. Оркестрового опыта у меня почти не было. В Калуге существовал полубюджетный оркестр, в котором мы больше полугода терзали Первый фортепианный концерт Чайковского под руководством директора училища Петра Корнеевича с солисткой Марией Владимировной Юзефович, бывшей тогда завучем.

Посадили меня за один пульт с пожилым опытным альтистом, чье имя и фамилию я не помню, но помню кличку: в оркестре его тайно называли Молчащим Черепом. Был он удручающе немногословен, крупная голова вы-

брита до блеска. *Выигрывал* он все, даже самые сложные пассажи, но почему-то очень тихо. Главному дирижеру Гургену Карапетяну заставить играть его громче, где требовалось «форте», было большой удачей. При всем немногословии он любил шутить. Шутки было две: когда заканчивалось произведение, он говорил: «Хороший вальсок», — и смотрел на меня, ожидая улыбки; другой шуткой одаривал меня по окончании концерта: «Отлабали — и баста».

Чуть поднаторев, я перешел в оперу, где платили чуть больше, а главным дирижером был Анатолий Людмилин — отец известного новосибирского дирижера Алексея Людмилина. Интерпретация «Пиковой дамы» Анатолия Людмилина, которую я прошел с ним от первой до последней ноты, долго для меня была образцом дирижерского мастерства и бескорыстной самоотдачи.

После окончания училища нас с Алей ждало всесоюзное распределение. Мы выбрали Благовещенск-на-Амуре. Жаждали самостоятельности и романтики. Ведь чем дальше за Урал, тем лучше!

Первым в Благовещенск поехал я, чтобы обустроить быт. Потом приехала Аля с шестимесячной Анюткой. До Благовещенска я добирался семеро суток на поезде «Москва — Пекин» — в купе с веселым майором и его семьей, передислоцирующимися во Владивосток. Благовещенск только что пережил очередное наводнение. В городе было жарко — казалось, что дышишь странными болотистыми испарениями. На заборах сушились одеяла, подгнившие матрасы и разноцветные подушки, у домов сидели пожилые женщины и курили газетные самокрутки. Пожалуй, я никогда не видел столько пожилых курящих женщин... Но Амур был великолепен! Малейшее облачко или дуновение ветра фантастически меняли его окраску. Стоя на берегу, я пытался пересчитать эти оттенки, но даже не смог придумать им имена — одним словом, импрессионизм. На противоположной стороне Амура виднелись китайские хижины и два или три каменных строения с высокой кирпичной трубой — город Хайхэ.

Я выпросил хороший светлый номер в гостинице «Амур» и отыскал няньку для Анютки — восьмидесятилетнюю женщину с ясным умом и веселым, несколько бесшабашным нравом. В гражданскую войну колчаковцы на ее глазах убили сына и мужа. Она выжила. Звали ее тетя Ариша, мы с Алей между собой величали ее Родионовной. Уходя, она всегда говорила: «Пойду к Ленину». Жила она в частном доме рядом с речным училищем — пожалуй, самым заметным зданием во всем Благовещенске, до революции здесь располагался магазин известного на всем Дальнем Востоке купца Чурина. В скверике перед училищем стоял огромный постамент. Когда-то, до разоблачения культа личности, на нем возвышалась величественная фигура Сталина, но после двадцать второго съезда КПСС памятник поспешно убрали и водрузили фигурку Ленина, метр с кепкой, да и ту он держал в руке. Прохожие тихо и нервно смеялись, а Ильич стоял твердо, указывая кепкой за Амур. Тетя Ариша его жалела:

— Мало пожил. — Иногда добавляла: — Мао Цзэдун хуже Сталина, — пути ее мысли для нас были неисповедимы, в оценках общественно-политической жизни мы были чрезвычайно наивны.

По утрам тетя Ариша выстаивала длиннющие очереди за хлебом, приносила нам и говорила:

— Вот вам оржаной и ситный от кукурузника.

Шел шестьдесят третий год, начинались перебои с хлебом, Хрущеву оставалось править страной чуть больше года.

По приезду в Благовещенск мы почти сразу же попали в круг музыкантов, выпускников Гнесинского института, отправленных поднимать музыкальный уровень только что организованного училища. Они были дружны и великолепно образованы.

Помимо музыкальной школы, я начал работать иллюстратором в училище — в классе фортепианного ансамбля Валерия Самолетова. За несколько меся-

цев я переиграл огромное количество сонат и отдельных пьес — все это шло в мою репертуарную копилку. Первый опыт работы на телевидении я получил также в Благовещенске.

Года через три все гнесинцы вернулись в Москву. Самолетов стал деканом фортепианного факультета института, некоторое время он гастролировал с квинтетом Бородина; дирижер Юра Ухов вскоре был назначен главным дирижером Юрловской капеллы; теоретик и музыковед Алла Григорьева успешно работала в музыкальной редакции Всесоюзного радио; баянист Валера Гусakov стал прекрасным педагогом и методистом в Гнесинском училище, создал известный ансамбль баянистов и аккордионистов; композитор и теоретик Илья Катаев, сын известного писателя Евгения Петрова, стал кинокомпозитором: его песню «Стою на полустаночке» пела Валентина Толкунова.

Однажды, обсуждая события в Китае, мы засиделись за полночь, выпивали. Илья ввязался на спор в историю, которая могла закончиться весьма драматически... Отношения с Китаем к тому времени сильно обострились. Вдоль Амура по льду была натянута сигнальная пограничная проволока. Илья, по условиям спора, должен был дойти до нее, плюнуть в сторону Поднебесной и вернуться. Успел дойти или нет — утонуло в дальнейших событиях. Ангелы-хранители, наши пограничники, подхватили чудака под белы ручки и три дня держали на гауптвахте. В училище сходили с ума, писали письма в администрацию и командованию, но там были неумолимы. На четвертый день Илью выпустили со словами: «Пошутили — и хватит». Над его карьерой долго висела эта глупая история...

Среди гнесинцев был замечательный пианист Олег Кульков, к сожалению, очень рано умерший. Узнав мою фамилию, он спросил, не родственник ли я Ивану Михайловичу Кручинину, работающему в Министерстве соцобеспечения? «Это мой отец», — сказал я. Олег рассказал, как мой отец помог его отцу. Тот вернулся с войны инвалидом — и какие-то его документы и справки были то ли неверно оформлены, то ли утеряны. Положение было очень трудным, порой казалось безнадежным. Но мой отец каким-то образом помог восстановить необходимые свидетельства и документы, и отец Олега получил положенные льготы и пенсию.

С Олегом Кульковым мы собирались сыграть трио Рахманинова, я сделал переложение виолончельной партии, пригласили скрипачку Галю Лонцакову, работавшую со мной в школе, но дальше двух репетиций дело не пошло: у каждого было много работы, а я еще и готовился поступать в консерваторию.

Гнесинцы в Благовещенске представляли собою некое просветительское музыкальное общество. Мы с Альбиной переняли от них интерес к современной музыке, которую они всячески пропагандировали в среде учеников и любителей музыки, устраивая благотворительные концерты.

Через год я покинул Благовещенск и поступил в новосибирскую консерваторию в класс заслуженного артиста Армянской ССР, доцента Аршалуйса Мартиросовича Азатяна, и почти одновременно устроился преподавателем в музыкальную школу Академгородка, организованную незадолго до этого комитетом профсоюзов, что давало некоторые материальные преимущества перед школами управления культуры. Впоследствии, став ее директором, я смог организовать хор, детскую оперу и построить миниатюрный концертный зал на первом этаже, с хорошим роялем.

Первый семестр я прожил в одноэтажном деревянном общежитии во дворе консерватории. «Деревяшка», как называли его студенты. Охраняла это веселое здание маленькая, с беспорядочными белыми и черными пятнами, собачка Гузья. По легенде, на боевой пост привел ее наш замечательный проректор Владимир Михайлович Гузий. Большой орган зал консерватории, надстроенный четвертый этаж и пятиэтажное общежитие во дворе — произ-

водные энергии этого неукротимого человека. А еще он с успехом вел в консерватории класс тромбона.

В феврале в Новосибирск должна была переехать Аля с дочкой, и я метался в поисках жилья. В Благовещенске мы оставили квартиру, полученную от управления культуры — это была плата за наш отъезд. И тут мне невероятно повезло. Ко мне в класс привели очень способного мальчика Сашу Фета, он был непосредственным и малоуправляемым кудрявым чадом трех с половиной лет. Его мама Людмила Андреевна уговорила меня заниматься с Сашей у них дома. Его папа, Абрам Ильич Фет, был известным математиком, человеком широко образованным, владеющим многими европейскими языками. В своей замечательной библиотеке он устроил мне испытание: заговорил о классической и современной музыке, о живописи. Я, конечно, сознавал, что это не простая светская беседа, а тест — не столько на знания, сколько на то, чем я дышу. Я не стал поддаваться на его провокационные выпады относительно современной музыки и говорил то, что думал сам. Когда Фет узнал, что у меня проблемы с жильем, без колебаний предложил обосноваться у них до того времени, когда получим собственную квартиру.

Время от времени в доме Фетов устраивались интеллектуальные посиделки с чаем. Нас всегда приглашали на них. Здесь бывали многие ученые, посещавшие Академгородок, и местные интеллектуалы-острословы, к которым Абрам Ильич был особенно расположен. Бывал здесь легендарный физик Юрий Борисович Румер, начавший свою карьеру у Макса Борна в Германии. В тридцать втором он вернулся в СССР, не миновав лагерей, работал в «шарашке», после реабилитации бедствовал, затем осел в Академгородке. Раза два у Фетов появлялась Щекин-Кротова — вдова выдающегося художника Роберта Фалька. В Академгородок она привозила огромную часть его работ, бережно хранившихся в ее маленькой квартирке. Там они занимали почти всю площадь. Выставка вызвала неприятие в партийных кругах, но городковцы ее отстояли. В доме Фета она играла и пела свои собственные произведения в стиле старых русских романсов.

Как-то Румер пригласил нас с Алей к себе домой, чтобы мы послушали «Трехгрошовую оперу» Курта Вайля, немецкого композитора. После прихода к власти фашисты уничтожили практически все пластинки с этой оперой, у Юрия Борисовича осталась одна из немногих уцелевших.

Появлялся у Фетов и известный историк Николай Николаевич Покровский — человек с весьма нелегкой политической судьбой, впоследствии академик РАН. Он и уговорил Алю отправиться в экспедицию по скитам, сохранившимся в малодоступных местах Восточной Сибири и Алтая, собирать и расшифровывать старообрядческие музыкальные рукописи, выписанные так называемыми *крюками*.

Я провожал Алю в городской аэропорт и нес рюкзак, с которым она должна была передвигаться по тайге: староверческие скиты прятались вдалеке от дорог. Как она сможет преодолеть предстоящий путь с такой невероятной тяжестью: в рюкзаке магнитофон с запасом магнитной ленты и элементами питания, консервы, несколько бутылок водки... С прошлых экспедиций выработались методики общения со старообрядцами. Они с трудом сходились с людьми из другого мира. Любая дипломатия мало помогала, требовалось показать свои знания истории старообрядчества. Особо сложно было уговорить их пять под запись на магнитофон, и водка тут, случалось, играла решающую роль.

«Октоихи», «киноварные пометы», «крюки» — целый словарь незнакомых терминов, которыми осыпала меня Аля по возвращении. И бесконечные рулоны записей. Поначалу знаменный распев показался мне ужасным занудством, но Аля с таким восторгом рассказывала обо всем и обращала мое внимание на какие-то особые повороты в мелодике, пропевании слов и темпоритме, что мне услышанное стало даже нравиться. Но я все же был при-

верженцем европейской инструментальной музыки. Недаром мифический Козьма Прутков сказал: «Специалист подобен флюсу».

Вначале я довольно активно помогал Але раскладывать на полу таблицы с крюками, перематывать пленки, прослушивать записи, понимая, что область эта мало разработана и таит в себе огромные перспективы. Но постепенно отдалился от старообрядческих вопросов, увлеченный своими делами. Через год Аля перевелась в ленинградскую консерваторию, где работал академик Максим Викторович Бражников — крупный медиевист, специалист по знаменному распеву. Некоторые его расшифровки, переведенные в современную систему звукозаписи, исполняла капелла имени Юрлова. Еще до перевода в Ленинградскую консерваторию в наших отношениях стали звучать нотки соревновательности. Помню, Аля как-то решительно «монополизировала» дружбу со Щекин-Кротовой, оттесняя меня от посещения коллекции Фалька, которую мне очень хотелось увидеть. Потом был злой спор о содержании статьи в историческом журнале, потом что-то еще... Думаю, в результате нас с Алей развела не обычная бытовуха вроде банальной ревности, но разница в понимании своих профессиональных устремлений.

Анютку увезли к Алиным родителям, я остался один под самый Новый год. В углу уже стояла елка, источавшая грустный запах хвои. Я не стал ее наряжать, на вершинку накинул лишь дурацкую улыбающуюся маску с длинным носом. Так и встретил праздник. Одному в пустой квартире жить было тяжело. Я подходил к зеркалу и пытался всмотреться в себя глазами Али, понять смысл происшедшего, путался в мыслях. В эти дни я очень много читал поэтов Серебряного века. Их строчки чудодейственно вплетались в мои настроения, в них мне являлся великий духовный смысл.

Потом у меня стали появляться гости. Сначала поселился консерваторский товарищ пианист Марк Шавинер со своей беременной женой Наташей, тоже пианисткой. Когда они получили квартиру, въехал оркестровый друг альтист Лев Крокушанский с женой Ольгой. Это были дни, овеянные особой дружбой, длящейся по сей день.

Ну а я, конечно, жаждал встретить женщину, которая бы могла заменить Алю — умную, увлеченную музыкой, с характером, к которому я уже успел привыкнуть.

Однажды в компании меня познакомили с молодой женщиной, работавшей в группе известного ученого-генетика Раисы Львовны Берг. Звали ее Света, Светлана Никодимовна Кутина. Это был семьдесят второй год. Я уже работал в симфоническом оркестре филармонии и жил в городе, как и родители Светы, у которых она постоянно бывала. Их семья была довольно музыкальной: отец Никодим Васильевич неплохо играл на баяне и легко мог сыграть любую песню, мама Валентина Павловна хорошо пела и участвовала в самодеятельности. Света несколько лет училась играть на рояле и не бросила его, как многие, а продолжала с удовольствием заниматься и легко подбирала на слух любые мелодии, на ходу довольно ловко гармонизуя их.

Именно в то время я увлекся телевидением и начал понемногу писать. Работа в оркестре казалась мне уже не столь увлекательной. Первую свою повесть я отверг, как только прочитал целиком, и не стал никому показывать, но не сжег и не выбросил, запрятав глубоко в заветный чемодан. Вторую повесть, «Несчастный Манин», я писал на глазах у Светы. К моей затее она отнеслась недоверчиво, со скрытым скепсисом. Это меня сильно раззадоривало, особенно задевали замечания об излишних красавицах. По настоянию знакомой поэтессы Галины Антоновны Шпак повесть попала на областной семинар Союза писателей, где получила серьезную поддержку и одобрение за язык, композицию и театральность. Только известный сибирский писатель Владимир Сапожников поругал за пессимизм моего главного героя, — своего «Манина», кстати, я писал в противовес понравившейся мне повести Сапож-

никова «Счастливи́чик Лазарев». «Несчастны́й Мани́н» долго блуждал по издательским кругам, пока не оказался в сборнике «Дебют», составленном редактором и писателем Геннадием Прашкевичем. Это был семьдесят восьмой год. К тому времени у нас уже был пятилетний сын Алёша, своим рождением он внес гармонию в нашу жизнь.

Помню, после роддома Алёшу привезли в квартиру Кутиных — свою квартиру мы отдали в оркестр, чтобы года через полтора получить новую, побольше. Был изумительный день начала сентября. Алёшу положили поперек тахты, все собрались вокруг полюбоваться, в большой комнате был накрыт праздничный стол. Света умильно развернула сына, и тут новый член семьи выпустил на родственников мощную струю окропляющей влаги. Все мы ликовали и веселились, страшивая с себя младенческую росу, только мудрая его прабабушка Клава, Клавдия Васильевна, высказалась философски:

— Эт-то вам только начало...

Я совершенно уверен, что лет с четырех дети, особенно мальчики, становятся полностью закрытыми от взрослых, малоуправляемыми. Мы не в состоянии вникнуть в их страсти, устремления, повлиять на их поступки. Можно их наказывать, натягивать вожжи, принуждать, одаривать пряниками, но даже при взаимной любви они будут оставаться до конца не прочитанными. Я научился понимать свою мать, жену, друзей, но дети остаются до сих пор для меня неразгаданной загадкой...

Когда Алёше исполнилось три с половиной года, решили пригласить «англичанку» Татьяну Сергеевну заниматься языком. Первые уроки прошли спокойно, хотя и под некоторым давлением. На шестом или седьмом уроке Алёша встретил учительницу, забравшись под стол, откуда твердо произнес: «Уходи и больше не приходи!» Хоть мы со Светой по-разному отнеслись к этой выходке, но уроки английского закончились. Пришлось мне извиняться перед Татьяной Сергеевной.

Бесславно закончились и попытки приобщить сына к фигурному катанию. Потом были недолгие уроки фортепиано... Любые систематические занятия Алёша просто отвергал. Уговоры при этом не помогали, розги были исключены.

Подлинным увлечением Алёши стали рассказы о войне и ее героях. Читать и писать он научился благодаря придуманной мной переписке с солдатами. В роли мифических солдат выступал я, отправляя Алёше письма по почте. В письмах солдаты рассказывали о своей нелегкой службе и учениях, требовали подробных ответов о его жизни и спортивных достижениях. Однажды Алёша прочитал вслух стихи Орлова — «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...». Совершенно не склонный к плаксивости, мой сын разрыдался. Это поразило меня до глубины души, я был ему благодарен, вспомнив отца в шинели, моих дядьев, воевавших на фронтах обеих мировых войн, и двоюродного брата Бориса Решетина, сына тети Лиды, пропавшего без вести в сорок четвертом. Я еще помнил, как он сажал меня на колени и просил петь песенку, которой обучил: «По реке, по речке плыли две дощечки...» — и почему-то смеялся с друзьями, а я не понимал ее хулиганского смысла.

Алёшина неистребимая страсть к военным приключениям и взрывам чуть было не довела его до катастрофы: долго в верхней губе сына сидел большой стеклянный осколок, пока сам не вышел. Учительница по химии удивлялась его просвещенности, покуда не осознала, что знания его ограничены взрывотехникой, и стала ставить двойки. Свете пришлось заниматься с ним химией.

В то время Света работала в Институте клинической и экспериментальной медицины, в лаборатории Дмитрия Николаевича Маянского, и начинала готовить кандидатскую диссертацию. Защита диссертации прошла вскоре после рождения Маши.

Алёша встретил Машу с заметной ревностью. Ждал братика, которого соби­рался защищать, опекать и учить всяким мальчишеским премудростям, а принесли девчонку, которой стали уделять больше внимания, чем ему. В доме появились тяжеленные медицинские весы с белой эмалированной ча­шей. Машу взвешивали до еды и после, строго следя за количеством белков, углеводов и витаминов. Росла она здоровой, крепкой и живой девочкой, заводилой. В Ивантеевке, куда мы привозили ее на лето, кто-то во дворе прозвал ее Машка-пистолет — так и повелось. Но однажды мы ее не убергли: купили на базаре раннюю дорожную дыню, Маша отравилась и потом долго болела.

Еще до рождения Маши мне в голову пришла мысль написать книжку об оркестре, основанную главным образом на беседах с Арнольдом Михайловичем Кацем. Западно-Сибирское книжное издательство одобрило эту идею. Я попросил на радио магнитофон, и раза два в неделю мы с Кацем оставались после репетиции в его малюсенькой дирижерской, где умещались лишь гри­мировочный столик с трельяжем и два стула. К этим интервью я тщательно готовился, придумывал вопросы, и пока беседовали без записи, Кац говорил очень интересно и образно, но стоило включить магнитофон или взять каран­даш, как речь его превращалась в передовицу для районной газеты. Намучившись с месяц, я совершенно отчаялся и пошел к редактору отказываться от замысла с книгой. На лестнице меня перехватила Дина Григорьевна Сельки­на, заведующая отделом художественной литературы издательства, и, выслу­шав мои сомнения, посоветовала писать от первого лица — музыканта сим­фонического оркестра, ведущего дневник. Идея оказалась плодотворной — через девять месяцев книжка была написана. Посомневавшись, я назвал ее «Наедине с оркестром». Редактировала книгу Людмила Владимировна Беляв­ская — дотошный и кропотливый редактор, оформлял замечательный худож­ник Александр Шуриц.

Было лето восемьдесят первого года. Мы всей семьей жили на съемной даче в Ельцовке. Света со своим суровым научным подходом уже поверх правки Белявской вычеркивала из рукописи будущей книжки все «слиони и соп­ли» и невнятные эмоции. Я соглашался и переписывал. Потом были гранки, которые тоже пришлось править, и вот, наконец, тираж — пятнадцать тысяч экземпляров, неслыханный по теперешним временам. По существу, это была первая книга, написанная оркестрантом об оркестре, взгляд изнутри. О ней рассказала Элеонора Белянчикова в своем телевизионном «Музыкальном ки­оске», книжка разошлась по библиотекам и музыкальным школам, педагоги рекомендовали читать ее родителям и детям. Очень тепло о ней отозвался ди­рижер Геннадий Рождественский.

Но не все было так радостно и безоблачно.

В Западно-Сибирское книжное издательство пришло письмо от Народ­ного артиста СССР Евгения Светланова. Для начала было указано на две не­значительные ошибки в тексте, но главные критические стрелы были пущены в адрес Каца и нашего оркестра. Смысл был таков: зачем так широко про­пагандировать провинциальный оркестр и провинциального дирижера? Вы­сокомерие, снобизм и завистливая мелочность письма поражали. Как потом рассказывали музыканты светлановского оркестра, главный дирижер собрал художественный совет и с гневом вопрошал: почему в столице не найдется человека, способного написать книгу о главном оркестре страны и его дири­жере, а в каком-то Новосибирске — нашелся? Тут же из планов грядущего сезона был вычеркнут новосибирский дирижер Арнольд Кац.

Очень хорошая, замечательно иллюстрированная книга о Светланове по­явилась через два года, но она была только о нем, действительно гениальном дирижере, но его оркестр, музыканты, их отношения с музыкой и дирижером совершенно не были показаны в ней. А то злосчастное письмо, подаренное мне в издательстве, теперь хранится в моем архиве.

Следующей моей «приключенческой» работой, сотворенной не без помощи Светы, оказался документальный фильм «Адаптация к Северу». Я много писал заявок для студий «Новосибирсктеелефильм» и «Сибирь на экране», главным образом на сценарии о музыке, живописи, архитектуре. Не проходили они потому, что в планах Госкино подобных тем было слишком мало, их растаскивали свои — это было интереснее, чем делать фильмы о колхозах и производстве. Иногда меня даже хвалили, но в план не включали. И вот однажды редактор «Новосибирсктеелефильма» Юра Мирошниченко встретил меня в коридоре студии и почти на ходу бросил:

— Хочешь написать сценарий об адаптации? У меня в Кузбассе незавершенка, а мне впарили еще эту козу... У тебя жена в ИКЭМе, тебе и карты в руки. Режиссер Виталий Гоннов, оператор Петя Сиднев — хорошая компания. Валяй, пиши заявку.

Поговорил с Гонновым, прочитал книжку Селье об адаптации, через неделю принес заявку. Уж очень мне хотелось попробовать себя в кино.

Тему адаптации в Сибири возглавлял академик Влаиль Петрович Казначеев. Первым делом я пошел к нему. Поражала увлеченность и целеустремленность его коллектива. Мне пришлось много читать, во многое вникать и знакомиться с учеными, так или иначе задействованными в адаптационной тематике. Много было тогда еще закрытой статистики и научных работ с грифом «секретно», но мне их давали на час-другой. Многое мне поясняла Света, но месяца через три я уже мог разговаривать на эту тему свободно. С кинооператором Петей Сидневым мы съездили в Новокузнецк на металлургический комбинат — на разведку: что и как можно снимать. Работа с раскаленным металлом и выход на тридцатиградусный мороз или тяжелейшие условия прокладки Северо-Муйского тоннеля на БАМе, где рабочие не могли выдержать более сорока пяти минут без перерыва из-за вибрации, чудовищного гула и низких температур — сфера исследований адаптологов. После светлых концертных залов, нарядной публики и возвышенной прекрасной музыки меня словно носом ткнули в подлинную жизнь. Мне требовалось научиться преобразовывать сложные научные построения в образы и слова, понятные всякому. Наконец я написал и сдал сценарий — и он был одобрен. Но почти сразу же у начальства студии появилась идея переделать сценарий, поскольку в Новосибирске был организован филиал медицинской академии, также возглавляемый академиком Казначеевым. Пришлось все перекраивать: центральная идея ушла, развалилась структура сценария, на первый план вышли лаборатории и личности ученых.

Фильм был снят, больше раздражая меня, чем радуя, но досадно было то, что первоначальный вариант сценария пропадает. Я рискнул — отправил заявку в Москву на студию «Центрнаучфильм». И уже через неделю мне сообщили, что выслали официальный договор на доработку сценария. Договор был на довольно крупную сумму, для меня совершенно непривычную, я его подписал и выслал вместе с ним сценарий. И вот тут начались любопытные хождения кругами... Каждые две-три недели мне присылались замечания по сценарию. Я послушно переделывал, уточнял, перепечатывал и отправлял вновь. После третьей перепечатки решил посоветоваться с Юрой Мирошниченко, когда-то закончившим сценарное отделение ВГИК. Он объяснил ситуацию просто: они хотя бы прирепить к тебе соавтора, соглашайся, все равно не отстанут. Я позвонил режиссеру Бокшицкой и попросил помощи, пояснив, что готов сотрудничать. Мне сразу сообщили имя будущего соавтора — Пётр Короп. Такой же фокус был проделан, когда писался закадровый текст. Обвиняли, что я срываю план сдачи фильма, грозились отобрать потиражные, а когда выскочил, как черт из табакерки, Петя Короп, то все разрешилось в два счета. Потом была киноистория о юном скрипаче Вадике Репине с режиссером Вадимом Гнедко-

вым, за ней — фильм о двухголосном горловом пении в Туве с Юрием Малашиным, через год — «Музыка для детей» с Леонидом Сикоруком...

В восьмидесятые годы наш оркестр начал интенсивно ездить в зарубежные гастроли. В результате удалось заработать деньги, на которые мы смогли купить долгожданную машину — красный «Иж-Комби». Особенно радовался Алёша. Начинаясь странная и незнакомая мне ранее жизнь, в семье многое изменилось: скорости, расстояния, возможности...

Со Светой мы договорились, что машина должна «кормить» себя сама, не забирая ни рубля из семейного бюджета. Каждый свободный вечер я делал круг по ближайшим улицам в поисках пассажиров. Однажды посадил парня до Снегирей. Он сразу мне не понравился: лущил семечки и хамски сплевывал на коврик. Я попросил его не делать этого, на что получил ответ:

— Я плачу — ты везешь.

Через трамвайные рельсы выехали на пустырь: справа кусты, вдалеке светятся окнами девятиэтажки.

— Здесь останови, — сказал пассажир и наставил тускло блеснувший нож. — Деньги давай!

На подобные случаи у меня был разработан план: чувствуя неладное, я заранее отстегивал замок капота и сбрасывал ремень безопасности. Увидев нож, я выкатился из машины, подбросил капот, отщелкнул тумблер аккумулятора и громко свистнул. От неожиданности парень выскочил из машины и бросился в кусты. От взрыва адреналина руки слушались меня плохо; я отъехал, немного постоял, успокаивая нервы, и медленно двинулся домой, в гараж.

Через полгода, в середине июля мы с Алёшей отправились на Алтай в путешествие. В запасе у нас было все, что требуется для автономного существования: спальные мешки, консервы, крупы, бензиновый походный примус, разборная лодка, рыболовные снасти от тестя Никодима Васильевича, страстного рыбака, и несколько рогаток, пристрелянных Алёшкой. Карта привела нас к реке Бии, оттуда мы хотели попасть на Телецкое озеро.

Первая ночь подкралась незаметно. В поисках ночлега мы уперлись в развилку трех дорог на невысоком холме. Алёшка побежал вниз по правой дороге в поисках указателя. Я тоже было отошел, внезапно заметив, что машина начинает медленно двигаться вниз — туда, куда убежал Алёша. Не успев испугаться, я бросился к ней, чтобы нажать на тормоз, но брючина моя зацепилась за угол дверцы, смог только вырулить, остановив машину на холме. Когда сын вернулся, я сказал, что до утра мы не поедим, заночуем здесь. Долго потом не мог заснуть, вспоминая, как разгоняющаяся под уклон тяжелая машина неслась на Алёшку.

Среди ночи я проснулся от яркого света фар и рыка подъезжающего автомобиля. Нашупал топорик, лежавший под сиденьем. Подошедший мужик вежливо постучал в окошко и извинился. У меня отлегло от сердца. Оказалось, они заблудились, едут на свадьбу к родственнице втроем: муж, жена и ребенок.

С рассветом они уехали, а мне предстояло накормить нас завтраком перед длинной неизведанной дорогой. Развели примус, сварили манную кашу на сухом молоке — и тут увидели молодого цыгана на лошади. Он гнал табун корбылиц с жеребятами. Я спросил у него дорогу, он объяснил, но не уезжал — с интересом смотрел на наш примус и еще дымящуюся манную кашу. Я наложил каши в чистую миску и подал ему. Сначала с осторожностью, затем с восторгом, причмокивая, он съел кашу, облизал ложку и большим пальцем собрал остатки, спросил, как это называется, и отправился за табуном.

Две недели на Алтае были просто сказочными. На Бие мы набрали на избушку-засыпушку. Выкопанная в высоком берегу реки между скалами, она была покрыта жердями и дерном. Внутри широкие полаты, застланные соло-

мой и шурами, подобие стола из земли и доски, фанерная тумбочка, в которой стояли патроны для охотничьего ружья, стеклянные банки с крупами и соль. В этой избушке мы прожили три дня в полном одиночестве. Ловили хариуса на «самодур» — ящичек без дна на длинной прочной леске, который доплывал до середины реки по тому же принципу, что и воздушный змей. У конца лески было несколько поводков с крючками, обмотанными медвежьими шерстинками и цветными нитками. Хариус принимал их за насекомых и из быстрых струй выпрыгивал на добычу. Вот такой обман! Потом у костра мы нанизывали рыбу на прутики и держали над огнем. Сначала она становилась прозрачной, с нее капал сок, затем покрывалась нежной розовой корочкой, мы присаливали получившееся и ели без хлеба. Кто не пробовал свежевывловленного хариуса, не сидел на закате у костра перед избушкой-засыпушкой, не всматривался в играющие бликами и звездами струи у переката, в темнеющие калы с золотыми стволами густо-зеленых сосен на них, тот зря прожил жизнь. А в разговорах наших с сыном появлялись темы, которых прежде не было: мы оба выросли...

Еще была охота на куропаток. Я и представить не мог, что мой сын так метко стрелял из рогатки. Как-то мы ехали по лесной дороге, впереди стайка куропаток клевала камешки. Я притормозил, не глуша мотор, чтобы не спугнуть их, Алёшка прицелился и попал одной в голову — наповал. И опять мы питались как первобытные люди: на костре варили темное душистое мясо, отдающее запахом смолы и неведомых таежных ягод.

В этой поездке Алёша научился водить машину по самым трудным дорогам. Научилась и Света, вскоре научилась Маша. Но после одной истории Света категорически отказалась садиться за руль.

Как-то мы с ней поехали в магазин «Океан», на левый берег. Это был конец горбачевской эпохи, девяностый год, сухой закон, пустые полки в магазинах, а в «Океане», случалось, что-то «выбрасывали», как тогда говорили. Я уже неплохо управлял машиной, хорошо ощущал ее габариты. Иногда ездил на мотодром, проверяя себя у стенки, на льду и горке.

У рыбного магазина машины стояли беспорядочно. Чтобы занять свободное место, надо было сдать назад. Но я же ас, а рядом любимая женщина! Я выбрал свободное место у самой витрины, многометрового толстого стекла, и немного не рассчитал, край бампера уперся в стекло, после чего раздался звук лопнувшей рояльной струны и грохот осыпающихся льдин, подобный аплодисментам гордыне. Бабы в магазине завизжали: «Держи, записывай номер!» Мужики, курившие в сторонке, с интересом смотрели на нас; у Светы было каменное отрешенное лицо, она не двигалась. Я вышел из машины и громко сказал:

— Где ваш директор? Я никуда не убегаю.

Директор уже стояла у распахнутой двери кабинета. Мы зашли в кабинет, кто-то любопытный остался у двери, директорша ее с силой захлопнула, переписала данные моего паспорта. Я пообещал ей в течение месяца достать и вставить точно такое же стекло. Но ни достать, ни вставить, как вскоре выяснилось, я не мог: даже за обыкновенным оконным стеклом выстраивались огромные очереди. Но я нашел выход: попросил Свету бросить ключ о помощи по знакомым лабораториям. И ребята откликнулись — поскребли по сусекам и наскребли трехлитровую банку чистого медицинского спирта. С этой банкой я и пришел к директору. Объяснил, что с этой валютой ей легче будет добыть стекло: у нее целый город нужных знакомств. И она согласилась. Этим бы все и закончилось, но, как на грех, в тот же день в магазин нагрянули сотрудники ОБХСС. Через некоторое время меня вызвали к следователю.

— Спирт ваш? — спросил следователь, указывая на трехлитровую банку.

— Если там спирт, то, может быть, и мой.

— Это спирт, — сказал следователь со знанием предмета, — мы его изъяли у директора «Океана». Откуда к вам он попал?

Закладывать целый институт, где работала жена, совершенно не входило в мои планы. Ребята отнимали от себя, страдали от головных болей и недоделанных экспериментов. Я это ценил и по дороге к следователю придумал безукоризненную версию.

— Я провожал друга в Германию, — тут я не соврал, — помогал ему с загрузкой и отправкой вещей, вот он меня и отблагодарил, — и тут я не соврал, просто не уточнил, в чем заключалась благодарность.

Следователь тут же начал названивать по вертушке. Все сказанное было правильным. Музыкант симфонического оркестра уехал из страны навсегда, фамилия немецкая.

Мы поговорили еще немного, даже о музыке. Он твердо сказал, что спирт как вещественное доказательство должен остаться у них, что претензий ко мне нет, я могу быть свободным. На том и расстались.

Но и это еще не все.

Вечер. Занимаюсь дома на альте. Вбегает с улицы взволнованный Алёшка, кричит:

— Включай телевизор, там про тебя говорят милиционеры!

Пока нагревался телевизор, милицейская сводка закончилась. Подробности я узнал на следующий день в оркестре. Меня похлопывали по плечу, просили, в который уже раз: «Расскажи, как ты въезжал в витрину». Особенно было жаль бездарно пропавший спирт.

Еще в период развода с Алей, тяжелый и мучительный, я познакомился в картинной галерее с Евгением Андреевым, экскурсоводом, и его подругой Оксаной Головань — изящной экстравагантной женщиной с чертами средиземноморской красавицы. Оксана работала главной хранительницей фонда галереи. Когда они бывали у нас со Светой в гостях, и маленький Алёша оказывался сидящим напротив Оксаны, он взглядывал на нее и тут же отворачивался, жмуря глаза, словно прятался. Это нас забавляло. Точно так же он прятал глаза от телеведущих красавиц, будто обжигался красотой, но взгляд невольно притягивался вновь и вновь.

Вид Жени Андреева был тоже весьма романтичным: неукротимо растущая борода, огромная вьющаяся шевелюра и большие темные глаза за круглыми стеклами очков. Некоторые старушки принимали его за монаха, тянулись к руке. Загадочности ему добавляло то обстоятельство, что он был изгнан из Ленинградского университета за месяц до окончания, поскольку брал книги у члена тайного общества ВСХСОН — Всероссийского социально-христианского союза освобождения народа, — после чего жил год на Соловках в качестве экскурсовода. Он был философом и поэтом, часто щеголял парадоксальными высказываниями в самых разных областях: история, литература, философия и музыка. Дружба наша была долгой. Под влиянием Жени я написал небольшой рассказ и повесть — скорее, ради забавы. Он же писал очень активно, но нигде не публиковался — это было его принципом:

— Все публикации — на небесах! Захотят — напечатают.

Впрочем, тогда это и не могло быть опубликовано.

Через некоторое время Женю уволили из картинной галереи за лекции, принципиально не совпадающие с воззрениями директора; кроме того, ее раздражали борода и прическа Андреева. Та же участь его ждала и в театральном училище, где он успел поработать чуть больше года. Его лекции студенты слушали с восторгом, начальству эти культурологические лекции представлялись дерзкими и фривольными. Потом Света нашла ему работу — ночным сторожем в одном из учреждений здравоохранения.

Семья Евгения была чисто русской, православной, с харбинскими корнями. Мы со Светой очень любили бывать у них во время религиозных праздников. Мы словно погружались в быт и дух дореволюционной России. Еще жива

была бабушка Жени. Мы узнавали то, о чем невозможно прочесть ни в каких книжках — об особом чувстве нравственности. Но Женя иногда вел себя не вполне адекватно, особенно по отношению к матери — как барчук. Последней каплей стала его небрежная, диковатая игра с Машей, в которой он чуть было не поранил ей глаз. Я был раздосадован и выговорил за это Жене. В тот вечер мы засиделись, и обычно в таких случаях он оставался ночевать у нас. Но тут Света категорически воспрепятствовала этому. Я, чтобы как-то смягчить это неприятие, пробродил с ним всю ночь: по улице Фрунзе, проспекту Дзержинского и улице Шекспира. Он меня в очередной раз поразил знанием музыки Гайдна. Тогда я с друзьями организовал квартет и искал репертуар — и Женя напел мне не менее десяти особенно нравившихся ему квартетов Гайдна. Ночь была душная, и в начинающемся мутном рассвете мы увидели выезжавшую с улицы Шекспира поливальную машину, окутанную струями воды и пара, почувствовали запах влажной пыли и солирки. На этом мы расстались — между Шекспиром и Дзержинским.

— Зачем тебе семья? — спросил Женя. — Где торжествует нравственность, кончается искусство. Возьми Гоголя: упершись в веру, он ничего путного не написал, — и, махнув рукой, ушел, оставив меня, раздраженного и не согласного, на перекрестке.

Маша подрастала, и в шесть лет я отвел ее в музыкальную школу, договорившись с замечательным педагогом Михаилом Рувимовичем Мериминским. С Машей он прозанимался около двух лет и уехал в Израиль. Занятия с ним очень подвинули Машу: она совершенно не боялась рояля, не стеснялась ошибаться и научилась подбирать любые, даже очень сложные мелодии в разных тональностях. Потом Маша попала к другой преподавательнице, хорошей пианистке, но очень плохому педагогу, не понимающему детской психологии, не чувствующему ее. У Маши появились комплексы: не так поставлен мизинец, забыла сделать акцент или легато. Я не выдержал и при удобном случае перевел ее к Алене Юрьевне Кузьминой — чудному, увлеченному педагогу, у которой она проучилась до окончания школы, успешно выступала на смотрах и конкурсах.

Перед конкурсами я старался заниматься с Машей, поскольку участие в них требовало высокого профессионализма, и своими требованиями иногда доводил дочь до слез. Бабушка и Света старались спасти Машу, однако дедушка поддерживал меня. Это становилось залогом Машиных успехов: создавалась крепкая техническая база, не подверженная влиянию извне.

После окончания музыкальной школы Машу хотели получить в свои классы несколько училищных педагогов, но дочь моя категорически отказалась становиться профессионалом. «Не хочу! — сказала она. — Один профессионал у нас уже есть в доме. Насмотрелась». Желание увидеть дочь на профессиональной сцене исчезло. Музыку она продолжает любить и не бросает инструмент, даже сочиняет очень красивые песни с интересными мелодическими линиями и своеобразной гармонией.

Маша заканчивала музыкальную школу, Алёша поступал на юридический факультет СибАГСа, — наши дети завершали свой путь взросления.

К вступительным экзаменам по истории сына готовил Женя Андреев, прочитав пятнадцать замечательных лекций, которые Алёша внимательно выслушал и законспектировал. Уже поступив, он эти лекции долго помнил. В награду за поступление Алёша получил элегантный кожаный кейс, в котором теперь хранятся мои материалы по Станчичу Ивану Людвиговичу, чья жизнь и судьба потрясли меня и заставили надолго погрузиться в изучение архивов 20—30-х годов.

Впрочем, начало девяностых было для нашей страны не менее драматичным. Особенно остро почувствовала это молодежь. Что происходило с моим

сыном и его друзьями — расскажу немного позже. А сейчас один трагикомический эпизод из лета девяностого года.

Оркестр отправился на гастроли в Ленинград. Конечно, многие захотели взять с собой детей. Со мной поехала Маша. Я не мог ей уделять много времени, поскольку каждый день шли репетиции и концерты. Обычно она ходила по музеям и интересным местам с другими детьми и какой-нибудь мамашей, не работавшей в оркестре. Но однажды утром я отвел Машу в Эрмитаж, договорившись, что в условленное время она выйдет на крыльцо и будет меня ждать после репетиции. Я все учел — кроме одного: характера Каца. После репетиции он затеял ужасный скандал, недовольный результатами проигрыша финала симфонии. Репетиция давно уж закончилась, а он все кричал и кричал, распекая и так удрученных музыкантов, попрекая намоленными стенами и колоннами зала, слышавшего всех великих музыкантов мира, досадовал на жен и детей, привезенных на столь ответственные гастроли. Минуты шли за минутами, я смотрел на часы: Маша идет к выходу, уже стоит у ног атлантов, тоже смотрит на часы, начинает беспокоиться, плачет... Сердце мое разрывалось. Кац кричал, я искал паузу, чтобы объясниться, пауз не было. Объяснения только подлили бы масла в огонь. Наконец маэстро иссяк, я поручил уложить альт своему товарищу и бросился бежать: троллейбус меня бы только притормозил. Бежал от улицы Бродского, где Большой зал филармонии, до Дворцовой площади. Пробежав Штаб, миновав Александрийскую колонну, увидел мою бедную девочку. Пока бежал, почти сбивая прохожих, в голову лезли самые страшные мысли. Наконец-то она со мной, чуть обиженная, но улыбающаяся!.. Мы пошли съесть мороженое, а уж потом обедать.

Шли годы, в стране с чудовищной скоростью разгонялась инфляция. Многие начали заводить огороды и сажать картошку, в том числе и мы, ухитрившись купить дачу с участком, собрав в доме все ценное, что было. Дача оказалась великим экономическим подспорьем: вся семья с удовольствием работала на ней и очень гордилась этим. Самыми фанатичными огородниками оказались Никодим Васильевич и Света.

Однажды, готовя очередную радиопередачу, мне потребовалось что-то уточнить в «Фаусте» Гете. В книжном шкафу Алёши я отыскал нужный том и открыл его. Когда-то эту трагедию мы с Алёшей читали друг другу вслух: она произвела на сына большое впечатление, и последнее время я часто наблюдал его за чтением «Фауста», чему очень радовался. Открываю том — а там в страницах вырезан «колодец», в который вложена пачка долларов. Как, откуда?!

Оказалось, девушка из Алёшиной студенческой компании продала квартиру умершей родственницы и решила пустить деньги в дело. Алёше как будущему юристу поручили роль банкира. Вскоре к нашему гаражу подрулил грузовик, забитый ящиками с консервами. Пришлось выгонять любимую «кукарачу». Алёша уверял: за два-три дня, не больше, они успеют реализовать эти ящики. Консервы имели срок годности, который уже истекал. Мы со Светой пытались помочь пристроить банки по столовым и кафе, но брали по две-три. «Кукарача» страдала на стоянке, ящики заполнили весь гараж, ни о чем другом думать было невозможно. В итоге Алёша уговорил каких-то азербайджанских оптовиков с рынка, и гараж освободился. Мы глубоко вздохнули.

Дети наши взрослели, в Ивanteeвке у бабушек бывали редко, больше на даче или со мной на гастролях. Когда умерла тетя Надя, а маму я перевез в Новосибирск, у всех появилось странное ощущение чего-то неестественного: раньше мы ездили в гости к бабушкам, добродушным, приветливым хозяйкам, опекающим нас, и вдруг бабушка у нас, теперь навсегда, а радость и счастье житья в Ивanteeвке остались только в благодарной памяти. Если раньше меня мама воспринимала как ребенка, пусть и взрослого, теперь мы поменялись ролями: я воспринимал ее как свое дитя, о котором надо непрестанно заботиться.

В то время мне часто приходилось ложиться в больницу, и функции мои брал на себя Алёша, может быть, не так аккуратно, но все-таки помогал и не роптал.

Маму я перевез еще в девяносто шестом. Помню, она прекрасно перенесла ночной полет, Ил-86 поразил ее своим комфортом. Она удивлялась всему: величине салона, внимательности стюардесс, неожиданному вкусу пищи в герметичной упаковке — раньше она летала в маленьких самолетах, где было тесно, где не кормили, где постоянно ощущалась тошнотворная болтанка.

В Новосибирске ее встретили прекрасно. Светины родители устроили праздничный обед, возили на дачу в Нижнюю Ельцовку. Суета вокруг, обилие впечатлений и некоторое смущение повернули ее память в прошлое, и Свету она неожиданно назвала Альбиной — так звали мою первую жену, а меня — Борей, именем своего внука Бориса Решетина, часто навещавшего их с тетей Надей и опекавшего их. Свету, естественно, покорило новое имя, но она ничего не сказала.

Как-то так сложилось у нас, что еще до приезда мамы еду готовил чаще всего я; Света этим занималась по выходным. Во-первых, я был свободен днем, между репетицией и концертом, можно было просматривать оркестровые партии, а между делом жарить-парить; во-вторых, мне это очень нравилось: можно было импровизировать, готовить почти из топора.

Когда я разучивал партии, мама садилась в кресло и могла слушать часами. Не знаю, о чем она думала и что чувствовала, выслушивая мои бесконечные повторы. В награду я ей играл что-то вроде «Жаворонка» или романса Глинки, музыку которого она очень любила. Иногда мы начинали вспоминать: у нее были очень яркие воспоминания о детстве, но я никогда не позволял себе спрашивать об отце. Иногда разговаривали о родственниках Альбины или о предках Светы. Удивительно, что и Альбина, и Света в младенчестве жили в Якутии — в маленьких поселках на реке Алдан, а Света еще и родилась там. От Усть-Майи до Хандыги — четыреста двадцать два километра. По сибирским понятиям — пустяк. И даже имена отцов Альбины и Светы почти что совпадали: Никандр и Никодим, оба означали «победитель». Никандр Тимофеевич служил в Хандыге бухгалтером на алмазных приисках, Никодим Васильевич с женой Валентиной — геодезистами-изыскателями на базе под Усть-Майей.

Но коли уж я начал рассказывать о наших предках, продолжу и поведаю, что знаю...

Прадед и прабабушка Светы — Петровы Василий Антонович и Мария Антоновна, богатые молокане, сосланные из Тамбовской губернии в Сибирь еще в девятнадцатом веке. Свою усадьбу и большой дом они построили в Новониколаевске, на углу Асенкритовской и Кабинетской (ныне Чаплыгина и Советская), она тянулась аж до улицы Горького, в те времена называвшейся Тобизиновской. Василий Антонович занимался грузовым извозом, имел трех битюгов: двух воронежских кобылиц и огромного злого мерина неизвестной породы по имени Дон, с которым не справлялся работник, приходилось самому управляться. Вozил он с пристани лес, муку, кирпичи, никогда не курил, не пил вина и не ел сладкого. Когда внучки спрашивали, почему не ест сахара, отвечал, что Молокан не велит, потому имел зубы белые и крепкие.

У Василия Антоновича с Марией Антоновной было пятеро детей — четыре дочери и сын Михаил, погибший на Первой мировой. Младшая дочь Клавдия, бабушка Светы, окончила женскую гимназию, затем курсы стенографии и вышла замуж за автомеханика Павла Афанасьевича Паничкина, тоже из молокан.

Видать, Павел Афанасьевич был на особом счету: через три года с двухлетней дочерью Валечкой их отправили на работу в Монголию, обучать местных автоделу, русскому языку, заодно внедрять социалистические идеи. Через два или три года Клавдию Васильевну забрали на работу в крайисполком, се-

кретарем председателя Фёдора Павловича Грядинского. Они получили квартиру рядом со стоквартирным домом, теперь там областной архив. Кажется, чего бы не жить?.. Но наступил тридцать шестой, потом тридцать седьмой: Грядинского арестовали в августе и расстреляли на спецобъекте НКВД «Коммунарка» под Москвой, о чем стало известно много-много позже. Клавдию Васильевну уволили в тот же день — восьмого августа. Валечке и приемной, от умершей сестры, дочери Олечке она сказала, у кого спастись в случае, если ее и отца арестуют. Слава богу, не арестовали, но и на работу долго не принимали. Жили скудно, но и Валя, и Оля окончили геодезический техникум, Валентину распределили на работу в Якутию. Там и отыскал ее Никодим Васильевич Кутин, выпускник Московского государственного геодезического института, углядев фотографию на доске почета.

Прямые предки Никодима Васильевича — потомственные крестьяне из села Селижарово Тверской губернии, откуда и предки нынешнего президента. Когда тот только появился на горизонте, друзья Никодима Васильевича стали посмеиваться: мол, не родственничек ли, уж очень похожи. Напиши, мол, ему, пошли свою фотокарточку. Глядишь, в правительство позовет... Тесть мой лукаво улыбался, отвечал:

— Надо будет — сам приедет.

Перед войной отец его Василий Трофимович с матерью Клавдией Васильевной, двумя сыновьями и тремя дочерьми купили дом с большим садом в подмосковном поселке Ховрино: детей надо было учить. Иногда отец с сыновьями Никой и Женей подрабатывали по плотницкой части на ВДНХ. Однажды они там присели пообедать, разложили на газетке хлеб, лук и пару необыкновенно огромных помидоров из собственного огорода. Мимо проходило какое-то начальство, увидев чудо-помидоры, потребовало выставить их в одном из павильонов, а троицу накормить в рабочей столовой. Никодим Васильевич любил вспоминать этот случай, и когда мы купили дачу, страстно увлекался выращиванием помидоров и сладких перцев, добивался замечательных результатов и сожалел, что утрачены те тетради, в которых его отец описывал свои методы огородничества.

Все Светины родные имели характер спокойный, равнинный — чисто русский. Предки Альбины многонациональны. Прадед по отцовской линии, сосланный после бурных польских восстаний в Сибирь, как очень многие его единоверцы-католики, хлебнул вдосталь лиха и многому научился на благодатных приамурских землях, женился на потомственной маньчжурке из так называемого Маньчжурского клина, образованного после подписания российско-китайского договора в 1858 году. За этот Айгунский договор генерал-губернатор Николай Муравьев получил почетное звание Амурский, а китайскому губернатору соотечественники отрубили руку, подписавшую коварные пограничные бумаги.

Я мысленно рисую себе картину приамурского улуса: костер, юрта, шаман с бубном, множество маньчжурской родни: орочку выдают за белого, светловолосого, голубоглазого человека. Пьют араку, курят опиум, едят что-то мясное с тестом из большого котла, едят руками. Горит большой костер, люди смеются и поют странные песни гортанными голосами. Свадьба!

Как долго в душе польского пана-каторжанина жил аромат родины, потаенной молитвы, литургии?.. Как знать... Но именно благодаря польской крови было спасено его маньчжурское семейство от неминуемого переселения в Китай, случившегося после Боксерского восстания и погромов и разрушений на строительстве КВЖД. Образ того польского пана-каторжанина через три поколения проявился в брате Альбины Анатолии, светлолицем блондине среди смуглых темноволосых своих родичей.

Костры, кибитки, табуны лошадей сопровождали другого предка Альбины — Петра, отца ее матери, настоящего таборного цыгана. Женился он на

мордвинской девушке Лукерье и осел в ее деревне, развел лошадей, завел покосы — крестьянин, да и только! Когда недалеко от их села проложили ветку КВЖД, Петр начал работать путевым обходчиком на узловой станции Шилка, надел железнодорожную форму, которая его, видного, бровастого и чернобородого, могучего, сделала весьма значительной и еще более уважаемой персоной среди односельчан. Была старая фотография всего его семейства: рядом с красавцем Петром в железнодорожной форме с блестящими пуговицами сидит широколицая жена в бусах и монисто, рядом — сын Филипп, тоже в железнодорожной форме, и две дочери, Нина и Анна — будущая мать Альбины. Она больше других детей походила на отца. Этой карточки нет, со временем где-то затерялась. Нет фотографии, но костры маньчжурской прабабки и таборного цыгана Петра до сих пор пылают в характере Альбины.

Помню картину: я доучиваю «Хоруми» Цинцадзе перед консерваторским госэкзаменом. В комнату влетает Альбина и с непонятной страстью вдребезги разбивает мою любимую тарелку, — хорошо, что не альт. Оказалось, забыл принести мешок картошки, купленный Анной Петровной у соседки.

Думаю теперь, вспоминая разговоры с мамой о родственниках: какая же уйма народа установила родственные связи, чтобы появились на свет мои дети: Анна, Алексей, Мария... Сколько будет еще впереди наших единокровцев — целый народ! В Питере от одного из моих внуков, Андрея, родилась Василиса. Впервые я — прадед! Сейчас Альбина возглавляет кафедру древнерусского певческого искусства в Санкт-Петербургской консерватории, а дочь Анна работает научным сотрудником в Пушкинском доме — Институте русской литературы РАН.

Когда мамы не стало, я написал небольшую пьесу о Глинке — «Жаворонок», это получилось как бы в память о ней. Пьеска была одобрена Сергеем Афанасьевым, рекомендована к постановке молодым режиссером. За организацию взялся тенор Борис Назаров, но других музыкантов, которые бы желали исполнять еще и актерские роли, так и не нашлось. Впрочем, вещь была пустяковой и не стоила больших усилий. Мы с Борей, предполагавшимся исполнителем роли Глинки, сразу не поняли этого, были увлечены.

Творческий зуд у нас со Светой возникал одновременно. Она начинала готовить докторскую диссертацию, а я организовывал струнный квартет, назвав его «Юбилей-квартет», и тут же начал писать повесть «Violino», взяв в качестве прототипов героев школьных своих друзей.

Маша в этот период жила со Светиными родителями. Туда же Света перенесла и работу над диссертацией. В тесной комнатке стоял старенький компьютер, на всех стенах развешаны графики и схемы. Здесь ей было работать спокойней, да и подрастающая неумная фантазерка Маша оказалась под присмотром. Получилось, что мы стали жить на два дома: я с Алёшей и его женой Аней Разиной, а Света — с Машей и своими родителями. В чем-то это осложняло жизнь, приходилось постоянно бегать из дома в дом, но при этом возникла некоторая гармоническая уравновешенность — каждый занимался своим делом более углубленно.

Маша поступила на первый курс СибАГСа и через некоторое время начала петь в ресторане. Ее тянула эстрада — больше музыкой, а не возможностью зарабатывать. Машины записи я показывал известному джазовому музыканту Георгию Гараняну. В целом одоблив, он дал несколько советов для совершенствования стиля, но Маша и Света не приняли их к сведению, считая внутреннее чутье главным в этом деле. Душевным выходом для Маши стали ее собственные песни. Тексты были на английском, их я не мог оценить, а вот непростые мелодии мне нравились чрезвычайно, особенно в гармоническом оформлении и инструментальной аранжировке.

И вновь я вспоминаю маму. До конца дней своих она просила меня сдавать ее партийные взносы. А как-то мы вспоминали ее бабушку, и я спросил, помнит ли мама молитву «Отче наш». И она хоть и с трудом, но вспомнила слова из Евангелия от Матфея. Споткнулась и замешкалась только на «и не введи нас во искушение».

Умерла мама в день пятидесятилетия Светы, 20 января. Чуть больше недели назад, 11 января, маме исполнилось девяносто пять лет.

За праздничным столом я сидел как на иголках. Перед уходом я покормил маму, но она была очень слабая. Из-за стола мы ушли задолго до ухода гостей, но не успели. Света приехала сразу же, как только я позвонил.

Через год Света защитилась, а я все еще писал свою повесть «Violino» — летом, на даче. Когда Света приезжала, я прочитывал ей фрагменты, она просила убирать или переписывать слишком цветистые места. До обеда я писал, а после присоединился к Никодиму Васильевичу и Свете, работавшим на участке, но больше любил плотницкие, столярные или электрические работы.

Перед *катастрофой* Света успела увидеть повесть, напечатанную в журнале «Новосибирск», и впервые прочитать целиком. Несколько экземпляров она раздала своим друзьям, для меня то было высокой оценкой и признанием.

Повесть заканчивалась несколько странно, если я точно помню, словами «мы выпили еще немного вина, и я пошел домой спать». Ощущение какой-то незавершенности в последней главе долго преследовало меня. Я собирался дописать повесть и уже даже начал работать над ней, к чему меня подстегнуло предложение издательства «Росмэн»...

В ночь с восемнадцатого на девятнадцатое июля спал я ужасно. Восемнадцатого было празднование обретения мощей Сергия Радонежского, моего покровителя, но я о нем забыл.

Вечером из поездки на Алтай должна была вернуться Маша. Она уговорила и Свету поехать, чтобы та отдохнула после длительной и мучительной болезни отца и его кончины. Прежде Света никогда не бывала в тех краях.

Мы с Алёшей и его женой в тот день были на даче. Молодые рано уехали, а я остался: знал, что Маша со Светой приедут из путешествия поздно, а на следующий день обязательно появятся на даче. Предстояло красить дачу, мы со Светой выбрали колер, и теперь большие банки с краской стояли в гараже. Что-то переставляя подальше от машины, я запнулся на ровном месте и, разваливая составленные лопаты и грабли, рухнул на злополучные банки. Была сильная боль и, наверное, легкое сотрясение. Сразу я не мог подняться, а помочь было некому. Наконец мне удалось встать на ноги, я сделал себе холодный компресс, ночью с трудом смог устроиться так, чтобы не было больно.

Утром раздался Машин звонок:

— Я у бабушки.

— Где мама? — спросил я.

— Мамы больше нет. Приезжай быстрее.

В аварии погибли Света и водитель. Машу за полчаса до катастрофы мама пересадил на заднее сиденье, чтобы та поспала. КамАЗ снес красный «жигуленок» в кювет. Света погибла мгновенно. Скорая приехала только через час, водитель был уже мертв. Маша сидела в траве, из раны над бровью безостановочно текла кровь, ужасно болела спина. Сознания она, что произошло, или была в прострации, я боюсь думать об этом и спрашивать.

На следующий день Алёша с Машиними сотрудниками привезли тела водителя и Светы. Я поехал в морг на Кропоткина. От метро шел пешком, точнее, пробирался по улице, останавливаясь у каждого дерева и у каждого столба. Я ускорял ход и одновременно замедлял его, желая как можно дольше удержать в памяти ту Свету, которую я знал тридцать два года... Когда в

очередной раз прислонился к дереву, кто-то тронул меня за рукав; я увидел мужика с пропитым лицом:

— Тебе плохо? — спросил он.

— Жена погибла, — я впервые произнес эту фразу.

— У меня тоже, два года назад. Придешь домой, обязательно выпей. Вон ларек, можешь купить.

— Купи себе, — достал и дал денег, — я не буду.

— Держись, друг, — и он быстро отошел.

Я поплелся дальше, чувствуя тяжесть в ногах, досаду на мужика за то, что он отвлек меня от моих видений. И вновь я остановился у дерева, пытаюсь восстановить живой образ и голос Светы. Проезжали машины, пахнущие дорогой и выхлопными газами, проходили люди, от них веяло живой жизнью. Мне мучительно хотелось, чтобы все это враз остановилось. Все! Чтобы возникли тишина и Света.

В море я отыскал служителя. Он открыл мне дверь небольшого помещения и попросил при уходе захлопнуть дверь и сообщить ему об этом.

В мягком свете вечернего солнца тела водителя и Светы лежали рядом, совершенно обнаженные, и мне вдруг явилась странная, совершенно неуместная мысль: «Какая красивая пара. Может быть, бог хочет в последний раз взглянуть на земных чад своих!» Только у Светы было совсем не ее лицо. «А если не она! — обожгла надежда. — Господи! Избавь меня от пустых мыслей, оскверняющих меня, и злых страстей!»

Я хотел сосредоточиться — и не мог... Почему? За что?..

В памяти остался влажный вечер последней Светиной осени. В эту пору в лесу удивительно пахнут опадающие листья. Почти не сговариваясь, мы повернули в лес, решили набрать дикой рябины для варенья: его, с узкими дольками яблок, научила делать моя тетя Маня. Мы стояли у полыхающей бордовым и желтым рябины и не могли решиться ее оборвать, так она была хороша. Рябина объединяла и очищала нас. Еще мама мне рассказывала, что ягодами рябины в деревнях лечатся от угара. Домой мы привезли огромный ворох ветвей с тяжелыми гроздьями ягод. Терпкий запах влажного леса преобразил весь дом.

Глава тринадцатая. Куда ведет эта дорога?

— У нас нет хлеба, — сказала мама.

— Я принесу, — пообещал я и стал подсчитывать копейки: если купить в киоске самую маленькую шоколадку для медсестры, делавшей мне переливания крови, то даже на полбуханки «новоукраинского» не хватало десяти копеек. А без шоколадки никак нельзя.

Болезнь моя была редкой и странной, с неприятными производными, и называлась гемохроматоз, означая невероятные излишки железа в моем не слишком железном организме. Считается она наследственной, но я видел ее причину в стрессовых переживаниях последних лет. Прежде всего — в вынужденной продаже моего любимого альтя. Он был построен — так обычно говорят об инструментах — в Турине в 1840 году известным итальянским мастером Прессенда Рафаэлем, учеником еще более известного мастера Лоренцо Старионе. Этот альт (итальянцы говорят — *виола*, что означает *фиалка*) прожил со мной в любви и творческом согласии тридцать три года. Он был удивительно чувствительным. Я только задумывал крещендо, он начинал его делать; я желал сделать акцент — и он прекрасно выполнял это желание... Он умел сглаживать швы при смене смычка — это был волшебный инструмент! И вот я его предал и продал. За то и расплачивался.

Купил я его у воронежского инструментального маклера, альтиста оперного театра Аркадия Рафаиловича Райхельда, за шестьсот рублей. В 1962 году

это были огромные деньги. Я собрал все, что у меня было, и все, что могли дать родственники: продал хорошую немецкую скрипку в крокодиловом футляре, на которой играл; золотой ключик от карманных часов на длинной золотой цепочке — остатки наследства дяди Саши, пожертвованные мне ради такого случая добрейшей тетей Маней. Еще двести рублей дала Анна Петровна Слепкова, мама моей первой жены, с расплывчатой формулировкой, которую я мог понять как «подарок в долг» либо как «долг в подарок». К ее чести должен сказать — ни словом, ни намеком она об этих деньгах ни разу не упомянула. Я вспоминаю ее с благодарностью.

Еще снимая пальто и шапку в Железнодорожной больнице, я шарил взглядом по всем закоулкам в поисках десяти копеек и не находил их. После процедуры переливания крови я ощущал особую легкость и пошатывание. Взял одежду в раздевалке и присел на пластиковый стул у окна, чтобы немного прийти в себя перед дальней дорогой: на троллейбус у меня тоже не было денег.

О чем я думал, какие слова произносил мысленно?.. Но вдруг под горячей батареей блеснули те самые десять копеек, которых мне так не хватало — это было послание свыше.

Время было отчаянное, конец девяностых годов, когда в бюджетных организациях не платили зарплату по три-четыре месяца. Так было у меня в оркестре, так было и у жены в институте: мы жили порой только на мамину пенсию, которую хоть и с задержкой, но выдавали. Чтобы выжить, многие начали сажать картошку, и мы в том числе. У кого были машины, те стали заниматься извозом; более рискованные отправились в Китай или Польшу «челноками». Было ощущение — добром это не кончится.

Боже, с какими надеждами и ожиданиями мы вступали в горбачевскую перестройку во второй половине восьмидесятых годов... Света успела защитить кандидатскую, у меня были опубликованы повесть «Несчастный Манин» и книжка «Наедине с оркестром», уже вызревал план романа о замечательном человеке — Иване Людвиговиче Станчиче, хорватском виолончелисте, приехавшем в двадцать втором году в СССР строить социализм, много сделавшем для культурного развития Сибири, в тридцать седьмом расстрелянном как враг народа, диверсант и шпион. Каждый день после репетиции я просиживал в областном архиве, выискивая документы, письма, приказы, связанные со Станчичем, знакомился с людьми, которые его знали и помнили, записывал воспоминания его вдовы, пианистки Софьи Александровны Станчич. Но жизнь поменяла мои планы...

Как-то мы с друзьями сидели в доме у нашего бывшего одноклассника Славы Орехова, режиссера студии Министерства обороны. Он ушел, чтобы раздобыть камеру и пленку. Это были дни путча. Нами владело неодолимое и страстное желание ехать в Москву, поддерживать Ельцина. На столе стояли две бутылки дешевого вина, их происхождение было запутано и детективно. Телевизор был включен, через каждые полчаса показывали последние известия. По телевизору прыгал волнистый попугай и кричал, не останавливаясь: «Где Горбачев, где Горбачев...» Наконец появился Орехов с камерой, посмотрел на бутылки, на попугая, застрявшего на одной единственной фразе, веско произнес:

— Вот вы здесь пьете, а птичка волнуется. Не стыдно?

— Ты бы еще попозже пришел, глядишь, птичка разучила бы другие слова. Садись, электрички уже не ходят.

Только утром, наскоро ополоснув свои помятые физиономии, выпив крепкого чая, мы отправились в столицу. То было 21 августа, у меня были уже планы: вечером мы с сыном должны были возвращаться в Новосибирск. Отпуск заканчивался, были взяты железнодорожные билеты. В этот же день я предполагал встретиться со скрипичным мастером Анатолием Кочергиным, чтобы показать ему одну скрипку. Встреча эта давно и сложно планировалась,

несколько раз переносилась — пропустить ее было нельзя. Утром мы созвонились. Удивительно, что во все дни путча телефоны не отключались, работали безукоризненно; мастер ждал меня.

Скрипка, о которой шла речь, имела драматическую историю. Показать ее хорошему мастеру просил старинный друг нашей семьи Лев Аркадьевич Бокков. Когда-то он отыскал ее в курятнике у своих родственников в Ярках, когда сына отдали учиться музыке. Бедная скрипка пролежала там, как говорится в сказках, тридцать лет и три года. Инструмент имел жалкий, непотребный вид: верхняя дека была в курином помете, мыши подгрызли изящную эфу и устроили внутри гнездо. Скрипка рассохлась. Слава богу, изумительный темный лак и двойной ус окантовки нижней деки полностью сохранились, сохранилась и этикетка внутри скрипки с именем мастера — Джованни Паоло Маджини. Удивительной была ее головка в виде морды льва с высунутым красным язычком — это был шедевр резьбы по дереву. Известно, что именно Маджини, будучи учеником Гаспара де Сало, славился подобными головками, и именно он был первым, кто наградил скрипку завитком в виде улитки, ставшим классическим для Амати, Страдивари, Гварнери и последующих великих мастеров.

Скрипку эту из германского плена Первой мировой войны принес Тихон, родственник жены Льва Аркадьевича. Он трудился в имении какого-то немецкого князя, крупного землевладельца. По условиям известного Брестского мира восемнадцатого года, всякий пленный получал деньги, чтобы вернуться домой, на Родину. А наш Тихон был большим любителем игры на скрипке — и знал, что у князя огромная коллекция инструментов: скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов. И этот ярковский чудака, каким он и слыл у себя в селе, попросил у князя в оплату дать ему скрипку с такой чудной львиной головкой. И случилось чудо — князь, снисходительно улыбнувшись, снял со стены скрипку и отдал Тихону в руки.

Теперь представьте себе: через всю Европу, через Уральские горы, через Сибирь, до самых Ярков, не пропив, не проев, не промотав, Тихон принес скрипку домой и, говорят, так славно играл, что всем было весело. А в тридцатом году Тишу с отцом и братьями как кулаков-эксплуататоров арестовали и отправили куда-то на север. Скрипочка осталась не у дел: в хозяйстве не годится, продать некому, а выбросить жалко — так она и оказалась в курятнике.

Лев Аркадьевич забрал скрипку, отмыл и понес к мастеру в оперный театр. А мастер сказал:

— Реставрировать не берусь, продай по частям.

Ушлый Лев Аркадьевич подумал, что и свои руки не крюки — сделаю сам. Склеил несчастную скрипочку клеем БФ, склеил по-хозяйски, насмерть, верхнюю деку ошкурил и покрыл мебельным лаком С-4. Гриф перекошило, играть на скрипке было невозможно, а перебрать не получалось — клей держал крепко.

Вот с этой скрипочкой и альтом я двигался через Москву к площади Маяковского, где находилась мастерская реставратора, известного знатока старинных инструментов Анатолия Семеновича Кочергина. Мимо меня с грохотом ползли танки и бронетехника. Люди передавали друг другу: «Уходят, уходят...» Меня дважды остановил патруль, требовали показать, что я несу в футлярах. Убедившись, что там не оружие, а музыкальные инструменты, отпустили, улыбаясь.

Мастерская Кочергина находилась на третьем этаже кирпичного особняка. Небольшая прихожая с зеркалом и часами и просторная мастерская. Больше всего меня удивили не старинные инструменты, частью разобранные, висевшие на стене, а огромный верстак из толстенной доски, абсолютно чистый, без единого предмета на нем. Все верстаки, которые я видел в других мастерских, были заставлены миниатюрными рубаночками, стамесками, засыпаны стружкой и крошками раздавленной канифоли.

— Показывайте своего Маджини, — с живым интересом попросил Анатолий Семенович.

Именно на его хирургически чистый верстак я уже вознамерился водрузить футляр со скрипкой. Но мастер предупредил: «Разденьте скрипочку в прихожей». Смущенный, я отправился в прихожую и бережно раздел Маджини. С надеждой я вошел в мастерскую и сделал несколько шагов. Кочергин, не беря инструмент в руки, брезгливо произнес приговор:

— Фабрика...

— Как — фабрика?! — опешил я.

— Так! Фабрика. Немецкая, очень хорошая фабрика.

Это означало, что скрипку сделал не гениальный Маджини, а где-то в Германии ее сотворили цеховики, возможно, даже по лекалам Маджини: один делал верхнюю деку, другой — нижнюю, третий — обечайки, а кто-то — львиную головку с красным язычком. Самый главный собирал и настраивал деки. Был, конечно, и мастер окраски.

Честно говоря, я не поверил. Все, кто видел эту скрипку у нас в оркестре и даже играл, хотя по-настоящему играть было невозможно, склонялись к тому, что уж если эта скрипка не Маджини, то непременно большого мастера его школы. Обреченно я сказал:

— А вы бы не могли взглянуть на мой альт?

Он посмотрел на часы и нехотя согласился:

— Разденьте в прихожей.

Когда я поднес мой альт мастеру, он буквально начал поедать его глазами. Затем взял маленькое зеркальце на тонкой длинной ручке, которым пользуются стоматологи, и стал что-то рассматривать внутри; потом тонкой гибкой линейкой промерил весь инструмент. Наконец надел на глаз зеркальце с дырочкой, как у лора, и вновь начал заглядывать внутрь. Казалось, скоро он начнет обнюхивать и пробовать альт на зуб. Наконец он поднял на меня глаза и строго спросил:

— Откуда у вас этот инструмент?

Душа моя ушла в пятки. «Черт знает, где раздобыл его Райхельд, а вдруг...» — пронеслось у меня в мозгу.

— Я купил его у Райхельда в Воронеже в шестьдесят втором году.

— У Аркадия Рафаиловича? Это фирма, — мастер как-то успокоился, — он хорошо чувствует старинные инструменты.

— Райхельд говорил, что обменял этот альт на Тесторе у Изи Соловьева из ленинградского квартета.

— Я помню эту сделку. У Тесторе были нарощены бока. Н-да... А вы не хотели бы продать этот инструмент в Госколлекцию? У нас нет ни одного инструмента Прессенда Рафаэля.

— Другого инструмента у меня нет, а этот мне очень нравится, — и я добавил, искушая судьбу, — сколько он может стоить?

— Я думаю, Госколлекция могла бы заплатить что-то в пределах десяти тысяч долларов.

Потрясенный этим неожиданным открытием, я возвращался в Ивантеевку, вспоминая, как после покупки принес альт в мастерские Большого театра. Там работали два пожилых чудных мастера — Морозов и Фролов. Кто из них был Морозовым, а кто Фроловым, я до сих пор не знаю. Помню, один был сухонький, седенький, другой — полный и лысый, они вечно спорили друг с другом о лаках и построении скрипок у разных мастеров. Обычно я приходил к ним чинить смычки и вставлять волос.

В тот раз я попросил их оценить мое новое приобретение. Полный сказал, что это прекрасная немецкая копия. Седенький утверждал, что это подлинный Прессенда Рафаэль — он много их видел. Долго и увлеченно они препирались, разглядывая альт, потом спросили:

— А звучит-то как?

— Очень хорошо! — заверил я.

— Тогда играй на здоровье. Если копия, ты немного переплатил, а если подлинный Прессенда — здорово недоплатил.

На этом мы и расстались.

Дома, у мамы, я застал следующую картину. Перед тарелками с гигантским сизым крыжовником и желтой громадной сливой сидел мой сын Алёша, нехотя выбирая ягоды то из одной, то из другой тарелки — видно, уже налопался. Когда-то и крыжовник, и сливу посадил в нашем ивантеевском саду Толюшка, привезя их из своего Калистово. Мама с Надей очень гордились этими кустарниками и в тот день собирали нам в путь коробку с продуктами: огурчики, помидорчики собственного сада, а еще мама напекла пирожков с капустой — делала она их отменно.

— Ну, видел танки? — первым делом спросил Алёша.

— Вроде уже отходят, народ предрекает конец ГКЧП.

— Да все замутил этот меченый баламут, — зло сказала Надя, — чтоб ему пусто было!

Мать посмотрела на нее осуждающе, но промолчала. Показала нам банку и сама полнобовалась крыжовенным вареньем с вишневым листом, плотно обернула газетой и аккуратно поставила в коробку. Туда же положила палку копченой колбасы из особых семейных запасов, сказала:

— Для Машеньки и Светы.

В магазинах тогда уже было шаром покати. Продавцы в грязных халатах, скрестив на груди руки, мрачно стояли на фоне отрядов банок с огурцами и бутылочек с уксусом.

Меня подмывало рассказать о посещении Кочергина, но родные забрасывали, как обычно перед отъездом, мелочными советами и вопросами. Наконец я выбрал паузу и подробно рассказал об этом визите. Назвал стоимость альта и упомянул о предложении продать в Госколлекцию.

Надя с мамой слушали с недоверием: может ли стоить альт так дорого, пусть даже итальянский... Вывод мамы оказался неожиданным:

— Вот видишь, как хорошо, что вместо пальто мы купили тебе скрипку, — будто вновь переживая тот момент, сказала мама, странным образом связывая стоимость альта и мои успехи в музыке.

— Недаром все мужчины в нашем роду играли, — подтвердила Надя, — все были музыкальными: и Толюшка, и отец его, и дядя Петя, помнишь, на гитаре как здорово играл? А наш дедушка Яков даже завел граммофон... помнишь, Тань, граммофон?

— Помню, помню, — ответила мать. — Куда же он делся?

— По-моему, Петя увез в Калугу. А помнишь, Тань, как мы с нашей мамой ходили к бабушке в Мещовск? Выходит, она Серёжина прабабушка, а уж для Маши и Алёши — прапрабабушка.

— Ну да, — подтвердила мама.

— Ходили-то пешком из Колтенок в Мещовск, двадцать пять верст, а то и больше. Однажды идем, а у дороги сидит какая-то женщина, расчесывает седые волосы, расчесывает и расчесывает. Я испугалась, думала — ведьма.

Мама засмеялась:

— Мне тоже было не по себе.

— А наша мама перекрестилась, достала из торбы вареное яичко и положила ей на колени, а женщина все расчесывалась и кланялась.

— Блаженная, — со вздохом сказала мама, — юродивая.

Я вдруг очень ясно представил тот путь среди холмистых полей и перелесков, деревень и прозрачных ручьев. Мне неожиданно самому захотелось пройти этот путь так же — пешком. Надя продолжала:

— Ходили-то мы босичком: туфельки через плечо — и идешь, ноги в пыли, а как подходим к Мещовску, в речушке вымыли ножки, туфельки надели — и к бабушке в гости.

— А как звали-то мою прабабушку? — спросил я.

Мать и Надя задумались:

— Фрося вроде... — сказала Надя.

— Да не-ет... Фрося — это свояченица бабушки... Анны, кажется. Наша бабушка держала лавку на базаре, торговала нитками, иглками, ножницами, всем для шитья: беечка, тесьма. И окликали ее: Анна, Анна, продай то, продай это.

— Вишь, как память-то... Точно, Анна.

— Если бы заглянуть в мещовские церковные книги, — предположил я, — многое бы можно было узнать о наших предках.

— Да разве сохранились они, — мать с сомнением покачала головой. — В тридцать седьмом, кажется, мы видели, как рушили ивантеевскую церковь, что уж там могло сохраниться... Так же и в Мещовске. Теперь восстанавливают...

— Это какую? Куда бабушка ходила?

— Она ходила в ближнюю — Новоселковскую, а рушили у первомайского клуба.

— Не верю я попам! — отчеканила Надя. — Хорошо помню, как нас, девчонок, отправили в Немерзки мыть церковь перед Пасхой. Мы набрали воды, закатали юбки и давай мыть пол, а тут вдруг священник входит и пялится, какие-то еще слова церковные произносит, а сам все ходит и будто ненароком девчонок расталкивает... Не верю попам.

Несмотря на такое отношение к священникам моей дорогой тетушки, через два года я крестился в старинном Никольском соборе недалеко от Ивантеевки, никому не сказавшись, скрытно.

Путь мой к этому великому таинству был тернист и в достаточной мере путан. В семьдесят шестом я вступил в КПСС. Вступил сознательно, понимая, что иного способа сделать жизнь активной и творчески плодотворной просто нет. Этот путь в те годы избрали многие интеллигенты, если не уходили в открытое диссидентство или в кухонные глашатаи. Кроме того, я надеялся получить возможность работать с документами в партархиве: Станчич и его время все больше увлекали меня. Став же членом партии, я ощутил зависимость и ограничения, о которых не предполагал. Никаких обсуждений общественной жизни — только установки из передовиц газеты «Правда». На партсобраниях решались исключительно хозяйственные проблемы филармонии. ЦК — как тайный орден, остальные — безликая голосующая масса. В восемьдесят девятом году я написал заявление о выходе из партии. Понятно, тогда уже никто не смог бы пригвоздить меня к позорному столбу. Эта легкость выхода меня долго мучила и смущала. Чтобы разобраться в своих чувствах, я написал довольно длинный трактат о мотивах своего вступления и выхода из КПСС.

Кстати, в партархив я так и не попал. В кабинете начальницы, решавшей вопрос моего допуска в архив, я узнал, что, получая допуск номер три, я лишюсь права выезда в заграничные гастроли, а мы как раз готовились к поездке в Югославию. Я предпочел Югославию — родину Станчича, героя моего предполагавшегося романа.

Желание креститься бродило во мне давно, но всякий раз, заходя в церковь, я не мог осенить себя крестным знаменем, ощущая этот акт веры лукавством. В храмах я чувствовал себя любопытствующим туристом. Разглядывал иконы, много читал, стесняясь, осторожно заводил разговоры о сакральном с близкими людьми, особенно с загадочным другом Женей Андреевым. Сделал даже две радиопередачи: одну о квартете Гайдна «Семь слов на кресте», другую — о православной музыке русских композиторов в исполнении новосибирских хоров, включая замечательный хор Вознесенского собора. Но даже

тогда не смог осенить себя крестом и поклониться в храме. Видать, не созрела еще душа моя...

Весть о кончине ГКЧП застала нас в поезде далеко от Москвы. Народ поспорил, порадовался и лег спать с сознанием, что завтра будет лучше, поскольку хуже уже некуда.

Стиль жизни нашей семьи действительно резко изменился, я бы даже сказал, нарушился. В те памятные дни девяносто первого года, когда в заповедных лесах Беловежской пуши народные избранники рвали великую страну на части, я метался по новосибирским магазинам, скупая на занятые у тестя деньги чеснокодавки, часы, фотоаппараты, электрические бритвы — в сущности, сильно залежавшиеся товары. Ко всему этому прибавились пара кирзовых сапог, списанных с военного склада, и с полдюжины старых фетровых шляп, выкопанных друзьями из недр своих шкафов. С этим элегантным коммивояжерским набором я должен был отправиться в Харбин в составе небольшой группы доцентов и преподавателей НЭТИ, среди которых были мои друзья. Они утверждали, что вернусь я сказочным богачом.

Главным препятствием для меня оказались тридцать долларов на таможенную и гостиницу. Я не мог представить себе, где смогу отыскать запрещенную валюту. Руководительница группы отвела меня в сторонку и вполголоса, «сотто воче», как говорят музыканты, прописала мне программу: по какому телефону позвонить, что сказать, как себя вести и сколько это стоит. Не отклоняясь от заданной программы, я позвонил ровно в семь, произнес кодовые слова, получил ответ. Через пятнадцать минут, стоя на пронизывающем ветру у телефона-автомата, набрал еще раз тот же номер, произнес другие кодовые слова и получил другой кодовый ответ, проехал две остановки на трамвае, через триста метров зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и позвонил, как было сказано: три длинных, один короткий, еще два длинных. Открыли, впустили, ждал в коридоре, пока вынесут помойное ведро. Вернулись, завели в комнату, без лишних слов дали тридцать долларов, я отдал свои рубли и еще подождал минуты три; молодой человек еще раз вышел на улицу с каким-то свертком, вскоре вернулся и выпустил меня. Я вышел из подъезда, огляделся и пошел переулками к троллейбусной остановке. Улицы были пустынные, а снег не чищен; спотыкаясь, я кое-как дошел до цели.

Скорый поезд «Москва — Пекин» легко пробивал вихрящуюся снежную крупу. Из окна на сотни километров — только белый-белый снег да редкие будки обходчиков. От этого в купе особенно тепло и уютно. На столике рядом с двумя бутылками водки давно забытая копченая красная рыба, отварная курица с озерками желе во впадинках, много запеченной картошки с золотистым луком. Неожиданно с верхней полки через головы спускают двухлитровую банку квашеной капусты в оранжевых черточках моркови и бусинках клюквы. Мне неловко за этим столом. По устоявшимся оркестровым традициям зарубежных гастролей я взял с собой лишь две банки тушенки, хрустящие хлебцы и с десяток пакетиков кофе. А народ не стесняется, ест и пьет от души — в Китай едут не впервой. Помимо моих знакомых из НЭТИ, физика, историка и математика, — врач-хирург, супруги из Академгородка, биолог и генетик, и тренер по биатлону. Компания сбитая, все давно и хорошо друг друга знают. Только я здесь новенький, потому ощущаю ненавязчивое внимание. Биатлонист взялся обучать меня считать юани. Зажимаешь тремя пальцами, переламывая через указательный, и подлистываешь большим — хочешь — юани, а хочешь — доллары или рубли. Чувствуешь, что прогораешь — переверни и опять пересчитай.

Руководительница группы Людмила Шарипова достала из-за пазухи правые комочки с черными мордочками и пустила на одеяло. Породистые щечки ползали по шерстяным волокнам, тычась друг в друга мордочками.

— Золото! — восхитился археолог.

— Довезешь? — с сомнением спросил хирург.

— Чуть-чуть подпою и довезу — завтра таможня, потом можно по настоящему покормить.

— Китайцы могут прямо в поезде купить, — подсказал биатлонист.

— Нет, — улыбнулась владелица щенков, — здесь отдают по дешевке, нужен аукцион.

— Ну, а ты что везешь, музыкант? — спросили меня.

— Как советовали знатоки, — ответил я, предполагая новый урок. — Весь джентльменский набор, от чеснокодавок до часов... правда, прихватил пару кирзовых сапог.

— Ты смотри — ловкач, — сказал биатлонист. — А мы все шинели везли.

— А портянки захватил? — насмешливо спросил хирург. — Без портянок некомплект.

— Портянки еще надо учить наворачивать, а в консерваториях, наверное, этому не учат.

Пока я искал достойный ответ доброму биатлонисту, в разговор резко вмешалась генетик:

— Пока вы там в футбол гоняли да портянки наворачивали, Сергей мучился над этюдами, гаммами и концертами. Я сама окончила музыкальную школу и два курса училища, знаю. А потом вот угораздило в генетики.

— Жалеешь? — спросил биатлонист.

— Нисколько! Жалею только, что вместо прямых наших дел вынуждены челночествовать, чтобы спасти семьи. И еще неизвестно, с чем вернемся. Дай бог, здоровыми и с прибылью.

— Дай бог, дай бог! — повторили все.

На вокзале в Харбине мы наняли рикшу на мотороллере с грузовой коляской. Он явился из морозного воздуха на трещащей каракатице, весь в парах выхлопных газов, и сразу же заявил:

— Сляпы, сляпы, нада сляпы.

Я потянулся к рюкзаку, чтобы тут же избавиться от коллекции проклятых шляп, но меня остановили: «Не загоняй, здесь они самые дешевые, завтра продашь на базаре».

За полтора дня, лучше за день, требовалось продать все добро, купить товар и отчалить домой. Товар — это главным образом пуховики и мохеровые кофточки. В Новосибирске они разлетались как горячие пирожки. На всю челночную поездку всего пять дней — каждого ждала работа.

В шестом часу утра мы уже двигались к базару. Дул холодный встречный ветер с запахом копоты.

«Господи! — думал я. — Для чего я встрял в эту нелепую авантюру? Корысть одолела или в самом деле жить невмоготу? Только что отыграл трудный конкурс в оркестре. Увидели бы меня оркестранты сейчас...» Меня аж передрнуло от такой мысли.

Базар являл собою широкую улицу, огражденную двумя огромными кострадами. Уже на подступах множество навязчивых китайцев цеплялись, требуя что-нибудь продать, хотя торговля здесь была запрещена. Нужно было дойти до базара и встать на свободном месте. Не предлагать купить все сразу, только последовательно. Товар не идет — спрячь, покажи другой. Не связываться с оптовиками, каких бы соблазнительных предложений они ни выдвигали... Через некоторое время подойдет дежурный, потребует деньги за место. Если юани уже наторговались, нужно сейчас же заплатить и получить билетик.

Я довольно быстро расторговался и уже считал юани, как учил биатлонист. Он сидел метрах в двадцати от меня на своем чемодане, торговал мехами. Видно, торговля шла не шибко. Мы встретились взглядами, он крикнул:

— Новеньким везет! Привез одну кирзу, а уже пачки пересчитывает.

Я вошел в такой коммерческий кураж, что продал с себя довольно модное зимнее пальто, оставшись в одном свитере и шапке из коричневой каракульчи. Эту шапку несколько раз подходил выторговывать пожилой китаец. Я повторял: «Шестьдесят юаней». Китайским числительным меня научили еще в поезде. «Цюдо, цюдо», — повторял он, предлагал пятьдесят юаней и отходил, а потом вновь подходил и все твердил: «Цюдо, цюдо».

— Конечно, чудо! — говорил я с гордостью и проводил пальцами по завиткам. Потом узнал, что «цюдо» по-китайски означает «старье».

И тут я увидел Люду, идущую ко мне.

— Пошли в универмаг, оденешься, не то простудишься.

И мы уже пошли, когда нас догнал тот самый китаец и, согласно кивая, указал на шапку: «Шестьдесят, шестьдесят».

В универмаг я вошел... как чемпион после звездного финиша — без шапки и с огромной золотой медалью на шее, иначе говоря, с пачками юаней по карманам.

Когда выбрали пуховик с капюшоном, я не мог себе отказать в китайской фарфоровой вазе: большая их компания, искусно расставленная, красовалась на полке. В качестве заслуженного кубка для себя выбрал самую большую, с райскими яркими птицами на одной стороне и двойным столбиком иероглифов на другой. На вокзале, перед возвращением, эту надпись перевел образованный китаец, с которым мы познакомились: «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начала поступков».

— Это известное выражение Лао Цзы, — пояснил он.

Назад возвращались на перекладных, так дешевле: китайская электричка до границы, где постоянно плюют на пол и безбожно сорят, по проходу метался полураздетый китаец со шваброй, что-то подтирал и подмывал безостановочно.

— Тоже челнок, — горько пошутил биолог.

— Сравнил! Что с чем — догадайся, — сказал биатлонист и засмеялся.

Остальные мрачно промолчали.

И вот граница. Еще длится ночь. Китайские крикливые таможенники. Нужные подачки сделаны, нас должны пропустить, но опасения гнездятся под ложечкой. Но вот и штамп в паспорте; люди с баулами и чемоданами бегут к вагонам. Там уже мечутся огоньки зажигалок, номеров не видно. Болтающаяся на ветру тарелка фонаря освещает лишь саму себя. Где-то вдалеке пыхтит паровозик, такой у нас раньше называли «кукушкой». Протискиваемся по темному вагону, все места на полках уже заняты, падаем на свои вещи, поскольку дальше идти некуда, и так лежим около сорока минут: ждем, когда все вагоны загрузятся, подобно селедочным бочкам. Пронзительный свисток паровоза — тронулись. За окнами в чахоточной мути рассвета проплывают призраки телеграфных столбов.

Через полчаса — родина. Небольшая освещенная станция. Под ноги приезжим летят петарды, их бросают мальчишки и разбегаются. Мы предупреждены, идем «свиньей», треугольником, как псы-рыцари, женщины — в середине; вещей не бросаем — кто дрогнет от страха и бросит, лишается их: какие-то мужики хватают сумки и убегают, оставляя лишь крики и вой жертв.

Теперь такси до Уссурийска — несколько десятков километров; из-за тюков невозможно продохнуть. Затем поезд до Хабаровска и самолет до Новосибирска.

В девять тридцать я был уже на репетиции, перебирая в памяти приключения; вазу все-таки довез! Образумит ли меня выражение Лао Цзы о мыслях и поступках... И тут, как на грех, потянувшись неловко к нотам, ударил кончиком смычка по металлической стойке пюпитра. Щелчок — и волос мотается плетью. Кто-то из скрипачей передал мне запасной смычок.

В антракте я подошел к нашему признанному мастеру, контрабасисту Владу Батемирову. Он с сомнением посмотрел на смычок, с неохотой взялся починить: второй, запасной смычок необходим. Если оправдается моя китайская поездка, нужно будет поднатужиться и купить приличный смычок. Но у нас их почти никто не делает, там требуется бразильский фернамбук. И тут я вспомнил Райхельда: когда-то у него была отличная коллекция смычков. Теперь он живет в Москве; скоро у нас гастроль в столице, обязательно зайду к нему.

Пока Света готовилась повторить мой китайский подвиг, чеснокодавки из наших магазинов испарились, теперь в Пекин летали чартерными рейсами, налегке, с долларами, купленными в кассах или у валютчиков, стоявших по всем базарам. Челночный бизнес цивилизовался. Но нужно было отыскать свободное «окно» в исследовательском институте, где работала Света, и затем еще реализовать товар.

К Райхельду я приехал после репетиции в Большом зале Московской консерватории. У меня было не так уж много времени до вечернего концерта. Дверь мне открыла Зоя, жена Райхельда. За двадцать пять лет, что мы не виделись, она почти не изменилась, только чуть погрузнела.

Аркадий Рафаилович сидел в большой комнате среди своих любимых инструментов, занимавших все стены, в кресле, за длинным низким столом, уставленным отрядами пузырьков и коробочек с лекарствами. Здесь же стоял будильник и лежали две странные скрипки-маломерки. Райхельд сильно поседел, но глаза были такими же живыми, особенно когда он смотрел на инструмент. В них появлялось что-то вроде электронного табло со стремительно бегущими цифрами и графиками. Я много раз это наблюдал и даже пугался. Как и много лет назад, мизинец его правой руки обвивала платиновая змейка с золотой короной и глазком — зеленым изумрудом. Беря в руки альт или скрипку, он оттопыривал мизинец, боясь поцарапать лак.

— С чем пожаловал? — приподняв бровь, спросил Аркадий Рафаилович.

— Нужен хороший смычок.

Он ответил не сразу, в глазах забегали циферки.

— Видишь батарею лекарств? Гомеопатия. Принимаю через каждые пятнадцать минут. Чувствую, долго не протяну. Что будет с моей коллекцией?.. Ни жена, ни дочь в этом ни черта не понимают. Профугуют на тряпки — и нет коллекции. А я, посмотри, собирал квартетами, ансамблями... Видишь, две скрипочки лежат? Считай, это еще не скрипки, а виолы, даже струны старинные жильные. Мне их недавно принес экскаваторщик. Рушили дом, обнаружил в колонне замурованными, в соломе и деревянных ящиках. Теперь забота, где найти для них в компанию церковный бас... Не зна-аешь... — покачав головой, покровительственно заключил он.

Я ждал.

— Возьми со стены вон ту скрипочку в левом ряду, светленькую. Это Вильем. Звук почему-то погас. Хочу подвигать дужку.

Я аккуратно снял скрипку.

— Вот тебе два альтовых смычка Климова, — он выудил из рядом стоящей старинной вазы с букетом смычков две трости и положил передо мной. — Выбирай! Прекрасный фернамбук, остатки моего трофейного. Я заказывал Климову, пока он не запил. Взгляни на грань — стеклышко... а носик, какой изящный! Лувр задыхается от зависти.

Я взял один из смычков и только успел поиграть на скрипке, как он отобрал ее, ловко опустил струны и специальной вилкой начал двигать дужку, оттопыривая мизинец со змейкой.

— А теперь возьми другую, в соседнем ряду. Тоже Вильем. Хочу сравнить их.

Двигать дужки и подставки — патологическая страсть Райхельда. Он это проделывал даже в паузах, когда мы с ним работали в воронежской опере. Ему постоянно казалось, что звук не в фокусе, надо что-то срочно предпринять. А когда вдруг получалось, он радовался как младенец.

Время стремительно утекало, а мы все копошились с дужками: я толком не мог опробовать и выбрать смычок, но уже склонялся к более тяжелому.

— Аркадий Рафаилович, у меня времени в обрез. Сколько вы хотите за этот смычок? — я показал ему граненый.

У Райхельда опять забегали циферки в глазах. Неожиданно он спросил:

— А ты-то на чем играешь?

— На том самом альте, который у вас когда-то купил. Помните? На нем играл Изя Соловьев. Прессенда Рафаэль.

— Покажи.

Я посмотрел на часы: минут тридцать у меня еще было. Достал альт и начал играть «Арпеджионе» Шуберта.

Доиграл до половины первую часть и твердо спросил:

— Так сколько вы хотите?

— Я отдам тебе его бесплатно. Продай мне альт. У меня есть очень милая скрипочка Прессенда Рафаэля, вон она висит, темненькая, будет прекрасная пара для «Концертато» Моцарта. Я даже верну тот золотой ключик от часов, который у меня сохранился. Его дочка моя носила на шее, но безуспешно. Я дам хорошую цену. Продашь?

— Нет! — резко сказал я. — Скажите, сколько стоит смычок!

— Двести пятьдесят долларов, — как-то отчужденно произнес он.

Я усмехнулся:

— Откуда в Сибири такие деньги за смычок малоизвестного мастера?

— Ну! Ты научился торговаться. По старой дружбе пусть будет двести. Но будет туго, вспомни старого Райхельда, я куплю твой альт без разговоров.

Провожая меня, у самой двери вдруг сказал:

— Хочешь, поменяемся? Отдам тебе прекрасный альт Подгорного, густой баритон, пробьет любую толщу оркестра. Согласись, у Прессенда камерный звук... — подлил он немного яду.

— Подумаю, — сказал я, не желая обижать сумасбродного коллекционера. Впрочем, альты Подгорного мне очень нравились.

Продвигаясь по московским улицам к Большому залу консерватории, я с нетерпением предвкушал, как притронусь новым смычком к своему дорогому Прессенда Рафаэлю, и вспоминал выражение лица тети Мани, когда она передавала мне золотой ключик. Для нее это была прекрасная и возвышенная жертва, а я, беря его в руки, пытался сдержать свои бурные восторги, помня завет бабушки: «Не радуйся громко, кто-то в этот же миг на Земле плачет». Многожды я убеждался: полюса радости и печали меняются чаще, чем нам бы хотелось. Играя в тот вечер Шестую симфонию Чайковского, не мог отделаться от образов моих близких, уже невозвратно ушедших: Костиных, Кобелевых, Кручининых, Решетиных, Кузиных, Ивановых... Душераздирающий финал этой симфонии у многих слушателей и исполнителей вызывает слезы — все молчат какое-то время, не аплодируя. Так было и на этот раз.

Я твердо решил: приеду на отпуск в Ивантеевку, где одиноко жили мама с Надей, непременно отправлюсь в Троице-Сергиеву лавру помянуть своих предков, братьев и сестер, рано ушедших.

Тем временем я начал сотрудничать с туристической фирмой, через которую Света летала в Пекин. Организуя концерты в Китае сначала с квартетом, потом с баянистами, я готовил гастролы военного ансамбля и балета театра. Света начала мне помогать. Челночные деньги мы отдали в рост, одновремен-

но взяли в долг под меньшие проценты: для организации концертов в Китае требовались немалые деньги.

Мы не заметили, как начался кризис. Челночники чрезвычайно затоварили рынок, у населения стремительно падала покупательная способность. Сначала нам перестали отдавать проценты, затем объявили, что деньги, взятые у нас займы, вернуть не смогут. Что делать с долгом, на который стремительно нарастали проценты, мы просто не знали. Только квартира могла его покрыть.

За обучение Алёши в институте, за Машину музыкальную школу требовалось вносить очередную плату. Света начала писать докторскую. Мы оказались в тупике. Спасением мог стать только альт.

Я позвонил Райхельду. Зоя мне печально ответила:

— Аркадия Рафаиловича больше нет. Через три дня сорок дней...

В Госколлекции сообщили, что конкурс на закупку инструментов состоится только через два месяца, но и он под большим сомнением: проблемы финансирования.

Я заметался, уже не думая, что продаю бесконечно дорогое моей душе.

Когда я возил квартет «Филармоника» в Пекин, квартетисты уговаривали меня продать Прессенда Рафаэля их альтисту Володе Копылову. Тогда я не соглашался, теперь же предложил Володе купить мой альт. Мы договорились о рассрочке на полгода, кроме того, его альт Мартина Ерицяна переходил ко мне.

Какие душевные муки я претерпел до продажи и после, лучше не вспоминать. В антрактах Прессенда лежал на соседнем ряду, но принадлежал теперь Копылову. Я ни разу не попросил деликатного, все понимающего Володю взять альт, чтобы вспомнить ушами, плечом и пальцами все волшебство его живого существа. Мучился своей греховностью: я предал, а он меня спас.

В Ивантеевку я приехал в июле. Мать с Надей все еще копошились на даче, ездили чуть не каждый день — выращивали кабачки, лук, чеснок да салаты. Фрукты и ягоды росли сами по себе.

В лавру я поехал 18 июля, как раз на день Сергия Радонежского, к вечерней службе. С электричкой немного не угадал: молебен в Троицком соборе, где находятся мощи святого, уже начался. День был душный, все двери в притворах открыты настежь.

Прямо с электрички я зашел в боковые двери собора, радуясь, что не пришлось обходить часовню, чтобы попасть к центральному входу. Молящихся было много. Казалось, от светлых риз и темных ликов икон, освещенных множеством свечей, идет пахнущий воском жар. Душа наполнялась благостью; я шел к своему святому, слышал стройный хор, но не успел разобрать слов, как от группы молящихся отделился бородатый человек с медной лысиной: читал, что такая была у Николая Чудотворца. Он строго и даже зло начал мне выговаривать, что в боковые двери на службу не входят, что я должен обойти собор и часовню и войти с главного входа.

Я почувствовал себя изгнанным из храма. Но смирился и вошел через главные двери, крестом себя не осеняя — не мог преодолеть греха неверия. Стоял, слушал пение, рассматривал иконостас и молящихся. Вдруг увидел пробирающегося ко мне того самого бородача с медной лысиной. Он подошел и тихо сказал:

— Прости меня, брат! Давай помолимся вместе, — и обнял меня, и трижды поцеловал. И с меня легко спали нелепые запреты, я осознал себя в общине тех, кто сейчас в храме, кого уж нет в живых, и тех, кто придет за нами...

Теперь, прежде чем принять крещение, мне предстояло осуществить некое паломничество — повторить путь, много раз пройденный пешком моей

бабушкой Александрой Яковлевной со своими детьми Таней и Надей — от Колтенок до Мещовска — в гости к матери и многочисленной родне. И вновь пешком — от Мещовска в деревню, домой.

Я решил только на вторую половину пути — от Мещовска до Колтенок.

Дорога моя лежала через Калугу. Еще в электричке сердце мое щемило: какая она, дорогая мне Калуга, встречу ли я кого из знакомых? Вспоминалась Наташа...

Первым делом отправился к училищу. Зданье обветшало и было закрыто, рядом — кучи известки; никого нет, каникулы. Окно, под которым я обычно стоял, поджидая Наташу после ее занятий, разбито камнем. Зияет большая круглая дыра. Прежде чем выходить, она всегда выглядывала в окно: на посту ли я, и улыбалась, увидев, что я на месте. Выйдя, возбужденно рассказывала о каком-нибудь пассаже, который, наконец, отлично получился...

Парк неухожен. Липу, рядом с которой Дагаев играл этюды Блажевича, спилили — торчит безобразный пенек. Я прошел весь парк до самой Оки, надеясь высмотреть тот земляничный остров, который мысленно называл *Наташиным*, но вид речных далей перекрывал новый мост, конструктивно напоминавший новосибирский Коммунальный. Ока сильно обмелела, появились плесы-зальсины, она перестала быть судоходной.

По Кутузова я спустился к площади Торговых рядов. Здесь начиналась улица Красная Гора, красовалось новое монументальное административное здание, все старые дома до самой Оки были снесены. Открывался воистину левитановский пейзаж.

Левая сторона улицы полностью сохранилась. Я подошел к бывшей скульптурной фабрике. За забором уже не стояли девушки с веслами и одинаковые торсы вождей без голов. Теперь здесь валяли надгробья из мрамора и гранита, церковь еще больше наклонила свою маковку в ржавых дырах, будто скорбящий пожилой человек над своими погибшими неразумными чадами.

Меня тянуло во двор дома, где мы дружно жили с Кобелевыми — дядей Колей, тетей Юлей и их дочерью Ларисой. Здесь я мог часами заниматься на инструменте, никому не мешая. Лора и дядя Коля целыми днями работали, тетя Юля возилась на кухне, стены и перегородки были основательны — монастырские все же. На столе всегда ваза с яблоками или стакан молока с ломтем батона, поставленные заботливой тетей, и открытая книга, которую я читал в перерывах между утомительными упражнениями на скрипке. Духовные радости перемежались с плотскими.

Ни тети Юли, ни дяди Коли давно не было в живых. Лора одиноко проживала в своей квартире на другом конце города.

Неширокий проход во двор перекрывали две женщины, остановившиеся поболтать. Одна с китайским клетчатым баулом на раздвижной коляске, другая — с сумкой, из которой торчал хлеб. Откуда-то с диким лаем выскочила злобная собачонка, норовя ухватить меня за ногу. Я посмотрел на женщин, пытаюсь понять, их ли эта собака, но они только бросили на меня неприязненные взгляды и отвернулись — мол, ходят здесь всякие, а потом вещички пропадают. Злобная собачонка не унималась. Я поднял камень и замахнулся, но собачка, проявив отчаянную отвагу, решила зайти сзади. Я топнул на нее ногой, чтоб уж совсем не выглядеть побежденным, и пошел прочь, сознавая, что все на свете временно и никакие воспоминания не способны возродить волнующее прошлое. Прежде жили монахины, потом дядя Коля с семьей, теперь... Необъяснимо отвратительными мне представлялись незнакомые люди, сейчас заселявшие бывшую квартиру Кобелевых. Бедный святой дом! Что будет с ним дальше...

Целый день я бродил по памятным местам Калуги. Следы купечества и дворянства, более или менее сохранявшиеся при советской власти, казались затертыми неряшливостью сплошного базара. Правда, были восстановлены несколько церквей. Я зашел в одну, но служба уже закончилась. Староста сказал, что закрывает храм, и я вышел.

В маленькой квартире Лоры было тесно от старых вещей и скучно: жидкий чай и хлеб, немного кефира. Хорошо, что по дороге я купил запеченную курицу и связку бананов. Лора сейчас же вызвонила свою двоюродную девятилетнюю внучку на этот «сказочный пир». Как же расти и набирать силу моей юной родственнице?..

Весь вечер мы проговорили о *наших* — молодых и старых, живущих и ушедших... Лора рассказала, что в Мещовске еще живы две ее родные тетушки, но она их давно не навещала: сил нет. Я попросил адрес, Лора долго искала письма, но не нашла, лишь объяснила, как дойти до их дома.

— У самой реки, — сказала она.

Рано утром я уехал в Мещовск автобусом. Смотрел из окна на перелески, выщербленный асфальт дороги, плохо обработанные сорные пшеничные поля. Печальные и нежные русские пейзажи...

На одной из остановок вошли несколько человек, расселись на свободные места. Рядом со мной оказалась женщина лет пятидесяти. Познакомились. Учительница из Мещовска. Ездил к дочери помочь продать мясо коровы — сена для нее не смогли накопить — да засолить огурцы и грибы. Муж ее после Афгана лежит, отвернувшись к стенке, молчит, помощник никакой.

Я рассказал, что путешествую по местам своих предков — Кобелевых, Костиных, Кручининых. Она с интересом и некоторой завистью посмотрела на меня.

— Я бы тоже хотела узнать, откуда сюда пришли наши предки. Бабушка говорила, мол, из Речи Посполитой. Я копалась-копалась в краеведческом, так ничего и не нашла. А вот один год, — сказала она, — у меня была чуть не половина класса Костиных и Кобелевых. Эти фамилии очень распространены в Мещовске. В старину Мещовск был не такой простой город, — продолжала она. — От нас две царевны: Евдокия Лукинична Стрешнева — жена Михаила Федоровича Романова, первого из вступивших на престол Романовых, а другая — Лопухина Евдокия Федоровна, первая из жен Петра Великого. Да, много тут чего интересного — хоть Оптина пустынь, хоть Свято-Георгиевский монастырь. Совсем рядышком, за речкой Туреей. Туда еще моя бабушка ходила к могиле Андрея Юродивого, лечиться.

— Лечиться? Как?

— Просто. С молитвой проливали воду через его топорик, так и лечились.

— Помогало?

— А как же! Многим. Известно: по вере и елей. Не знаю, правда, хранится ли сейчас этот топорик.

— Вы верующая? — задал я нескромный вопрос.

— Честно?

— Честно.

— Сомневающаяся, но по большим праздникам езжу в пустынь. Был у меня один случай... — она вдруг заторопилась. — Да мне надо выходить уже. Приехали, Мещовск.

Мы остановились у двухэтажного кафе. Она вышла, а я решил ехать до конечной, до Благовещенского собора.

До собора не доехали метров сто, остановились у большого дощатого сарая. Рядом на лужайке сидели люди с корзинами и мешками, полными грибов. Я подошел. Выяснилось: приехали сдавать свою лесную добычу, а кладовщика нет.

— Да где-то гуляет, — сказали мне.

Колокольня Благовещенского собора высокая, беленая, с действующими часами-курантами наверху. Помнится, в детстве я слышал, будто бы здесь служил какой-то наш дальний родственник по линии первой жены моего деда Ивана Семеновича. В тридцатых его арестовали, как многих священников. Никто из наших не помнил его имени. Я надеялся на память тетюшек Лоры. Сверил свои часы с курантами. Башенные отставали на семь минут. Немного постоял, полюбовался собором и пошел дальше, к реке.

На скамейке у забора сидели два мужика. Между ними немудреная закуска на газетке: огурцы, помидоры, два яйца.

— Не, не придет, — сказал один другому, — жена денег не даст. Э, мужик, — обратился он ко мне, — третьим будешь?

— Да нет, у меня дела, спасибо.

— У всех дела. Я стенку кладу, а он грибы принимает.

— А! Так это вас народ ждет.

— Ждет-подождет, — ответил он, — целыми днями несут одно червье, человеку позавтракать не дадут.

— Да. Ноне много грибов, кабы войны не случилось.

— А ты что, воевал?

— А ты что думал, два пальца на правой — об асфальт, что ли? Те, кто поближе был к mine, на нас с небес смотрят и думают: че это они бутылку не могут поделить пополам, не заслужили, а?

— Мужики, скажите, где-то здесь две старушки-сестры живут, Кобелевы...

— Не. Не знаем. Мы нездешние. Вон бабушка идет через дорогу, у нее спроси.

Я быстро нагнал женщину.

— Простите, пожалуйста...

— Ой, милоч, спичек у тебя не будет? Все переломала, а зажечь не смогла. Что за спички! Раньше не ломались. Иду к соседке просить.

— Есть у меня, охотничьи, — я достал спички.

— Ой какие! Может, ты мне зажжешь? Дочь прячет от ребятишек, уж больно шкодливые.

— Идемте, — согласился я.

Изба была сумрачной, пахло кислым. Так иногда бывает в домах, где есть газ.

— Газ-то у вас не протекает? — спросил я. — Что-то пахнет кислым.

— Нет. Это на дереве плесень, грибок завелся. Забеливаем, да без толку.

На чисто выбеленной стенке висела рамка с мелкими разнокалиберными фотографиями, как принято в крестьянских домах.

— Скажите, — спросил я женщину, — вы не знаете здесь двух старушек — сестер Кобелевых? Живут где-то у реки.

— Не-е... На нашей улице нету. Может быть, там, за церковью.

— А здесь, на фотографиях, все ваши родственники?

— Все родственники, Суворовы. Раньше-то были Суворкины... — Я насторожился: много Суворкиных жило в Колтенках. — Да отец после революции взял и поменял фамилию. Теперь Суворовы. Муж-то моей дочери, правду сказать, Кобелев, да такой беспутный, уехал куда-то в Сибирь алмазы копать.

— Ну, значит, вернется богатым.

— Богатым, — сказала она с усмешкой, — и еще на бутылку попросит.

— Здесь есть его фотография?

— Нет. Кто-то вырвал: то ли дочь, то ли ребята. Так-то парень видный, и начинали хорошо, а потом эта проклятая коммерция: забегали, засуетились, выпивать крепко стали, без большой деньги не может, но все по ветру.

Я распрощался, перешел улицу и оказался у старой, вросшей в землю по самые оконца церкви. Ориентиры, данные Лорой, не совпадали с тем, что я видел вокруг. Возможно, слушая ее, был я слишком самонадеян.

По деревянным ступеням спустился вниз, тронул двери — они были открыты. Вошел и удивился обилию света в этом небольшом уютном храме. Солнце будто специально заглядывало в него. Служба, видимо, давно кончилась, пожилой маленький священник что-то обсуждал с двумя женщинами возле алтаря. На меня они не обратили внимания. Я отыскал икону Сергия Радонежского и несколько минут постоял у нее. Свечи не стал просить, положил рядышком деньги на обустройство и ремонт храма, отправился к реке Турее, раздумывая, что же мне делать дальше, как отыскать родственниц.

Увидел на берегу мостки, хотел было искупаться, но передумал, разулся и опустил ноги в ласковую прохладную воду. Рядом ивы купали свои вислые ветви в темной воде. На том берегу лежало стадо; время шло к полудню. Через некоторое время появились две женщины с тазами, стали полоскать белье. Я подвинулся. Пришла и третья, посмотрела на меня с немым вопросом: кто, мол, такой, и тоже начала полоскать белье.

Вот так же, вероятно, и моя прабабушка приходила сюда с бельем. Так же засучивала рукава, подбирала юбки, так же выкручивала огромные полотнища, но бросала в деревянную бадейку, какие я видел в музеях. Скорее, приносила две бадейки на коромысле — детей-то было много. Пытался представить ее лицо... много бы отдал за такую возможность.

Полоща, женщины о чем-то переговаривались, пересмеивались — за плеском воды не разобрать, да я и не хотел. А они поглядывали на меня, будто невзначай.

Спросил:

— Я вам не мешаю?

— Не-е, — протянула одна, — раков-то наловишь — поделись.

— А что, раки водятся?

— Раки водятся, мужиков нет. А ты-то откуда? — спросила самая бойкая.

— Я издалека, из Сибири, хочу отыскать тут дальних родственниц. Две пожилые сестры Кобелевы, живут у реки, точного адреса не знаю.

— Нет, не знаем, — посоветовавшись, ответили они. — На горушке живут два брата Кобелевы — может, они знают...

— Как их зовут?

— Одного-то Терентий, а другого... Кузьма, кажется.

— Да-да, Кузьма!

Я собрался и пошел к дому, на который они указали. Дверь в высоком заборе оказалась открытой. Для приличия звякнул металлическим кольцом и вошел.

Мужик лет шестидесяти с красным карандашом за ухом тесал большое бревно.

— Здравствуйте! — громко сказал я.

Мужик взглянул на меня и весело ответил:

— Здорово!

— Вы Терентий?

— Не, я Кузьма. Терентий в следующем доме. А что надо-то?

— Да я хотел с вами поговорить...

— Ну говори...

В доме открылась дверь и выглянула женщина в пестром фартуке — должно быть, жена Кузьмы.

— Ты че остановился-то?! — выкрикнула она писклявым голосом. Мне это напомнило часы с кукушкой.

— Поговорить надо, — досадливо ответил Кузьма. Дверь тут же захлопнулась.

Я поведал Кузьме историю моих мещовских предков и спросил, не знает ли он пожилых сестер Кобелевых. Может, и он является моим дальним родственником...

— Нет, — сказал он печально, — узелков таких у нас с тобой нетути. А ты-то кто будешь?

— Я музыкант из Сибири.

— Да ну?! — удивился Кузьма. — Щас я тебе трубу покажу.

— Долго еще? — в двери показалась «кукушка».

— Долго! — обрезал мужик и быстро зашел в избу, что-то рывкнув жене.

Он боком начал выволакивать огромный блестящий предмет. Лицо его было натужно, но сияло радостью. Чуть присев, он развернулся и, как штангист, выжал над головой сияющий колесообразный геликон, похоже, созданный для былинных богатырей.

— И больше не заноси! — визгливо выкрикнула вслед «кукушка» и хлопнула дверь.

— Дядька мой работал в пожарной команде, играл на этой штуке, — отдышавшись, сказал Кузьма.

Я стал рассматривать инструмент, он почти полностью сохранился, только в двух местах был аккуратно запаян овальными заплатками.

— А мундштук-то имеется?

— Есть, есть, — он с готовностью выпутал из кармана брюк огромный, как чашка, мундштук, протер его краем рубахи и промыл водой из металлического чайника, стоявшего на дощатом столе.

В детстве я посещал духовой кружок, кое-чему там научился, даже ходил с духовой альтушкой на демонстрации: играл марши. Сейчас, пожалуй, мог бы сыграть гамму и пару легоньких мелодий.

Я вставил мундштук и по старой привычке прилепнул его ладонью — по всему инструменту прошел характерный мощный гул; проверил педали: они работали легко, будто только что были смазаны. На раструбе обнаружил производственное клеймо: «Zimmerman». До революции это была знаменитая на всю Европу петербургская фирма. Несколько раз дунул в инструмент, прочищая его легкие от пыли. Геликон отозвался вибрирующим гулом, запахло окисью меди. Облизав губы, приложился к мундштуку, набрал в легкие воздуха, поджал кончик языка зубами — и извлек первый звук!

От великой радости Кузьма шлепнул себя по коленям и уселся на бревно, слушать.

Я честно проиграл гамму, набирая воздух после каждого звука.

Кузьма уперся локтем в колено, подперев голову ладонью — ему нравились низкие вибрирующие звуки.

Я сыграл трезвучия, потом рискнул произвести «Во поле береза стояла» — и чуть было не осрамился: дышалки не хватило. Покрылся холодной испариной и мог бы упасть в обморок, но на «люли, люли стояла» закончил — в глазах было темно.

— Долго вы тут? — из-за двери выскочила «кукушка».

— Заткнись! — грубо сказал Кузьма. — Дай музыку послушать.

Пришлось играть, коли публика требует. И я сыграл веселого «Чижика», но очень медленно, потому грустно.

— Щас бы того... — Кузьма мечтательно щелкнул себя по горлу.

У меня в сумке лежали две бутылки питьевого спирта: по России нельзя перемещаться без подобной валюты. Несколько посомневался, стоит ли выставлять, ведь придется и самому пить... Но сомнение сомнением, а дело — делом.

— Есть у меня спирт, отолью стакан.

— Давай, только один-то ведь я не пью... — Он ополоснул стакан и поставил передо мной.

— Чевой-то? — выскочила цветная «кукушка». Похоже, она все время стояла за дверью. — У тебя ж язва!

— Точно, язва, — сказал Кузьма, — вот мы и будем ее лечить. А чем еще-то язву лечат?!

Мы выпили.

— Ты забирай его, — подобрел Кузьма.

— Да ну, мне ж идти двадцать пять километров до Шлиппово, потом еще четыре — до Колтенок. Примут за сумасшедшего.

— А я бы пошел, если б умел играть. Пусть бы все смотрели и радовались.

— А что строишь-то? — спросил я.

— Да вот... Скоро сын вернется из армии, надо дом приподнять, пристройку соорудить: жениться вроде надумал. Да материала нет... Где бревно, где дощечку добудешь, то хитростью, то сквалыжничанием... а иначе — никак. Плесни-ка ишшо!

Я налил немного.

— Кузьма! Я тебе оставлю бутылку, а ты мне сохрани геликон. Через год я вернусь и куплю его. Нам бы в оркестр его. Ну... до свидания, Кузьма.

— До свидания, — голос его дрогнул, он обнял меня. — А может, и в самом деле — родня, — произнес он задумчиво.

— Чево не взял-то? — поинтересовалась «кукушка».

— Через год заберет, — твердо объявил Кузьма.

От дома Кузьмы я пошел по указанной им дороге в Шлиппово: до мельницы, где у разрушенного сруба валяются жернова, потом на узкую гравийную дорогу до сажелки, а уж потом до самого Шлиппово, по грунтовой. «Самый короткий путь», — объяснил мне Кузьма. И я шел.

Дорога оказалась не такой романтической — все какие-то болотистые места да мелкие кустарники. Иногда среди травы появлялись птички, похожие на куличков, мелькали за осоками, — скучная дорога.

Когда я представлял, как ходит моя бабушка со своими дочерьми по этой дороге, мне почему-то казалось, что они минуют ручьи и тучные поля, и перелески, небольшие взгорки, с вершин которых можно увидеть дальние деревни с колокольнями... Ничего этого не было и в помине. Один лишь раз мимо меня прошла грузовая машина. У меня появился соблазн остановить ее и проехать часть пути, но обет — проделать путь пешком — заставил отказаться от этой уловки. Машина обдала меня горькой гравийной пылью и уехала, оставив длинный и не оседающий бурый густой шлейф.

Одиноко шагая, я не знал, чем себя развлечь: неожиданно возникающими в памяти обрывками стихов, песнями ли, недавно игранной музыкой... Дорогу, виляющую, как пьяная баба, я представил в зимнем, сверкающем звездами покрове, с розвальнями с целым выводком детишек и их матерью, управляющей мохноногой лошадкой. Едут они к бабушке на Рождество, в Мещовск...

Трудно было представить тогда, что лет через десять меня разыщет дальний родственник по линии Костиных — Сергей Саратовский, кандидат наук, психолог, теолог. Он давно увлекался историей нашего рода и приложил массу усилий, чтобы разыскать точные сведения. Церковные книги, губернские календари, воспоминания, письма, открытки, фотографии, книги бытописателей и исследователей истории, тысячи учетных карточек — целая картотека! Настоящий подвиг, продиктованный жгучим интересом к собственной своей малой истории.

Во-первых, рассказал мне Сергей, мы из вятичей, из станицы Епифань Московского царства. В 1585 году около трехсот казаков из Епифани полу-

чили звание детей боярских, или дворян-однодворцев, с тем и земельные наделы. Многих из них расселили в Рязани и готовили к битве с поляками. После изгнания поляков из Москвы часть рязанских казаков переселили ближе к западной границе царства, в Мещовск, рядом с древним городищем в излучине Турей и Серены. О самом первом документально подтвержденном нашем предке известно, что в 1619 году в станице Семиглазово получил поместье верстанный казак Семен Костин.

В книге Михаила Кромма «Между Русью и Литвой» можно отыскать весьма драматический эпизод из жизни Костиных и Кобелевых.

1699 год. Царствование Петра Первого. В Мещовске идет борьба за место бургомистра (тогда говорили — *бурмистра*, таможенного начальника) между табачным торговцем Савелием Кобелевым и виноторговцем Яковом Костиным. Оба из казачества. Как пишет Кромм: «В бургомистры были выбраны двое посадских людей — Илья Прокофьевич Кутин и Яков Костин. Однако не весь сход согласился с избранием Якова Костина. Двадцать пять человек с Лаврентием Быковым во главе опротестовали это решение, заявив, что на самом деле был избран не Яков Костин, а Савелий Кобелев. Но думский староста Тимофей Устинов тот выбор отменил и на место Савелия Кобелева записал Якова Костина, своего свойственника, сказав, что человек он добрый, не беснующий, побывал в службах, старостах, в таможенных и кабацких головах. А вот Кобелев, по словам Устинова, не может представить отчетности табачной продажи, на которой стоял. После этого Савелий был отставлен».

Кстати, фамилия моей жены Светы — тоже Кутина, ее предки по отцовской линии из тех же мест, Торжка и Твери.

Впоследствии Костины и Кобелевы не раз объединялись в брачном родстве. Как последний пример: после смерти первой жены мой дедушка Иван Семенович Костин венчался вторым браком с моей бабушкой, в девичестве — Кобелевой.

Писатель Евгений Поселянин в своих документальных произведениях тоже упоминает двух наших родственников: двенадцатилетнюю девицу Александру, дочку купца Кобелева, и мещанина Василия Костина, страдавшего жестокими головными болями; девица же страдала расслаблением ног. Поселянин подробно сообщает о том, как оба страдальца вылечились водой, пролитой через топорик святого Андрея Мещовского.

Именно от Василия Костина пошел род Сергея Владимировича Саратовского и наш. Пользуясь библейской терминологией, возглашаю: Василий родил Петра, Петр родил Семена, Семен родил Ивана — моего родного деда, от жены своей Ксении Ивановны. Другие жены моих прадедов пока пребывают в забвении.

Известно, что все Костины в нашем роду занимались кровельным делом, ходили по городам, нанимались к богатым домовладельцам и покрывали крыши железом. Ремесло это было очень доходным. Их родовой дом до сих пор стоит в Мещовске. Знал бы, будучи в Мещовске, перешел бы через плотину, и вот он — дом Костиных. Двухэтажный: кирпичный низ, деревянный второй этаж. А какая сейчас крыша укрывает его от ненастья, я и не знаю...

Дорога, дорога, дорога, бесконечная и печальная... Зачем я брежу по ней? Почему так завораживает прошлое? Я ищу в нем смысл жизни всех поколений до меня. Я — тот важный узелок, без которого нет будущего. Получается, моя персона совершенно необходима... и на этой петляющей дороге я не одинок. Это прибавило мне сил и марафонской резвости. Вскоре я увидел сажелку, о которой говорил мне Кузьма, на горизонте маячила водонапорная башня станции Шлиппово. Осталась одна пятая пути. Ноги гудели, как целый рой пчел...

«Рой пчел». Произнеся с досадой эти слова, я вспомнил чудесный случай из детства.

Теплый августовский вечер. Мы с дядей Ваней ждем в саду момента, когда отроятся пчелы и вылетят из улья. Мы не должны их упустить. Уже готов новый свободный улей, куда мы их переселим. Вылетев из улья, молодые пчелы собираются вокруг новой матки и шевелящимся комом усаживаются на что-то приметное — куст или дерево. И на этот раз они покружились плотной живой лентой возле яблони. Мы подошли ближе. К несчастью, я был в белой рубашке. В красноватом свете почти ушедшего солнца она особенно выделялась. Пчелы начали садиться мне на плечо. Дядя Ваня успокаивал: «Не бойся, стой спокойно, они сейчас не укусят». Мне страшно было пошевелиться. Пчелиный ком становился все тяжелей, от яблони слетались на плечо все новые и новые жужжащие насекомые. В плече нарастал сильный жар, рука отекала от обездвиживания. Наконец, дядя запустил пальцы в пчелиный сгусток и извлек крупную пчелу. Это была матка, вокруг которой формировался рой, посадил ее в стеклянную коробочку и опустил в корзину. Туда же гусиным крылом смахнул всю пчелиную компанию и накрыл марлей. Я же был героем. Тот жар и тяжесть гудящего кома трудно было забыть.

Теперь так гудели ноги. Я опустил их в благодатную воду сажелки, жжение медленно отходило. Посидев немного, поднялся с непривычной ломотой во всем теле, выбил пыль из брюк и кроссовок и, испрося у Господа сил, отправился дальше, в Колтенки.

На втором километре я сломался. Решил: пойдет машина — остановлю. И будто был услышан. За спиной раздался гул мотора приближающегося грузовика. Я поднял руку. Обдав меня рыжей пылью, грузовик остановился. В кабине сидели двое: молодой парень и мужчина моего возраста.

— Вам куда?

— В Колтенки.

— А к кому вы? Там теперь никого нет.

— Когда-то там жила моя тетька, Анна Ивановна Иванова, и друзья — Ванька, Колька и Толик Суворкины.

Пожилой заулыбался:

— Не узнаешь?

Я вгляделся:

— Вань! Ты, что ли?

— Ну а кто же?! С сыном еду за бревном в лес, заметили там одно спленное... Мы-то свернем, не доезжая Колтенок, а ты, как погуляешь, возвращайся в Шлиппово, теперь я там живу, — и назвал адрес. — Отдохнешь, переночуешь у нас.

Мы проехали километра два, и они свернули к лесу, а я пошел пешком.

Идти было тяжело, но меня подстегивали воспоминания. Вот наши липы на краю деревни — все целы, но что-то дома не видно... Да вот же он, полуразрушенный! Кто-то косит траву в саду... подхожу ближе — Каля! Моя двоюродная сестра — дочь тети Шуры, Александры Ивановны Федоровой, родившаяся от первого брака моего деда. Каля-Калерия вышла замуж за тракториста и осталась жить в соседнем совхозе, не захотела ехать в город, как ее брат и сестра.

Мы так давно не виделись, что горячность встречи перемежалась с какой-то неловкостью — не знали, что друг другу сказать, о чем спросить. Она сорвала несколько яблок со старой анисовки и сунула мне в сумку. Я пошел к дому тети Нюры, в котором прошли почти все мои летние школьные каникулы.

Еще издалека я увидел, что из трех тополей у дома остался один — тот, у которого меня пытал дядя Ваня уроками русского языка и арифметики. От стройных седых туй у стены дома ничего не осталось — торчали жалкие кустики. Весь дом осел, крыльцо покровилось. Я обошел дом, чтобы осмотреть все со стороны сада. Садового домика, где был кабинет дяди Вани, где я спал под овчинным тулупом, тоже не было. Крыша дома провалилась и висела, будто гамак. Каким-то образом на ней сушились то ли грибы, то ли резаные яблоки. Иван успел рассказать мне, что в доме Ивановых поселились дачники. Откуда?.. Кто ж их знает. Я не захотел заходить — тягостных впечатлений и так хватало.

Меня повлекло к Вольной сажелке. Ива на том берегу сохранилась и сильно разрослась. За ивняком, где был дом Курноски, остался лишь холм, заросший крапивой, и несколько корявых деревьев в саду. Что-то я не припомню, была ли ирга у бывшей баньки, теперь так разросшаяся... Неожиданно на нее налетела стая скворцов, шумная и свиристая. Это привет мне из прошлого, от дяди Васи — воспитателя говорящих скворцов.

Я подошел к сажелке ближе. По всему периметру в своей естественной красоте размножились водоросли, оставив посередине блюдо чистой, прозрачной воды размером в два разворота на веслах. На глади ее висели огромные тритоны.

Как мудра природа, зачем ей человек — ее мучитель... Возможно, провидение явило его миру, чтобы оценить красоту. «Ах, к черту все, стихи писать, пасти стада своих оленей и пальцы легкие бросать на струны сказочных явлений...» Эти строчки некто забытый напел мне в Благовещенске. Я присел на холмик, пытаюсь вспомнить стихи целиком, и, кажется, задремал, но приснившееся запомнил...

Бесконечные синие воды в клочьях тумана, топкие, длинными языками, берега. Из тумана выплывают тела, много тел. Впереди некто в белых одеждах с рыжей бородой. В синей воде видны бледные пальцы ног. Они плывут и плывут... или я лечу над ними. Я знаю их, но не узнаю. Мне не страшно — скорее, легко. Один из плывущих приподнимает голову и грозит мне пальцем. Знаю, зовут его Трифон — мой прадед по отцу, Трифон Дмитриевич — бывший гласный сухиничской Думы.

— Не нарушай, — говорит он строго, и эхо длится, — не нарушай, не нарушай, не нарушай...



Нина СТРУЧКОВА

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПЛАТЬЕ НАДЕНУ...»

ПОГОРЕЛОВКА

Удивился гость московский:
— Есть у вас в России тезки —
Погореловок не счесть!
— Не родня они, ну что же, —
Все же обликом похожи,
И характер общий есть —

Что работать, что молиться,
Что страдать, что веселиться...
Только гордости в них нет.
Давят справа, давят слева,
Но давно уж ложка гнева
Утонула в бочке бед.

Хоть стара деревня с виду,
Поруганье и обиду
Терпит, но она живет!
В ней огня не загасили,
И поэтому в России
Сохраняется народ.

Ну прощай же, гость столичный,
Сам ты все увидел лично
И ответа не проси:
Почему в преддверьи рая
Все горят, а не сгорают
Погореловки Руси!

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБА

Изба деревенская скроена ладно,
В ней жарко зимою, а летом прохладно,
И крепко ее обнимает плетень.
В окладах икон — самодельные розы,
За ними — подсохшие ветки березы,
Их ставят в июне, на Троицын день.

Подушки пышны на высокой кровати,
А в кухне — простая посуда, полати,
Где можно и днем ненадолго прилечь.
Но главное в кухне — не роскошь убранства,
А символ надежности и постоянства,
Творение гения — русская печь.

С приданым сундук для взрослеющих дочек,
Клеенка в цветочек, обои в цветочек,
Полы, что скоблены, белы и чисты.
И яркою вышивкой радуют взоры
Накидки, платки, занавески, подзоры —
В деревне когда-то любили цветы!

Изба... Она стала седою и старой,
Не выйдет сюда заманить антиквара —
Кого этот памятник предкам прельстит!
Голландка не греет в большие морозы,
Слиняли цветы и бумажные розы...
Лишь ветер печально о вечном свистит.

* * *

Но для женщины прошлого нет...

И. Бунин

И для юности прошлого нет,
Нет и нас, доживающих в прошлом.
А из детства сияющий след
Пухом новых времен запорошен.

Пусть живут, как им хочется жить,
Пусть минуют их беды-невзгоды.
Но из прошлого тянется нить
И связует прошедшие годы.

Только старость над прошлым дрожит,
Лишь она его в сердце лелеет,
И печально на юность глядит
И ее безнадежно жалеет...

УТРО

Когда лучи дотронутся до трав
И воспарит роса над мирозданием,
Тогда пойму, хотя и с опозданием:
Кто в этой жизни любит — тот и прав.

Лучи дрожат сквозь марево росы,
Дымится воздух в радужном сиянии,
Душа и мир затеплились в слиянии
Блаженства и божественной красоты.

А влага растворяется уже,
И станет день горячим и прозрачным,
Но долго-долго всяким чувствам мрачным
Не будет места в солнечной душе.

ОЖИДАНИЕ

С нами такое случается редко,
Долгая жизнь на разлуки бедна, —
Милый поехал на родину предков,
Я на хозяйстве осталась одна.

Не с кем делить наступившие будни,
Некого лаской своей ублажить.
Вот бы поспать хоть разок до полудня,
Вот бы для отдыха руки сложить

Или пойти прогуляться... Да что вы!
Будет ухожен мой сад-огород,
Будут к приезду закуски готовы,
И не осудит в деревне народ,

Если отъезд не сочту за измену,
Водки казенной куплю, так и быть,
Самое лучшее платье надену,
Милого встречу и буду любить.

МЫ ДОМА

Прошлая жизнь по дорогам растреплена,
Печка затоплена, свечка затеплена.

Темень такая, хоть глазоньки выколи!
Сядем, расскажем, как долюшку мыкали.

Все, что нам выпало — выпито, пройдено,
Там — наша Родина, тут — наша родина.

Где б ни летали, ветрами несомые,
Малая родина все же весомее.

С нею надеждою намертво сцеплены.
Печи затоплены. Свечи затеплены.

* * *

Осень творила свои беспорядки —
Сыпались листья на черные грядки,
Падали с яблонь сухие ранетки,
С северным ветром не спорили ветки,
А трава все равно зеленела.

Клин журавлиный летел невесомо,
Плакали окна веселого дома,
Дождик замешивал грязь на дорожке,
След оставляя на чистом порошке,
А трава все равно зеленела.

День — будто долгий простуженный вечер,
Думалось, что это будет навечно.
Вдруг долгожданное утро настало —
Все заискрилось и все заблестало!
Но трава...



Алексей СМИРНОВ

ПАССАЖИРЫ

Миниатюры

Желание

Иногда возникает желание придумать поезд. Но все поезда уже придуманы. Пелевин, начитавшись «Голубой стрелы», придумал желтую. Уже существует Паровозик из Ромашково. Есть жуткий поезд Блейн, за которого Кинг достоин безжалостного психоанализа — чего-то там насчет удержания и отпущения. Самый, по-моему, симпатичный поезд — у машиниста Лукаса работы Микаэля Энде (не путать, конечно, с писательницей Ольгой Лукас, у нее нет поезда, но и она разъезжает туда-сюда, от Петербурга до Москвы и обратно).

Есть поезд Достоевского, развозящий своих мрачных пассажиров по угрюмым романам. Есть толстовский, со следами Анны Карениной на осях-колесях. У Масодова есть атомный бронепоезд. У Сорокина — ломтевоз. У Корецкого — поезд с баллистической ракетой.

Стоит на запасном пути, как нас уверяли на кафедре микробиологии, и наш бактериологический бронепоезд. А у Александра Покровского вообще не шесть поездов — правда, они временно превратились в подводные лодки.

У Агаты Кристи есть «Восточный экспресс» и «Тайна голубого поезда».

Но хочется чего-то своего. С вагоном-рестораном и проводницами, неизвестного назначения и следования. Чего-то вроде «Красной стрелы», только без почивших в бозе Хрюна и Степана с их подозрительными друзьями-попутчиками. И красного цвета тоже, пожалуй, не надо. И долгих стоянок при буфетах. И чтобы станционный колокол по кому-нибудь звонил.

Теперь — откланяюсь и отправлюсь на самый обычный, зеленый поезд. Называется — *электричка*.

Гранин

Вчера в электричке расплачивался за праздное любопытство. В вагоне ехал старичок, как две капли воды похожий на писателя Даниила Гранина. Я Гранина однажды видел и отношусь к нему доброжелательно.

Я заинтересовался старичком и даже сел напротив, чтобы его изучать. Проклятый дед обрадовался и сразу вступил в разговор. Я спросил у него в лоб, не Гранин ли он.

— Кто такой? — удивился старичок.

Оказалось, что это железнодорожник.

— Железная дорога, — бросил он проходившим мимо контролерам. Со строгим достоинством.

Но потом его поволокло на литературу, он стал рассуждать о недавно пожившем в бозе Василе Быкове, Солженицыне, Николае Островском. И я задумался: может быть, это все-таки Грагин? Может быть, он просто очень скромный? Ведь поразительно был похож, феноменально. Одно смущает: зачем он назвался перед контролерами «железной дорогой»? Неужели сжульничал? Досадно такое крохоборство в известном писателе. Пожилой человек, между прочим, а я с ребенком был.

Путевая заметка

Электричка. Едем: я, неизвестный дедуля, неизвестные сопроводительницы дедули, они же — его спутницы.

Дедуля, с удовольствием повторяя четыре или пять раз:

— У меня удостоверение есть! — втолковывает ахающим от изумления соседкам. — Но я билет-то беру. Восемь рублей — что мне, смешно. Пятьдесят копеек зона. Зачем это я буду за так ездить...

И его простое лицо улыбается. И все радуются за него и за всех людей. И я радуюсь его простому улыбающемуся лицу, сознательности которого радуются все другие люди.

«Жива страна, — думаю про себя, — коль не стоит село без праведника». Бессознательно и без особого желания повторяя живого покамест классика.

Пришел контролер. Никакого билета у дедули не было, было удостоверение, но он и здесь не воспользовался документом, а стал, наглядевшись на «зайцев» и обиженно повинувшись традиции, совать мытарю взятку достоинством в десять рублей.

Я понял, что на дедулю в космической перспективе полагаться нельзя. Его добронародная и просветленная простота были вызваны склерозом и нарастающей энцефалопатией.

Но село все-таки стоит. У меня был билет. Да. Не все еще сгнило.

Банда

В нашем районе сформировалась банда карманников. Орудуют в троллейбусе № 20.

Их все уже знают. Похоже, что они так и не довели до конца ни одного дела. Стоит им втиснуться и вздохнуть с облегчением и надеждой, как контролер объявляет:

— Осторожно, в троллейбусе карманники.

Публика очень быстро их обнаруживает по рукам, трясущимся в естественных карманах и полостях тела. Салон наполняется радостным и свирепым узнаванием. Карманников изгоняют на улицу.

На улице они потерянно стоят, шипят и ругаются скверными словами — страшные теткы с расплюснутыми лицами и один или два мужика в перекрученных галстуках.

Их очень жалко. Создается впечатление, что это вовсе и не карманники, а какая-то компания, которая некогда выпила боярышник и уже не может остановиться в галлюцинаторных метаниях.

Универсальный солдат

Картина: утреннее метро, станция «Нарвская». Эскалатор на подъем, самый верх.

Пассажиры, выруливающие на финиш, обнаруживают, что им навстречу перемещается солдат.

Здоровенный детина в камуфляже шагнул на лестницу-чудесницу и сосредоточенно движется как бы вниз. То есть идет на месте. Как заведенный, пригнув голову, размеренным шагом — чтобы и вправду не обогнать эскалатор. Лицо бесстрастное, каменное, трезвое, но лучше бы пьяное. Развлекается на манер пятилетней девочки.

Публика цепенеет, спешит куда подальше.

Через какое-то время воин привлек внимание местных секьюрити, на него гаркнули. Вышколенный служивый сразу послушался, отошел в сторону и весело вынул мобилу.

Я присмотрелся — нет ли где регочущих однополчан, побратимов или подруг хотя бы. Не было никого.

Уже не важно, уйдет ли такой из части с оружием или останется в ней. Мысленно он давно отовсюду ушел. И холодно взирает на приключения скорлупы.

Код активирован

Однажды на станции я поймал разбойника.

Дело было так: шагаю я по платформе станции метро «Кировский завод», прямо к Ленину, который окаменел у дальней стенки. Вдруг мне навстречу несетя женщина лет тридцати, растрепана, спотыкается на каблуках и орет:

— Помогите! Кто-нибудь! Телефон, мой телефон!..

Оборачиваюсь и вижу личность, которая во всю прыть улепетывает к эскалатору. И я побежал. Тут подошел поезд, и личность нырнула в последний вагон. Я — следом. Вижу: сидит, отдувается, телефон крутит. Увидел меня и выскочил обратно на платформу, и я за ним. Догнал, сбил с ног, отобрал телефон и вручил барышне.

Случай довольно заурядный, хотя я, конечно, не каждый день ловлю разбойников. Не стоило и рассказывать, если бы не одно «но»: все эти погони, прыжки, удары совершенно не в моем обычае. Более того: я и не думал за ним гнаться, и сознание активно сопротивлялось, но только внутри вдруг включилась неизвстная программа. Я сорвался с места, не думая, в секунду, ноги сами бежали, все остальное тоже само делалось. А голова вообще не помогала, только жалобно и тщетно меня тормозила.

И вот я подумал, что, может быть, я на самом деле был когда-то опасным и секретным агентом, а потом мне стерли память, и я стал заниматься черт знает чем: писать всякую ерунду, переводить, редактировать, обед варить. Но в действительности во мне дремлет секретный материал, и фамилия моя — Икс-Файл.

Может быть, во мне скрываются и другие способности. Я ведь эту барышню потянул за рукав в вагон, чтобы уехать подальше от греха. Но она совсем обалдела, подумала, наверное, что я за этот телефон потребую от нее половой признательности, и не пошла. Двери закрылись, поезд поехал, и я видел, что разбойник уже снова ковыляет к барышне. Если дуре написано на роду быть битой, то даже супермены бессильны. Но вдруг я сумел бы, как в фильме «Привидение», бесплотно просунуться сквозь стенку вагона и следить... Остановить поезд... Устроить с преступником дуэль в туннеле... Да, мне теперь кажется, что запросто. Но я поздно сообразил, и поезд уже далеко уехал.

Сейчас думаю, что я вообще сложный и замаскированный полицейский робот.

Боярыня

Пустьяк, но запомнился.

В метро мне не хватило места на лавочке сбоку, где помещаются три человека. То есть место было, потому что там отлично помещались целых два человека, но места этого было мало.

Вообще, место в метро оставляет в памяти след. Когда на выходе видишь, что туда, откуда ты только что встал, уже кто-то усаживается, внутри набухает иррациональное раздражение. Хочется, чтобы это сиденье пустовало всегда, в память о тебе, и поезд так бы и ездил.

И я сидел как на жердочке. Я нынче не толстый и не худой — так, средний. Молодой человек слева был вообще худощавого, научно-исследовательского сложения — сидел, уткнувшись в какие-то бумаги.

Зато справа от меня расположилась скала.

Она не шевельнулась ни на дюйм и даже не дышала. Сидела плотно и умиротворенно, поблескивая перстнями. От нее слабо тянуло печкой. Лица я не видел и не стал смотреть, когда приехал. И без того моя фантазия перестраивала лавочку в розвальни, а женщина-скала трансформировалась в голосистую боярыню. Которая едет в ссылку. За окнами темно, мелькают огни, объявляются следующие станции: Молочная, Говяжья, Докторская, Ветчинная...

О телепатии

Все-таки хорошо, что телепатия если и есть, то не очень. Потому что иначе существовал бы риск произвольно присоединиться к чужому внутреннему миру и там даже застрять, как это случалось с инопланетянами Воннегута.

Сегодня, шестого числа шестого месяца и шестого года я, как и полагается в такой день, купил фильм «Шайтан» и сел в автобус номер шестьдесят шесть. Этот автобус, хотя и не полностью сатанинский, стремится к совершенству и надеется со временем заработать себе призовую шестерку. Он ездит без кондуктора. С одной стороны, это очень хорошо и приятно. С другой стороны, водитель пропитывается Мировым Злом. На остановках он сначала выпускает всех в переднюю дверь, а прочие не открывает, чтобы никто не прошел мимо него, не заплатив. Ему почти и не платит никто, суют разные документы, и он пропитывается дальнейшим сатанизмом.

И сегодня я порадовался, что не владею телепатией и не могу соприкоснуться с его охотничьими помыслами. Какая-то девушка, красивая роковой красотой, вдруг отпрыгнула от передней двери и побежала к средней, которую он уже открыл. У нее, конечно, не было билета. Я следил за лицом водителя в зеркальце. И видел, как он следил за бегом девушки. Когда та начала выпрыгивать из автобуса, он очень ловко поймал ее дверями и зажал, как зажимают пальцами нос, и прокатил ее немножко под ее же визг. И еще сказал у себя в кабине громко: «Вот так!»

Он здорово насобачился, очевидно.

Апельсиновый рай

На задней площадке троллейбуса я оказался по соседству со словообразующей машиной. За две минуты езды полностью ознакомился с особенностями обыденного функционирования машины.

Начала она с того, что стала давать соседке, бабушке с тележкой, советы насчет рационального поднятия тяжестей. И еще говорила о пользе заблаговременного планирования, так как башкой мы наперед ничего не думаем. Потому что сама она надорвалась на кладбище, которое посетила на Троицу, убирала там с могилки палую листву, а листва-то сырая и тяжелая («Да-да», — кивала старушка), но словесная машина подумала: как же так, наши покойники будут лежать под листьями с наших же деревьев!..

Это место я не особенно понял.

Потом машина перешла к разговору о пенсиях, и старушка оживилась. Машина рассказала, как пришла в столовую и заказала себе пищу, а продавщица ответила, что сдачи нет, придется подождать. Зимы ждала, ждала природа. Через полчаса машина напомнила о сдаче.

— А та мне вдруг и говорит: давай вали отсюда! Вы знаете, мне стало так плохо... Вы не поверите, я уже два года хожу мимо этой столовой — и никак не могу зайти, а продавщица уже, может быть, уволилась или пьяная сидит, кто ее разберет...

Старушка, сочувственно:

— А я пришла покупать апельсины. Пошла на контрольные весы и вижу: восемьдесят грамм не хватает! Целого апельсина. Пошла к продавцу, а он мне говорит: вы его съели.

Слушая этот разговор, я решил помечтать и вообразить себя суперменом — летающим, в обтягивающем сине-красном трико. Который спасает униженных и оскорбленных и переносит их в Апельсиновый рай, где никогда не обвешивают: уплатил за кило — кило и получи. Я долго мучился, но, странное дело, никак не мог преобразиться в своих фантазиях и стать суперменом. Мне почему-то не хотелось.

Тогда я снизил планку и стал воображать себя Микки Маусом. Знаете, из старых мультфильмов, где он сидит на Луне и дремлет, а на Земле творится волчий беспредел, но вот до Микки долетают вопли обиженных, и он метеором срывается вниз, выставивши перед собой огромный кулак.

Но и Микки Маус мне как-то не покатило. Неохота спасать, и все! Что за притча — не понимаю.

Зоологическое

Есть такая особенная порода: услужливые и предупредительные транспортные козлики. Всем-то вокруг им хочется причинить удобство.

Они среднего возраста, в кургузых полуклетчатых пиджачках, взъерошенные и лысоватые. Непременно с бородками и обязательно — с рассадой... или что там зелененькое у них торчит в тележке. Они суетятся, козлотородатеньки, по салону, сучат копытцами и колесиками; они мечтают, чтобы все разместились наилучшим образом.

— Вы встаете? А я уже подвинусь! А я туточки встану бочком!

Вокруг все пустеет; они вращают тележку, как спортивный снаряд. Сыра земля заполняет салон, но вот и рынок, им туда; они приглаживают рожки пополам с кудрями, дробно цокают копытцами.

От них пахнет серой, кладбищем и кинзой.

Они спешат, и коробка разваливается за ними, перетянутая шпагатом; тележка не поспекает за земледелием; в глазах — лукавый и жестокий огонь.

Анимализм

Пришли родители.

Рассказывают, что видели в троллейбусе мужика, который вез на рукаве огромного откормленного ворона. Разговаривал с ним.

Мать:

— Кто?

Отчим:

— Мужик, не ворон. Мужик с вороном.

Мать:

— Что же он ему говорил?

Отчим:

— Ну, я не знаю... «Не ссы, потерпи, сейчас выйдем».

Правила маскировки

Никак не пойму людей, которые ездят в метро в камуфляже. С семьей, в выходной день. От кого они прячутся, от кого хотят скрыться? Ведь ничего не получится.

Чтобы спрятаться в метро, нужно проколоть себе бровь и вставить гантельку, а в уши — наушники; да выкрасить черным ногти, да взять в руки банку с джин-тонином... Тогда никто не догадается, что ты на самом деле Джеймс Бонд и выполняешь невыполнимую миссию — сопровождаешь жену в мир кожи и меха.

Ручки

Снова некрополитен.

Вошла продавщица всего, кубических очертаний; вошла и затрубила:

— Ручки гелевые, на масляной основе, пишут в любом положении...

Пауза. Не меняя интонации, тем же нечеловеческим монотонным голосом:

— Ручек нет, блин, кончились, надоели они мне...

Я так захохотал, что стало неловко. Беззвучно, но лицо выдавало. Вокруг сидели чинные, каменные пассажиры — кроме очаровательной девушки напротив. Она занималась тем же, чем и я. Так мы и ехали, поглядывая друг на друга и прыская, пока я не вышел.

Пропавшие среди живых

Та же кондуктор-старушечка, тот же троллейбус. Четыре дня спустя.

У старушечки — монолог. Не без яда. Очки сверкают.

— Их сразу видно — всяких вологодцев, тамбовцев, новгородцев... Тут немцы сели! Заблудились. Я к ним, показываю: платите! А они не понимают. Тут одна подошла — давайте, говорит, переведу. Переводите — говорю. И она стала переводить. А те как начали возмущаться! А я им говорю — вы не понимаете, где находитесь! Вы в Ленинград приехали, это вам не Европа!... А они в ответ только и знают свое: швайн да швайн...

Роден

Автобус, мчится птицей. За рулем пригнулся горный орел.

Я сижу. Позади — он и она, я их не вижу. Только слышу.

Слышу, как она притворно возмущается:

— Не порти мне прическу! Перестань!..

Я добродушно улыбаюсь: вечная весна. Роден.

Сзади, строго:

— И чтобы помылся во вторник, понял?..

День пограничника

Сегодня я совершал разнообразные добрые дела в метро.

Сначала я подарил жетон похмельному человеку, который иначе не мог попасть домой. Сам был в столице в таком положении. Потом уступил место беременной женщине, которая чрезвычайно смутилась и даже стала отказываться. И я потом смутился, когда присмотрелся, стоя уже, потому что беременность, похоже, была не беременностью, а просто большим животом.

После этого я вышел на платформу станции, что в сердце нашей родины — Невского проспекта. И встал под эскалатором, где мне забили стрелу.

Там я начал совершать самое главное доброе дело: любовно посмотреть на пограничников, у которых сегодня День. Я рассматривал их любовно совершенно искренне. Они спустились по эскалатору и громко кричали: «Граница на замке! Спите спокойно!» Их было очень много, все были юные красавцы, все на одно лицо.

И один из них бросил в меня пивную бутылку. Стекланную. Промахнулся, разумеется, из-за чего я тут же усомнился в его меткости и, стало быть,

способности поразить врага. И, следовательно, в оправданности моего спокойного сна, который, кстати, ни к черту.

Зачем он бросил в меня бутылку, как будто я шпион? Или как минимум нарушитель границы...

Поразмыслив, я пришел к выводу, что я, конечно, нарушаю границы — моральные. И мне показалось, что есть смысл учредить День морального пограничника. И в этот день вообще запирать метро, предварительно запустив туда всех причастных.

Поезд в огне

На днях со мной случилось маленькое приключение. У меня сломался мобильник, он же еще и часы. Перестал включаться. Начинаешь заряжать — включается, но команды не слушает. И я повез его к ветеринару. Наивный человек!

Доктора расхохотались мне в лицо. Они отфутболили меня в гарантийную больницу для телефонов, где койко-день — как в моем стационаре, аж сорок пять суток. Диагностика, лечение — все как положено. Причем в ту самую, где мне его, запеленатого, вынесли полгода тому назад еще с девственно чистой памятью, не испорченной номерами разных личностей, любителей говорить малышам-телефонам скабрзные слова. И она далеко, больница эта.

Поняв, что дела мои беспросветны, я забрался в автобус и поехал домой. А когда решил выходить, телефон, он же часы, выпрыгнул из футляра и весело заскакал поперек бабки в пекло. Вернее, из пекла, ибо в автобусе и бабке было невыносимо. Он шлепнулся на тротуар и, как встарь, заголосил первым младенческим криком. Он выздоровел, возмущенный акушерским шлепком.

Сегодня он мне приснился — и был проказлив. Я гонялся за ним на поездах, меняя состав за составом, но он победоносно уворачивался. А поезда были самые разные, и я перескакивал из одного в другой со сверхъестественной скоростью. Они были мыльно-облачные, просто железные, шерстяные, а последний вообще был огненный. И этот поезд мчался в огне, а я норовил ухватить мобильник, чтобы взглянуть, который час. И уловил.

Утром же, когда я встал, все часы в доме показывали разное время.

Игрушечное счастье

Маршрутка. Еду и смотрю в унылое окно. Вижу стоматологическую вывеску: «Счастливые зубы»

Вот же как оно бывает: у зубов может быть счастье. И у желудка. И даже у мозга. А у человека — нет.

Напротив сосала из банки седьмую «балтику» какая-то девица. Она болтала по мобильнику с приятелем. Или подругой. И говорила, что хочет большую мягкую игрушку. А потом исподтишка сфотографировала мобильником меня. Вполне счастливая.

И я не знаю, что думать. Я совсем не большой. И на сегодняшний день совершенно не мягкий: накануне провертел в ремне две новые дырки. Вилкой.

Ничего я не понимаю в жизни.

Озноб

— Что читаем?

Это меня так спросили. Женщина спросила. Я поднимался на эскалаторе и читал. Я стоял на ступеньке слева, а она — справа.

Я показал ей, что мы читаем.

— О-о... — уважительно протянула она, хотя уважать меня было не за что, наоборот.

Я сделал вид, что читаю дальше, и до самого верха чувствовал, как она сверлит меня взглядом. И покашливает.

Одета неброско — джинсы да куртка; не особенно молодая, не платная шалава, которую за версту видно, не пьяная — абсолютно обыкновенная, каких легион.

При мысли о том, что может твориться там в голове, меня пробирает озноб.

Все что угодно.

24

Когда-то у меня были наручные часы. Это были удивительные часы, и я не знаю, что с ними стало. Наверное, то же, что с остальными. У них был циферблат не на двенадцать часов, а на двадцать четыре. Понять по расположению стрелок точное время было решительно невозможно, я и сам не понимал. Но когда ехал в метро, всегда старался положить руку так, чтобы всем было видно — особенно когда стоял и держался.

Люди крайне любопытны. При виде книжки им позарез хочется узнать, про что там написано. А при виде часов — сколько времени. Я нарочно становился так, чтобы они вывернули себе шею и мозг заодно, пытаюсь сообразить, что же такое подсказывают им мои часы.

Зазеркалье

Метро, вагон. Вошел человек — черный, с косичкой. Двери еще не съехались, а он уже победоносно провозгласил:

— Гелевые ручки! Пишут по дереву, по стеклу, по бумаге...

С другого конца вагона нарисовалась женщина, гелевой ручкой судьбы. В руках она держала какие-то линзы. Она гневно заорала на весь вагон:

— Ты больной, Арам?!

Арам немедленно замолчал и сел.

Женщина прогулялась по проходу, поторговала линзами. Потом вышла, на платформе взяла под руку якута, который двумя перегонами раньше казался простым пассажиром и купил у еще одного продавца новые правила дорожного движения со всеми штрафами, как обещал продавец.

Они стояли на платформе и смеялись. Потом женщина закричала во все горло:

— Света! Света!

От головы поезда, радостно улыбаясь двумя рядами железных зубов, бежала Света, с авторучками — наверное, гелевыми.

Они все соединились.

Поезд поехал, Арам сидел. Он ехал долго, я уже вышел, а он так и ехал дальше.

Контрход

Жизнь, что называется, налаживается. Выстраивается вертикаль, утюжится горизонталь. Дворники надели форму, коммунальное хозяйство надувает щеки. Появились деньги на газоны, скамейки, нумерацию домов и даже корпусов.

Надо что-то делать, пора принимать меры. Потому что если так пойдет дальше, то наши люди привыкнут ко всякому фитнесу. И он их погубит. Благоприятная мутация завершится в зародыше, а уже мутировавшие люди — вроде меня — скоро канут в небытие. Я упорно пью воду из-под крана и из тысячи сортов колбасы продолжаю выбирать докторскую, я новый биологический вид, однако роскошь цивилизации обещает сорвать эксперимент и вывести меня, как вредную сикарашку.

Но есть обнадеживающие признаки. Люди приспособляются, нащупывают новые ходы. Напрасно повадился ходить по воду зазнавшийся болт, ему

уже готовится неожиданная резьба. А что, даже тупому вирусу хватает ума мутировать при встрече с лекарством.

Еду в троллейбусе. Билет стоит шестнадцать рублей, которые я и вручаю кондукторше. Она уважает цивилизацию, подчиняется ей, она в оранжевом жилете.

Она вернула мне мои пять рублей, монетку, со словами:

— Вот ваш билетик.

И действительно, не дала мне билета, ушла.

Я восхитился. Какая мощь, какая гениальная простота. Мой народ жив.

Новогодние сказки

В вагон метро, где ехал я, вошли ряженые, он и она. Тихие, молчаливые. Впечатление было такое, что истинные русичи наконец-то взялись за дело.

Описать их — дело нелегкое. Она еще так себе, в сарафане, села. А он, бородатый и деловой, остался стоять. Рубища, но все чистенькое. Грубо нашитые карманы, бахрама всех видов. Острроверхая соломенная шляпа, но без колокольчиков, как у жевунов. Изобилие лент и поясов, каких-то бантов и беззвучных бархатных шариков, деревянные обереги. Розовые кафтаны до пят, на пятах — кроссовки; всюду золоченые кисти, псевдокняжеская роскошь.

Мужик всю дорогу сосредоточенно занимался делом: выстругивал себе и без того замечательный посох. Правил ему набалдашник.

По всему, это были проводники нового и хорошо забытого старого. В них царствовали свобода и мир. На миг мне захотелось протолкнуться в их деревянное зодчество. Но я не захотел.

Они вышли станцией раньше меня.

Я знаю тамошний милицейский пикет.

Задержание

Ровно в полночь, со вчера на сегодня, при выходе из метро я был остановлен милиционерами.

— Документы, пожалуйста, — предложил мне пытливого вида крепыш. Он заполнил собой весь вестибюль, и я не понимал, каков из себя его напарник. Мне было его не видно. От волнения. Меня редко останавливает милиция, хотя я всегда к этому готов и даже извращенно стремлюсь.

— Так-так, Алексей Константинович, — констатировал милиционер. — Странно. Очень странно. Плохо спали сегодня?

— Отчего же, сносно, — возразил я. И спохватился: — Но, вообще говоря, плохо, конечно.

— Странно. Куда едете?

— В Москву.

Шерлок Холмс сверлил меня понимающим взглядом, собираясь изготовить из меня Ватсона в постафганской версии.

— Зачем?

— В гости.

— Очень странно, — задумался милиционер. — А кем работаете?

— Писателем.

— Прозаиком? — догадался он каким-то непостижимым следственным чутьем.

— То-то и оно.

— Про что пишете?

Я вспомнил полезный рецепт писателя Горчева, специально для таких случаев. Он так уже много раз говорил.

— Про милицию. У меня брат милиционер.

— Про задержания? — понимающе кивнул Холмс, возвращая мне паспорт.

— Про задержания, про них, — закивал я в ответ, имея в виду настоящую запись.

Здравое рассуждение

В церковь, в каморку к регентше, зашел неизвестный мужичок и попросил одолжить ему двести рублей под залог паспорта.

Та одолжила.

Вскоре он вернулся и попросил еще столько же, потому что проигрался в доску.

Вызвали старосту.

— Вам тут что, — топотал ногами староста, — ломбард?! Куда вы пришли?

Я, слушая, молчал.

Тогда писатель, мне эту историю рассказавший, спросил — неужели мне не смешно? Тот самый факт, что человек явился в церковь занимать деньги под паспорт на азартные игры.

Я ответил, что мужчина поступил очень здраво, ничего смешного нет. Он пришел в специальное милосердное место, где попросил о помощи, и помощь эту получил. Он обратился по адресу.

И я вспомнил другой случай.

Я сел в метро, в вагон, и вошел человек.

Начал он хрестоматийно:

— Люди добрые! Извините, что я так к вам обращаюсь...

Слова были обыденные, знакомые, но вот в риторике звучало нечто странное.

— У меня ужасное похмелье, мне не на что выпить, помогите, кто чем может!...

Как ему подавали! Как подавали!..

Любая безногая рок-группа в беретах, увидев это, умерла бы на месте, перекусив гитарные грифы.

На пути к Абсолюту

Метро. Обычный мужичок, в кепочке, сидит, в ногах — пакеты с какой-то внутренней мерзостью. Мужичок щурит глаза, все время улыбается и ведет разговор. С веточкой.

У него в руке веточка. Голая, без листьев, сантиметров пятнадцать, даже не прутик. Он держит ее очень бережно, беседует с ней, о чем-то спрашивает, уговаривает ее, подбивает на что-то и склоняет к чему-то.

Я поискал глазами: может быть, он говорит с кем-то напротив, кого мне не видно? Нет. Напротив слушали не мужичка, а наушники. Он говорил с веточкой. Судя по мимике и общей энергетике — объяснялся ей в любви.

По-моему, беспроигрышный вариант отношений.

Хотя решение половинчатое. Да, веточка бескорыстна и ничуть не коварна, она не пьет кровь и не следит в дальнейшем, как ты без крови. Но ее видно, на нее обращают внимание и делают выводы. Процесс отражается во внешнем мире, а это ни к чему.

Нужно молча и без веточки. Это будет абсолютное чувство, к которому мир не имеет никакого касательства.

Колдун

Возле метро обнаружил колдуна.

Тоший молодой человек в очках стоял, одетый в черный балахон до пят и черный капюшон. На груди — табличка: «Подайте колдуну на пиво».

Мимо проходили все больше какие-то жестокие люди. До меня донесся обрывок фразы: «А вот, может быть, сразу в лицо дать?»

Постояв немного, я не выдержал и приблизился. Дал десять рублей.

— За наглость, — сказал я.

— Да хранит вас тьма, — ответил колдун.

Она хранит меня, да.

Через пять минут колдуна прогнал милиционер. Ну вот за что? Кому он мешал, что сделал?..

Колдун послушно ушел. Он так и шел по проспекту в балахоне-капюшоне, с табличкой. Наколдовал, очевидно, с отчаяния свинцовую тучу, ибо сразу хлынуло.

Лицом к лицу

Автобус. Возле дверей два пенсионера выясняют, кому на три года меньше. Младший плохо стоит на ногах.

Склоняюсь над ним:

— Мы выходим?..

Он оглядывается в изумленной железной улыбке, смотрит на меня подбитым глазом цвета свежайшей сливы. Ладонь распахнута, показывает мне подсохший ломтик апельсина.

— Ну а как же! Ведь мы живем дома!..

И я занервничал. Мне что-то узналось в нем. Я вдруг начал что-то подозревать.

Здесь, в доме моем, бывает кто-то еще.

Красота

Истинная красота, хоть и прикрытая немощью, не нуждается в возвышенных формулировках.

Ехал я в метро, а напротив сидели два дауна. В смысле диагноза, а не в смысле критики. Я прямо растрогался. Мычали друг другу какую-то благодущную невнятицу. Смеялись, улыбались. И ясно было, что никто из них в жизни никого не стукнет ни словом, ни делом. У одного не было подбородка, зато была мощная верхняя челюсть, и зубы нависали над губой, и слюни текли. И его спутник привычным жестом подхватывал эти слюни, отлавливал их, вытирал, а тот благодарно кивал и продолжал говорить, откуда начал.

Вот оно, прекрасное внутреннее пламя. Их есть Царствие Небесное, ибо в нем они останутся при своем. Никому там их сознание не интересно, никто на него не позарится и не отберет — на что Создателю их слюни... Там, на небесах, ценится богатый жизненный опыт с многими выстраданными мудрствованиями, Создатель затем и посылает нас сюда, чтобы нам повариться, а ему — отведать.

Правда, я очень быстро пересел. Отягощенный злым разумом, я не вынес этого огня. Я не способен утирать окружающим слезы и слюни, наоборот, только вызываю их.

Билет

Троллейбус. Неизвестный с тележкой, изумленный лицом, доказывал сидевшему поблизости старичку, что сидеть гораздо выгоднее, чем стоять.

Потом началось соло неизвестного.

— В Москве билет для пенсионеров бесплатный. Не были в Москве? Ну и что... Я тоже не был в Москве. Мало ли где я не был. Я и на Луне не был. И в Нью-Йорке не был, и в Берлине не был, и в Париже не был. Знаете, какой билет в Париже? Там вы с утра покупаете билет на целый день. Месье, пожалуйста, вот вам билет. На целый день. На метро, на автобус, на все. Нет, вы не понимаете. Билет! Один. На весь день. На метро. Четыреста станций! Выбирай любую. Где хотите — в центре, в предместье. Месье, извольте. Вот ваш билет. На весь день. Четыреста станций! Понимаете? Единый. На все. С утра купил — и можешь целый день ездить. Единый билет. Там четыреста станций метро, в Париже. Поезжайте, месье, куда хотите. У вас есть билет... Теперь вы поняли? Он единый. Это у них такой билет. С утра его купил — и больше не нужно. Месье, пожалуйста. Поезжайте куда вам нужно. Билет есть, все в порядке. По деньгам?.. Не знаю, откуда я знаю... Это в Париже, а не в Москве. Четыреста станций, и на все — один билет. А у нас — извините, триста пятьдесят рублей — это ой-ей-ей! Это потому, что у нас трудяги, а там народ работать не хочет.

Бездействие

С утра побывал в судебном присутствии — нет, ничего такого, чтобы писать, но мне очень понравилось одно дело, значившееся в расписании на завтра: «Оспаривание бездействия администрации Гатчинского района Ленинградской области».

Что спорить попусту — областная администрация и вправду бездействует. Например, она скаредная в отношении пригородных электричек.

Поезд подъезжал к Девяткино, когда в вагон вошла бабушка с баяном. Она заблажила нечто непоправимо народное, так что мгновенно нарисовался образ лопнувшего самовара. Она не рассчитала. Песня достигла кульминации, когда поезд остановился, двери разъехались, и в тамбур повалил народ. Это была последняя электричка перед нескончаемым обеденным перерывом.

Я хорошо знаю, что такое садиться летом в Девяткино, когда немножечко жарко и всем охота уехать куда угодно. Бывало, что людей передавали в окна. Нынче наблюдалось нечто подобное. Бабушку смяли, и вот ее уже перестало быть видно, но ее народный вой, напоминавший о стране, судьбе и хлебах, продолжал звучать, и баян тоже не унывал; они оба не сдавались и ни разу не сбились, скрашивая народную внутривагонную судьбу.

Вскоре бабушка показалась: протискивалась с баяном и еще волокла огромную рознично-торговую сумку — похоже, у нее имелись в запасе и другие сюрпризы.

Поэма о крыльях

Джабдед, руководивший маршруткой, страдал избирательной глухотой.

— Товарищ водитель, когда мы поедем?..

Сохраняя непроницаемое лицо, Джабдед пустился в пространственно-временные размышления. Салон был заполнен наполовину.

— Дэсять минут. Дэсять человек.

Десять минут прошли, а десять человек не пришли.

Пассажиры подобрались нервные.

— Товарищ водитель, поехали уже! Никто не придет!

Джабдед оглох и молчал. Он верил в планиду. Он напомнил мне меня самого, когда я с цветами явился на первое свидание и караулил под часами. Любовь опаздывала; ко мне привязался *сладкий* в кризисе среднего возраста, подбивавший отправиться с ним в сортир для разнообразных утех и тупо твердивший: «Она не придет!» Я был стоек и полон веры; она пришла.

— Товарищ водитель!..

Больше других нервничала яркая дама. Она приглянулась добродушному мужичку, сидевшему напротив меня спиной к Джабдеду, с банкой тоника в руках. Мужичок пил тоник не первую неделю. Он запрокинулся к Джабдеду:

— Я дам тебе двушку — и поедем!.. Давай?

Джабдед молчал.

Тогда мужик дал ему двести рублей. В Джабдеде не только восстановился слух, но и улучшилось зрение. Лицо его наполнилось электрическим восторгом. Он рванул с места, все больше обретая крылья и расправляя их, маршрутка полетела по-над асфальтом. Я не успел оглянуться, как окрыленный Джабдед промахнулся мимо моей остановки и умчал меня вдаль; все случилось молниеносно, я просто не успел отследить движение этой черной молнии.

Педагогическая поэма

В автобусе спиной ко мне сидел рослый молодой человек с короткой стрижкой. В руках он держал распечатанный психологический вопросник под заглавием «Самоанализ». Молодой человек переписывал вопросы в блокнот и моментально на них отвечал.

Я присмотрелся. Подзаголовок гласил: «Мы продолжаем самоанализ — и когда допускаем ошибки, сразу же их признаем».

Ниже шли сами вопросы.

У молодого человека были татуированные пальцы, в синих перстнях. Один был наполовину сведен, довольно беспощадно — пожалуй, срезан.

Я прочел первый вопрос: «Сохранил ли я сегодня эмоциональную трезвость?»

В поле ягода навсегда

Бывают люди, которым весь мир задолжал. По дикому недоразумению они почему-то не правят волшебной страной, а существуют среди насекомых, которые даже не подозревают об их величии. По стечению обстоятельств, еще более дикому, они даже пользуются общественным транспортом. Они вынуждены. Они родились для колесниц, но подслеповатый Создатель промахнулся с эпохой.

Ехал в одной маршрутке, и вот туда за пару остановок до конечной вплыла дама. Преуспевающего командно-административного вида, лет пятидесяти, в сиреневых волосах и сильно раскрашенная. Завела диспут о десяти рублях.

— Здесь, когда садятся, положено брать уже не тридцать, а двадцать!

— А вы попробуйте такой номер в метро! — кричал через плечо водитель.

— Ладно, ладно...

Хозяйке мира не сиделось спокойно, она захотела выяснить пути подъезда, подъема и спуска.

Кто-то из пассажиров дал пояснения.

— Это я знаю без вас!

Прекрасная, дивная женщина! Хочется подарить корзину цветов на 8 Марта. И на девятое. Попробуй не подари.

Котлета

Молодой человек, клевавший носом на корме троллейбуса, держал в руках пачку купюр. Денег у него было прилично. Руки богача изобиловали синими перстнями и прочими знаками отличия. Богач находился под сложносочиненным кайфом. Всем своим видом он прямо-таки взывал: возьмите, возьмите!..

Он то и дело засыпал. Не надо было хватать, достаточно было просто протянуть руку, взять и спокойно выйти.

Я смотрел на него, не отводя глаз. Во мне зарождался темный соблазн, уходивший корнями в разные лиговки и хитровки. Но я был прозорлив. Я не мог исключить, что это подсадная фигура. Что это Глеб Егорыч подкарауливает Кирпича. Поэтому я не стал вмешиваться — напротив, изготовился к выходу.

Увидев, что комбинация под угрозой, толстосум применил последнее средство — рассыпал купюры. Они разлетелись по полу, я посторонился. У богача зазвонила мобила, и он заговорил мутным, предсмертным голосом:

— Да я на очную ставку еду!.. Блин, рассыпал все бабло...

Мало ли кто едет на очную ставку... Могут ехать обе противоборствующие стороны, и даже больше.

Поэтому я вышел, не теряя достоинства.

На улице обнаружил, что шепеляво приборматываю: *кофелёк, кофелёк...*

Эконом-класс

Нанотехнология дотянулась до маршрутки — да так, что случилась модернизация. Я с огромным удовольствием и облегчением увидел объявление, приклеенное над водителем: «На данном маршруте установлена касса-полуавтомат. Инструкция пользования кассой находится в салоне возле билетов...»

Касса, к несчастью, хреново работала в нашем пещерном отечестве. Она представляла собой узбека-водителя в конфигурации с билетным рулоном, болтавшимся туда-сюда на веревке. Инструкции я не увидел — очевидно, она была записана на внутренний винчестер узбека. Нужно было переводить ее в голосовой режим. Так что кассой-полуавтомат почему-то никто не пользовался. Не иначе, эта тонкая вещь сломалась в руках дикарей.

В нашем транспорте бесполезно устанавливать автоматы. В троллейбусе, например, повесили бегущую строку с указанием остановок, времени суток и температуры воздуха. Наступило вечное лето, столбик термометра не опускается там ниже восемнадцати, а время — это уж какое получится. Главное, что московское.

Вихрь и антитеррор

Рамка металлоискателя, установленная на Финляндском вокзале, приковала мое внимание. Я прошел — и ни разу не зазвенел.

Хотя у меня было чему звенеть — мелочь, ключи, телефон, еще пара особенно мелодичных предметов. Но нет, обошлось. Я даже подпрыгнул, будучи сознательным гражданином, однако без толку.

Я решил уже, что это деревянная декорация. Ан нет, двое в черном прошли через нее, намереваясь не проникнуть в вокзал, а покинуть его, и рамка спохватилась: зазвенела и замигала огнями. Впрочем, это не имело никаких последствий.

Я пришел к выводу, что угроза со стороны Финляндии представляется намного более серьезной, чем откуда-либо еще. Граница на замке. Кто с тротилом к нам придет, тот от тротила и погибнет. На том стояла и будет стоять; и еще — летать.

Шуба

Шуршание бумаги бывает изобличающим. Оно же — «обнадеживающим», как описал его Гашек применительно к запершемуся в сортире кадету Биглеру.

Еще оно бывает демонстративным: например, эксгибиционист в электричке настойчиво шуршит газетой, которой прикрывается до поры, а когда на него, наконец, обращают внимание — раскрывается.

И еще оно бывает уведомительным.

Четкой демаркационной линии не существует, одна разновидность может перетекать в другую.

Уведомительное шуршание звучит в маршрутке.

Шуба садится. Салон полупустой, но шуба сначала усаживается, а после уже начинает думать, как бы так половчее не встать. Как бы так изловчиться, чтобы поднялся сосед — я, например.

Я тоже сижу достаточно далеко от извозчика, и это немного смущает шубу. Я уже знаю, что будет дальше, и сосредоточенно рассматриваю пол. Рядом начинается шуршание. Это шуршит шуба денежными купюрами. Немножечко звякает. Шуба шуршит деньгами умышленно долго. Она оставляет мне пространство и время продемонстрировать галантность: не унижаться, не передавать инициативу. Я должен додуматься сам. При первом — в крайнем случае, при повторном шуршании я должен отреагировать на стимул. Я должен повернуться на шорох, изогнуть брови, воспользоваться последним шансом явить предупредительность. Во всем моем облике должно проступить нетерпеливое ожидание. Тогда она с полным правом доверит мне тридцать рублей. Если я удостоюсь доверия, мне даже могут дать пятьдесят, а то и сто.

Опять же, спокойнее будет, если я посмотрю. Иначе как-то не с руки. Иначе придется изобразить, что приподняться и сделать два шага самостоятельно — движение, превосходящее возможности шубы. Мне же будет хуже, я предамся терзанию и самоугрызению.

Я приблизительно знаю, сколько шорохов ждать. Пауза после второго — сигнал к действию.

Я встаю, не оглядываясь, неторопливо пересаживаюсь на другое место, рассеянно гляжу в окно. Позади меня мертвая тишина.

По направлению ко Дну

Язык мой довел меня до Киева от Петербурга — пришлось поехать.

Я уже довольно давно не ездил в поезде, а если так, чтобы набегало дольше суток, то вообще двадцать лет назад. Ну и впечатления образовались довольно бледные.

«Працюе кондиционер» — ничего он здесь не працюе, а вагон-ресторан отсутствовал как класс, и это оказалось главной бедой.

Подозревая худшее насчет курения, я с интимнейшим видом поманил к себе проводника. Тот мигом стал неимоверно серьезный:

— Что вам, мужчина?

Очевидно, он вообразил, будто я попрошу у него как минимум бабу, и он на этом так приподнимется, что больше уже никогда не будет проводником. Но я всего лишь спросил про покурить, и он разочарованно махнул рукой: везде. Так что я беспрепятственно курил, изучая при этом сразу пять запрещающих надписей и рисунков на разных языках.

Толчок был забит задолго до меня: я нажал кнопку, и он плюнул так, что я едва успел выскочить и привалиться к двери, подпирая ее спиной на всякий случай.

А дальше потянулись пейзажи, всегда заставлявшие меня содрогнуться. Я представлял, как под влиянием неясного порыва высаживаюсь в этой ночи, где ничего же нет вообще, и вот это будет финал.

Но я хотел написать не об этом, а о покойном писателе Диме Горчеве. Дело в том, что я, уезжая, взял с собой его «Жизнь без Карло». И впервые поехал, как выяснилось, тем же маршрутом, каким ездил Дима в деревню. И книжка как раз об этом оказалась. То есть я приезжаю на станцию Дно, а Дима рассказывает мне о раках, которыми там торгуют.

Но это ладно бы! Я еще в городе прочел начало, где Дима выезжает с Витебского вокзала. Еще не абсолютный синхрон. Но вот приходит украинский пограничник, вставляет мой паспорт себе в прибор — и в эту секунду я дохожу до места, где Дима пишет о том же самом.

Тут, наконец, я признал, что — да. Дима, я оценил! Привет, спасибо тебе. Увидимся.

Почвенное

Дорожные впечатления по дороге из Киева обогатились пейзажами с выделением коня и сохи... Или плуга?.. Соха или плуг?.. Я никогда не знаю точно.

Короче, именно это самое было у селянина, который вспахивал себе огород. Плугом. И конем. Или сохой. Украинская такая картина. Я впервые такое видел. Никогда не становился свидетелем землепашества. У дедушки моего имелась в распоряжении лошадь Орлик, но я не знаю, зачем — вроде дедушка не пахал, только ездил на ней к бабке моей в соседнее село. А этот селянин трудился под ярким солнцем, и жинка там какая-то рядом шла, и все расцветало, обещая сельское хозяйство.

В общем, я проникся. Я пролетаю мимо с микроскопическим телефоном в руке, а за окном пашет конь, словно и нет на свете нанотехнологий.

Когда поезд приехал в Белоруссию, сразу через границу, я почему-то мигом понял, что коня не будет. Он кончился. И пшеница кончилась. И подсолнухи. Потянулись чистенькие лопухи с лебедой, старательно выметенные и скромно покрашенные.

В России же, в Псковской области, вообще угадывалось приближение узловой станции Дно. Ну а потом я приехал в Питер, где конь уместен только каменный. Станция Дно осталась там, где ей положено быть.

Проторенной тропой

Уехал в Москву. И вышел я на Курском вокзале.

Хотите верьте, хотите нет, но первое, что я услышал, было: «Подается электропоезд под посадку до станции Петушки».

Почему я приехал на Курский вокзал? Не потому.

А потому, что поезд шел в Новороссийск. Так вышло. Он шел от Питера до Москвы десять часов, будучи скорым и никуда не спеша.

Друзья, никогда не пользуйтесь этим поездом! Там было много детей. Я ехал в обществе большой и дружной семьи. Со мной в купе поселились дедушка и бабушка, а за стенкой — их дети с внуками.

Внуков время от времени заносили в купе посмотреть, как спит бабушка. Как спит дедушка. Как спит дядя.

Дядя не спал.

Мне не хватает анилиновых красок, чтобы все это расписать. Ответьте мне: вот те люди, которые берут деткам в поезд пишущего резинового зайца — у них что происходит в голове?..

Шалости смысловой парадигмы

Поезд на Питер был ночной, так что все стали быстренько стелить койки. Мой сосед, наблюдавший, как я сноровисто заталкиваю подушку в наволочку, похвалил:

— Армейская выучка сразу видна!

Я доброжелательно улыбнулся. Я в армии не служил. Впрочем, сосед был инвалидом с палочкой, и каждый казался ему майором Вихрем.

Утром я стоял в коридоре у окна. Возбужденная женщина спросила у меня чаю. Во мне не было ничего, что выдавало бы принадлежность к российской железной дороге — за исключением езды по ней.

Как мог вменяемый человек спросить у меня чаю? Хотя она, конечно, вменяемой не была.

Корнеплоды живут под землей

Метрополитен развивается, идет навстречу.

Продавец, который зашел в вагон, мне раньше не попадался. Я говорю в собирательном смысле.

Он продавал универсальный нож и начал прямо в проходе чистить картошку, морковку и капусту. Разбрасывая очистки, он говорил окружающим, что его, конечно же, можно остановить.

Надо признать, что он расшевелил коллективное корнеплодное бессознательное. Торговля пошла бойко.

Даже я попросил капусты, но поезд гремел, и продавец не услышал. Он метался между заказчиками, ни на секунду не теряя из виду своей овощебазы.

Опыты мелкого рыцарства

Поднимаюсь я эскалатором, а двумя ступеньками выше стоит девушка в джинсах. И у нее из заднего кармана торчит купюра. Уголок. То ли сто рублей, то ли пятьсот. Ну просто напрашивается на хищение.

Я стою — и не знаю, сказать или не сказать. Надо бы сделать добрый поступок, но как-то неловко. Она решит, что я ее задницу рассматривал.

В общем, я пребывал в раздвоенном настроении.

Недавно мне долго втолковывали, что важны не слова, а дела. Ну да! Сейчас вот придет она домой, к какому-нибудь придурку, и тот начнет лицемерно расхваливать эту задницу в заведомо ложных высказываниях, потому что ничего хорошего там, кроме этой купюры, нет. А так, чтобы бескорыстно защитить, никто не почешется.

Я решил для себя: если пятьсот рублей — скажу. Если сто — промолчу.

Подался вперед, пригнулся... Черт его разберет, сколько там.

Наблюдая мое пристальное внимание, начали на меня коситься разные рядом.

В общем, на самом верху я сказал. Пусть считает мой интерес искусно закамуфлированным комплиментом.

Хазарский словарь

Едучи в метро, дочура вспомнила о моем обыкновении наблюдать и следить. Тут же и применила: рядом сидел не то китаец, не то кореец — рисовал в блокноте иероглифы и снабжал их русскими подписями.

Дочура заглянула в этот словарь.

Моментальная выборка была следующая: «Ландшафт», «Малярная кисть», «Тоска по родине».

Ослепительный миг

В питерском метро по вечерам катается исполнитель.

Бродячие музыканты ни для кого не новость; они исполняют половину песни дурными голосами, подыгрывая себе на гитаре или гармошке и стараясь привлечь максимум внимания на остановках, когда поезд не шумит. Потом быстро проходят, собирая мелочь.

Исполнитель не таков. Он устроился основательно, в границах импровизированной концертной площадки.

Мне впервые удалось рассмотреть его вблизи и понаблюдать; раньше я его видел, но мельком.

Худой, как щепка, и бледный, как конь Апокалипсиса; в темных очках, черной широкополой шляпе, кожаной куртке; патлы до плеч, на впалых щеках — щетина. Он сидел при двери в углу, где не рекомендуется прислоняться, с гитарой на коленях. Перед ним стоял складной стульчик, на нем — здоровенный проигрыватель. Рядом покоилась расстегнутая сумка для пожертвований, внутри которой красовался некий плакат. Сперва я решил, что там написано об умершем родственнике или надобности в протезах. Но нет. Там стоял плакат с нарисованным солдатом и словами: «Враг хитер, в нем звериная злоба — смотри в оба».

Вращался диск со смесью песен, которым исполнитель с грехом пополам сопровождал на гитаре. Играл он так себе. Иногда и вовсе переставал, отвлекаясь на мысли. Но постепенно увлекался. К примеру, песня про ослепительный миг ему явно нравилась самому. При первых аккордах с диска он выбросил вверх руку, потом обхватил себя обеими — на словах «за него и держись». Очевидно, он отождествлял себя со сверзлившей звездой.

Вообще, он держался весьма интеллигентно. На остановках он, в отличие от алчных лабухов, приглушал звук, чтобы всем были слышны названия станций. На перегонах, напротив, выворачивал до предела.

— Браво! — крикнул кто-то на выходе.

Гитарист воодушевился и начал, забывшись, негромко подвывать. Впрочем, он скоро опомнился и перестал.

На подъезде к моему «Кировскому заводу» он сорвал маску и окончательно перешел на «Юрай Хип».

В гостях у сказки

В метро торчало приглашение: «Решись улыбнуться дежурному у эскалатора!»

Я в нетерпении поплыл вниз.

В будке томилось нечто, похожее на самую большую собаку из сказки «Огниво». Я немедленно улыбнулся во весь рот, но это не возымело никаких последствий.

Но если есть в кармане пачка

В пригородном автобусе ехал вылитый Цой.

Правда, он не знал ни одного русского слова, даже предлога и союза. Но это в наше время не редкость. Удивительно было то, что он, совершенно не умея выразить, куда ему нужно, был абсолютно счастлив. Юный, подтянутый, с белоснежной улыбкой, при наушниках. В какой-то момент я подумал, что он просто разучился их вынимать, поэтому ничего не слышит.

— Вам куда? — допытывалась кондукторша.

Путешественник застенчиво и приветливо скалился, пожимал плечами.

— Как же вы будете выходить, если не знаете? — кондукторша была полна терпеливого сострадания, но и билет ей хотелось продать. — Есть Колтуши, Янино, Разметелево...

Простые русские слова, понятные любому сердцу своим неповторимым звучанием, не находили в пришельце ни малейшего отклика.

— Возьмите с него по максимуму! — весело крикнул какой-то дядя. — Сразу вспомнит!

Кондукторша так и поступила.

Странник принял билет и уставился на него, как на верительные грамоты марсианского посла. Сунул в карман и продолжил смотреть в морозное окно, мечтательно улыбаясь.

В суровые времена его бы сразу и шлепнули, как азиатского шпиона.

Замедленное падение

В метро развешаны плакаты ректора Вербицкой. С них она учит узбеков, как правильно расставлять ударения, где говорить букву «ё», какие слова нежелательны.

Я поймал себя на постыдном. Всем нам известны примеры слов из так называемого детского мата. Он касается главным образом физиологических отправления — без тени еще пленительной эротики, высшей, по Фрейдю.

Люди, которых смешат такие слова, обычно застревают на уровне развития второго класса навсегда, из них вырастают полицейские, продавцы, мелкая администрация и так далее.

Но вдруг я заметил, что сам все чаще пользуюсь этой лексикой. Меня вынуждает кот. Аккуратно с утра, при пробуждении.

Что делать? Он-то и во втором классе не учился. Это же плохо, правда? Я никогда не любил этих слов. Избегал их. Не поддерживал их в разговоре. И вот — пожалуйста.

Очевидно, я слишком часто езжу в метро и становлюсь, как того хочет Вербицкая, настоящим петербуржцем.

Кладовая здоровья

Троллейбус. Едут папа и сын лет восьми.

Сынок:

— Папа! Я хочу жить очень долго! Что для этого нужно сделать?

— Хочешь жить очень долго? — переспросил папа.

— Да!

Папа на какое-то время задумался.

— Делать утром зарядку, — молвил он наконец. — Не пить, не курить и обливаться холодной водой.

— Даже зимой?

— И зимой тоже.

Между тем сутулый папа, упакованный в очки, не производил впечатления атлета. В руках он держал три непоправимо увядшие, абсолютно мертвые розы, которые то и дело осторожно подносил к носу.

Сибарит

Маршрутка. В соседях у меня гражданин с наружностью — ну, скажем, ближе к якутской. В чем нет ничего особенного.

У него зазвонил телефон.

Как... ка-ак он ответил!

— М-да?... Я слушаю...

Так, мне кажется, изъясняются завсегдатаи изысканных борделей, хотя это сугубо личное мое мнение — я мало общался с такими людьми, только с одним, говоря откровенно; он был вполне живописен в описаниях, впрочем, боюсь, что бордель его был не изысканный.

— М-да?... Какая?..

Такой тон допустим на диване, в бархатном халате. Или шелковом.

Я напряженно подслушивал.

— Сто семьдесят первая? Ну так там с балкона хлещет вода на козырек... К понедельнику сделаю, обещаю. В крайнем случае — к среде.

На дворе догорала пятница.

Да, еще на нем была георгиевская ленточка, на сумке, но в этом я тоже ничего такого не вижу.

Паралимпийское

В метро заметил микроцефала.

Молодой человек. Ну очень маленькая голова. И очень большие часы, явно из магазина игрушек: зеленый пластмассовый браслет, фиолетовый корпус, электронные. И еще у него был при себе футбольный мяч.

Интуитивно микроцефал, видимо, чувствовал, что ему чего-то недостает. В какой-то момент он встал, отошел в сторонку и начал устанавливать мяч себе на голову, пытаясь удержать.

Кардиостимуляция

Нищие нынче образованные.

По вагону метро неторопливо вышагивал господин в мятом, но чистом костюме, и с палочкой, явно необязательной. Он держал ее на весу и слегка помахивал. Нес табличку: «Дефект межпредсердной перегородки и овального отверстия».

Я не успел рассмотреть лицо на предмет цианоза, румянца или еще чего. Цвет бритого черепа наводил на мысли о хроническом гепатите или циррозе. Интересно, понятен ли ему свой диагноз и что он сам разумеет под «овальным отверстием»?

Возможно, это бывший ребенок, который возмужал в метро и которого мама носила в свое время с той же табличкой.

Акклиматизация

В маршрутке не повезло мне сесть впереди чудовища.

Оно простудилось.

Оно устроило редкий перформанс. Чудовище кашляло, хрюкало, перхало на весь салон; оно шмыгало, цыкало и чмокало, оно чавкало. Казалось, оно целует себя за то, что хрюкает. Или преобразовалось во щи и само себя хлебает. Ему было вкусно до самозабвения. Еще оно чем-то звенело в паузах — не то пересчитывало мелочь, не то чесалось.

Фургон, подобно утке, переваливался через лежащих полицейских, подстегиваемый кашлевыми толчками. Я рисовал себе скотомогильник. Я видел себя средневековым доктором с клювом и в длинном одеянии, с факелом на голове. Клянусь, все это сложилось в моей голове, когда я еще не взглянул на него и не знал, что это гость с юга.

Но монстр взялся за телефон. Звериные вокализы сменились осмысленным только для него бормотанием.

Все мы живем во власти стереотипов. Образ сложился. Я встал, пошел к выходу и оглянулся, чтобы подтвердить умозрение.

Черта с два. С юга — да, конечно. Однако — уважаемый седой джентльмен в пальто, белой рубашке, при галстукке.

Принесенные ветром

Со снегом на город выплеснулось безумие.

Троллейбус. Ненастье родило дедушку в шапочке. Он приземлился с кем-то рядом.

— Ура, ура, мы с Пятачком! Детское радио смотрели?

— Времени нет, — ответил сосед.

— Пятачок означает защиту. — Дедушка помолчал. — У метро либералы предлагают деньги, заключить договор. Это узаконенное воровство! Разве на «вор» может быть ударение?

— Тем не менее так говорят...

— А тогда — «носитель языка». Я всегда хочу спросить: тяжелый язык? Сколько килограмм?

Дедушка глянул в окно.

— О! Краснопутиловская, четыре! Комиссия по борьбе с коррупцией! Там либералы сидят. Знаете, что они мне сказали, когда пришел? «Докажи!»

Троллейбус остановился, и дедушка вывалился в метель.

Да и в трамвае было неплохо. Я ехал в унылое место, промзону — Ленгиндрометаллошиномонтаж, и так далее.

Когда я вошел, старенький кондуктор досказывал что-то:

— Маленький такой. Летает и, думаешь — кусается?

Я стал слушать дальше. Кто летал и кусался, я так и не понял.

Кондуктор начал перечислять окрестные улицы:

— Лёни Голикова! Зины Портновой! Зоя Космодемьянская! Повесили, окурки тушили... Я был там туристом.

Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна.

Салонный лев

Решительно говорю, что когда снегопад, с кондукторами что-то происходит.

— Садитесь же! Не надо ничего — клянусь, никто ничего не сделает!

Взъерошенный пожилой кондуктор усаживал почтенную даму и денег не брал.

— Садитесь, вам ничего не будет!

Сам он тоже сел — впереди; повернулся к ней, навалился на спинку сиденья. Глаза сияли молодым блеском, вокруг разбегались лучики.

Дама, уstraшенная его пылкостью, что-то кудахтала.

Кондуктор всплеснул руками:

— Могу я на старости лет себе позволить? В конце концов — мужик я или не мужик?

Я сдался и позволил ему. Меня он вовсе не заметил, и я тоже проехал без билета.

Раскол

В метро субботним утром бушевали страсти.

Двинулся нищий. С палкой. На пути у него оказался долговязый молодой человек с сердитым лицом.

Было шумно, я слышал не все. Молодой человек кричал примерно следующее:

— Не знаю, что сделай... иди, квартиру продай, только не ходи мимо меня, уберись отсюда!

— Так у меня нет квартиры, — объяснял нищий.

— Не знаю, что хочешь делай, только не иди здесь!

Тот, рассыпаясь в язвительных благодарностях, вышел вон. Молодой человек злобно сел.

Тут заговорил мужчина, сидевший напротив:

— Зачем ругаешься? Зачем матом ругаешься?

— Пошел к черту! — сказал молодой человек.

— Гав! Гав! Гав! — понеслось навстречу.

За молодого человека встала горой женщина, сидевшая рядом. Нищий тем временем брел в соседнем вагоне. Ему подавали.

— Тебе денег дать? — крикнул молодой человек.

— Гав! Гав!

Вагон расколело по шву милосердия. Я сидел на стороне агрессивного гуманизма, но не вмешивался.

Фатима

Снова видел женщину в маске. Незнакомку. Маска была, разумеется, медицинская.

Я ее встречаю не в первый раз — то она в троллейбусе, то в метро. Молодая и строгая, на контакт не идет. Жгучие черные очи глядят поверх маски со значением.

Слышал, что существуют добровольческие отряды, завербованные фармацевтами. Эти волонтеры специально ездят в масках, чтобы народ задумался над изгнанием свиного гриппа обратно в свинью и купил арбидол. Но эта всегда одна, других не видно. Маловато на наш дремучий пролетарский район.

И этот взгляд... Он прожигает дыру. Спускается эскалатором в преисподнюю и рассекает встречных, как лазер. С такими глазами, по-моему, метро взрывают, а не ведут в нем санитарное просвещение.

Рациональный век

В метро, в переходе на Техноложке, где никто никогда не торгует, а только стадо спешит озабоченное, стоит одинокая карликовая старушка. Очень, очень маленькая, с клюкой, предельно древняя. И машет бутылкой пива, завернутой в целлофан. Завлекает и надеется продать.

Люди спешат и не чувствуют дыхания сказки, но старушка вполне мистическая. Много же сказок, где из леса выходит бабушка или старичок с узелком или свертком каким. Вручают царевичу, третьему сыну или еще какому-нибудь дураку клубочек, пузырек с зельем, другую бытовую гадость из транспортно-торговли. Главное — выделить, вникнуть, осознать, остановиться и не упустить.

Бутылка пива с утра, как выразился мой старый товарищ-доктор, это шаг в неизвестность. Я же повторю, что волшебство мелко и незаметно, потому что сливается с серыми буднями.

Люди проходят мимо и не знают, что они на пороге чудес.

Рокки

В маршрутку втиснулась дородная дама, на скаку. Успела.

Задыхаясь:

— До площади Тургенева идет?..

— Да, да, очнь идет!

Все, речепродукция исчерпана? Нет.

— Ох, хорошо! А то знаю, что идет что-то, а что — не помню! Я до самого дома доеду!

Кому ты это сказала? Кому это надо?

Так я подумал — и ошибся.

— Буду знать! — радовался водитель. — В гости приду!

Намерение было воспринято всерьез.

— Нет, в гости ко мне нельзя. У меня муж ревнивый. Боксер.

Я глянул на даму. Вряд ли там чемпион. Скорее, любитель. Надомник.

Так оно и было. Дама немедленно позвонила боксеру и стала отчитываться. Я понял из монолога, что она ездила на какое-то профессиональное собеседование — для него. Три дня стажировки. Дальше он сможет работать в некотором колл-центре. Ему разрешат позвонить на пробу в качестве экзамена. И будет работать. Потому что он нигде не работает.

Боксер, по-моему, рассердился. Долгая стажировка ему не понравилась.

Дауншифтинг

Транспортный торговец не был похож на торговца.

Сперва я не понял, что он вообще торгует чем-то. Он шел по вагону метро, поминутно останавливаясь и что-то небрежно бросая направо и налево. При этом он говорил, но с ленцой, никуда не спеша, доверительно, с кривой улыбочкой. Глаза были наглые и недобрые.

Дошел до меня и метнул паука. Тот приземлился на схеме линий, где-то в районе Гражданки, и начал перекувыркиваться вниз по красной ветке.

Торговец неспешно вполголоса рассказывал:

— Паук! Дети сходят с ума.

Пластмассовый паук, выкрашенный в божью коровку, залип.

— Че встал? — зарычал продавец. — Ползи.

И ковырнул пальцем.

Представьте, что этим делом занялся бы, скажем, Буковски или разжалованный Винсент Вега. Вот так он себя и вел.

— Везде ползет, — сосредоточенно продолжил он. — По стене, по зеркалу... Пятьдесят рублей.

Все опустили глаза. Торговец пошел дальше, качая головой и потрясенно приговаривая:

— Ну и ну!

Профессор Криминале

Маршрутка подрулила к остановке, и в ту же секунду хлынул дождь. Окна посеклись каплями.

Я приготовился к выходу. Пассажир, сидевший спереди — тоже. Он привстал. Это был господин интеллигентнейшей наружности, безнадежный профессор, борода клинышком, очки в солидной оправе, плетеная шляпа, старомодный зонт.

Ненастье, незадача! Самое время академически пошутить.

— Дождик капал на рыло и на дуло нагана, — изрыгнул он и робко посмотрел на меня в поисках одобрения.

Витамины

Транспортный торговец нарисовался в вагоне метро, вооруженный прогрессивным ножиком и саквояжем с овощами. Еще он был оборудован изогнутым артистическим микрофоном.

Хриплый рев начался такой, будто лесному зверю, оттянувшему пару лет за хулиганку, наступили на мошонку кованым каблуком.

— А вот глядим внимательно — капусточка, нашинковать ее каждый умеет, правда же? Минута — и готова закусочка, я не шучу! Когда я в первый раз увидел капусточки сто пятьдесят грамм, я долго стоял и смотрел...

Следом возникла фаллическая морковка. Импровизатор принялся пласть ее пером, как позорного фуцана. Ломти со стружкой летели в саквояж. Я все это видел и описывал раньше, но нынче не удержался, заглянул внутрь. Там уже был сплошной салат. Без пяти минут борщ. Жаль, я сидел, а то бы тоже стоял и смотрел.

Веер

Веер — вещественное воплощение сексизма.

Еду. Жарко. Она стоит, большая. Ей тоже жарко. Она, как заведенная, разрабатывает себе пронатор и супинатор, гонит на меня свое калахари и лимпопо. Я пропитываюсь.

Ей можно веер, а мне — нельзя. Общественные нравы таковы, что веер мне, конечно, не запрещен, но если я с ним зайду, про меня подумают лишнее. Негласный закон постановляет, что я должен мужественно переносить тяготы сопряженные и отстегнутые.

Даже носки снять попробуй только.

Непринужденное струение нормы

В троллейбусе подобралась компания по интересам, штуки четыре дамы. Нет, они были, скорее, сударыни.

Солировала одна, в очках, другие кивали и подпевали. Про молодежь и разрыв времен.

— Вот посюда носят! — первая скрипка чиркнула себя по лонному сочленению. — Посюда! — по животу. — Посюда! — по висячим сосцам, налитым безнадежностью. — А у нас была нравственность!

Я мысленно отмотал ей лет тридцать. Да, совести не отнимешь. Щадила прохожих. Меня прямо подмывало ее поддержать. Но тут она выдала финальный аккорд, и я простил ее во имя эстетики.

— Никаких памперсов! И порядок.

Лебединая песня

В троллейбусе состоялась редкая встреча.

Кондукторша действующая сошлась с кондукторшей в отставке, со стажем двадцать пять лет, которая просто ехала и ждала звездного часа. Они поспорили о принципе действия валидатора. Кондукторша-ветеран облегченно вздохнула. Никем не узнанная и не востребованная, она каталась гарун-альрашидом и караулила момент. Это сильно напомнило сетевые дискуссии дилетантов, имевших неосторожность задеть эксперта.

— Голову надо лечить! — сказала в итоге кондукторша действующая, поставив диагноз, очевидный для стажа противницы.

Троллейбус взорвался.

— Я звонила в эксплуатационный отдел! — закричала отставница. — Никто здесь не знает, что он есть! А я — знаю!

Мы с ней лишние люди. Я тоже знаю, что у мужчин есть рудиментарная матка, но мне об этом негде вострубить и одержать убедительную победу.

Агасфер

Автобус. Вошел сказочный старичок с бородой веером. Сел и громко спросил:

— А вы не знаете, этот автобус уже идет по Говорова или по Зайцева?

Салон вскипел. Старичку предъявили версии. Он слушал и благостно кивал. Потом спросил:

— А вы не знаете, этот автобус идет по Говорова или уже по Зайцева?

И без того было жарко, а стало совсем. Старичок продолжал смотреть прямо перед собой и кивать, как будто отбивал такт. Наконец, он задал вопрос:

— А вы не знаете, этот автобус уже идет по Говорова или по Зайцева?

Формулировка не менялась — разве только «уже» кочевало с Говорова на Зайцева. Интонации, довольное лицо — все сохранялось. Так оно и длилось дальше.

Думаю, он доехал до кольца и ничуть не расстроился. Кольцо было на улице Счастливой.

Паутина

Бывают же славные люди!
 Маршрутный джигит зачем-то ударил по тормозам, и приятная дама наступила мне на ногу, выбираясь.
 Она всплеснула руками:
 — Не пострадали ли вы?..
 Она сокрушалась, прижимала руки к груди, недоумевала. Я отвечал, что ничего страшного, но она не успокаивалась.
 Я тоже разволновался.
 — Да наступите еще! — сказал я наконец, уже готовый на многое большее.

Слово и дело

Эскалатор на подъем. Двумя ступеньками выше — дама.
 Если на заднице ничего не писать, то я ограничусь беглым взглядом. А если имеется что почитать, так я, понятно, разожгусь вниманием. У нас читающее метро, а я в нем последнее время вообще самый грамотный.
 Там было начертано по-английски: «Не трогать».
 Предупреждений было много — под коленками, лампасными строками, на голених, по окружности. «Уходи», «Я тебя ненавижу», «Держись подальше».
 Ни одну постороннюю задницу я не изучал так пристально.
 Чуть сошли с эскалатора — забежал вперед и оглянулся.
 Написанному — верить.

Старообрядец

Странный случай. Имеются в нашем городе свои партизаны и таежные лыковы.
 Метро. К нему ковыляет дедушка. Сильно неблагополучный, в белой щетине, глаза слезятся, обладает авоськой и палочкой. Передвигается враскоряку.
 — Скажите, где здесь метро?
 Судя по виду, живет он неподалеку. Приехать недавно в таком состоянии из брянских лесов он не мог.
 — Да вот же оно.
 — Это?! Я думал, это какой-то дворец!
 Так-то оно так, но где ты был, Адам?..

Европа

В метро всякие новшества. Из балюстрады торчат портреты граждан города. Не лучших, а именно просто граждан. Первый ползет навстречу: дознаватель ОМВД Василеостровского района. Второй надвигается: дознаватель района Курортного. Да что же это такое? Хоть бы постигла их чума или пасивное скотоложство. Как будто я — не гражданин. Поставили бы меня! Я бы и на улыбку расщедрился. Была бы в городе изюминка.
 Дальше — больше: уведомители европейского типа. На платформе. Не самые, думаю, дешевые вещи. Двери открылись — электронное объявление: «Boarding!» Посадка! И как я не догадывался столько лет? Наверное, это для иностранцев. Они не в курсе, в отличие от наших.
 Следующим номером: поезд прибудет через одну минуту тридцать пять секунд. Тут я похолодел. Неужто правда? Ну не может быть!
 Истомился, считал, заглядывал в тоннель. Выдохнул с облегчением. Поезд, конечно, не приехал. Я злорадно посмотрел на табло: ну, что теперь? Обосратушки? Но меня моментально поставили в строй: ожидается прибытие поезда.

Астральная битва

Ночь. Я ехал последним автобусом, с пересадкой. Народу было несколько человек. Неподалеку стоял юноша, а девушка его, вида кроткого и набожного, сидела. С сиденья же самого заднего незнакомый ни мне, ни им юноша номер два упрямо восклицал:

— Молодой человек!

Тот не реагировал.

— Молодой человек!

Скала. Гранит и базальт.

Тогда надоеда встал и подошел. Он объяснил, что трижды к себе не приглашает, и пообещал сломать руку. Вспыхнул приглушенный спор. Первый, с девушкой, назову его Гогом, отвечал резко. Садиться со вторым, Магогом, он отказывался.

Магог садиться тоже больше не стал. До меня донеслась его веселая реплика:

— Господь все видит!

Но я еще ничего не понял. Я сам пересел, чтобы не мешали читать.

Подъезжая к конечной, я увидел прямо перед нами второй автобус, на который мне пересаживаться. Оба остановились плотно, я выскочил и успел. Гог с девушкой перебежали тоже. Гог даже исхитрился на прощание крикнуть, высунувшись в дверь:

— Все равно моя девушка самая лучшая!

Тогда сподобился заскочить и Магог. Спор незнакомцев возобновился. Ужас! До меня дошло, что это какие-то верующие, разных конфессий. Они завели жаркий религиозный диспут. Доносились слова про правильный путь и прекрасный мир.

Последним, что я услышал, была угроза Магога:

— Я тебе язык оторву.

Дальше я вышел и финала не видел.

Из преисподней

На эскалаторе приковался взглядом к высокому человеку, плывшему на подъем.

Седые волосы были забраны в хвост. На губах играла полуулыбка. Распахнутые светлые глаза обозревали мир с детским удивлением. Руки засунуты в карманы пальто. Вселенная вселяла в него недоумение, граничившее с восторгом.

Потом меня осенило. Я знал его очень неплохо.

Это он по моей наводке явился на ученый совет кафедры кожных болезней, имея в руках сетку со стеклотарой — пришел получать диагноз чесотки. Это его выгнали за безумие из травмы, куда я положил его с сотрясением — класть не хотели, но я назвал его кровным родственником. Это он пытался позвонить по телефону, щелкая пальцем по голой стене. Он обоссал мой диван четырнадцать лет назад.

Я думал, он умер.

Эхо

Дочура позвонила, когда я был в пути. Толком поговорить не удалось.

Перезваниваю с эскалатора:

— Я был в метро. Там продавали фонарик.

— Я поняла по голосу, что что-то происходит.

Симулякры

Дочура:

— Ехала сейчас в троллейбусе. Стоим. Мужик говорит в телефон следующее: «Я стою, я в пробке застрял, не подумал, надо было на метро ехать». Он произнес это одним матом, одними однокоренными словами! Я даже от «Карамазовых» оторвалась, чтобы послушать настоящую русскую речь!

Железный жезл

Троллейбус. Пожилой пассажир дождался случая и нанес удар. Он расцвел, помолодел, доверительно перевесился через барьерчик и обратился к молодежи, рассеившейся на инвалидных местах:

— Зрение хорошее? Прочтите-ка надпись...

Конечно, седой активист был прав. Бессовестные скоты повставали и потянулись стоять, как и положено. Но он не остановился. Соло только начиналось. Истосковавшись по воспитательной работе, он продолжал уже громко и обстоятельно, с анализом ситуации, обозначением перспектив и повторением особенно удачных пассажей.

И мне захотелось подключиться. Сказать ему: горькая, горькая ваша доля! Вы скоро умрете. Ваша единственная трибуна — троллейбус. В нем вы царь. Вы — президент и главнокомандующий троллейбуса. Я мог бы доверить вам сформировать его кабинет. От вас летит слюна, и это верный признак невосребованной способности к руководству. Власть ваша. Вам ее отдали без единого выстрела. Стригомые стада отводят бараньи очи.

Но тут я понял, что нас станет два президента троллейбуса.

Большая политика не для меня.

Ящик Пандоры

С прибытием гриппа в метро появляются наемники. Это молодые люди с очень серьезным взглядом и в масках. Они строго посматривают на пассажиров и намекают, что самое время задуматься. Купить, например, арбидол. Или хотя бы маску.

Вчера я приземлился рядом с таким. Тщедушный юноша с пластиковыми дырами в мочках ушей. Такого сдует легким сквозняком. Мне было далеко ехать, но ему еще дальше.

Маску он приспустил с носа на рот. Вынул блокнот и принялся рисовать и писать. Он не делал ни одного лишнего движения — я косился, следил. Трудился столь упоенно, что впору было заподозрить открытие нового противочумного средства. Не останавливался ни на секунду, сидя вроде бы напряженно, но и раздольно. Вот оно. Вот это самое сочетание мне удивительно. Это какой-то особый, ранее мне неизвестный вид бодрствования. Есть в молодом поколении странное умение ответственно сосредоточиться.

Конечно, я попробовал присмотреться — что он там чертит. Юноша нарисовал аккуратный квадрат, как для морского боя. Внутри было нечто дикое. Не узор, какие чертят от нечего делать, а что-то системное, чуть ли не существо с тщательно заштрихованным фоном. Но нет, не существо. Я не знаю, что именно.

Нарисовав это дело, он начал писать бессмысленные формулы. Одну за другой. Я не знаток, но даже приблизительно не понял, из какой это области знания. В уравнения вписывались какие-то англоязычные аббревиатуры.

Все это время на нем была маска. Позу он не менял.

Не знаю, какое открытие заставило его пренебречь смертельно опасной эпидемией и ездить в метро.

Качели самооценки

Туда-сюда, туда-сюда... В небеса и преисподнюю.

Подъехала маршрутка. Я сунулся лезть нахрапом и моментально устыдился. Не посмотрел, кто выходит. Молодой человек соскочил и протянул руку. Стала спускаться его спутница, беременная, месяце на девятом.

Мои качели чиркнули по Южному полюсу. Нехорошо. Тому ли меня учили?

— Да ну давай же, твою мать!

Молодой человек выдернул ее, как репу из нагретого чернозема. И пошел по тротуару. Она заковыляла за ним утицей.

Качели стремительно взмыли и ощутили дыхание Арктики.

Контактеры

По вагону метро шел бодрый пожилой человек, немного похожий на Энтони Хопкинса.

— Книга о гибели Юрия Гагарина! Написана мной. Я летчик-испытатель. В ней также рассказано о моих встречах с НЛЮ и о многом другом.

Рука моя дрогнула. Но мне не хватило цеховой солидарности полезть в карман. Да, у меня тоже книжки. По-моему, я видел и НЛЮ. Но я не летчик.

Оттепель

Сегодня похолодало, зато вчера был по-настоящему теплый апрельский день, первый в нынешнем году! Оттаяло многое, даже отмерзло.

Первый подснежник и даже, не побоюсь этого слова, ландыш нашелся в автобусе. Гражданин лет пятидесяти, спортивного сложения. Он вошел, будучи одет в беговые трусы и майку, а при себе имел обруч. Вспотел он совсем немного и озирался с детской вопросительностью.

Я уважаю спортивных людей. Надо когда-то уже начинать над собой работать, а то я вообще томился в куртке. Дождусь устойчивого тепла и прокачусь на трамвае в трусах и с гантелями.

Микроскопия страха

Сегодня убедился, что страх — сугубо людская реакция и никакая не эмоция, а чистая мысль. В нечеловеческой природе никакого страха нет, а есть реакция самосохранения.

Дело было в маршрутке, неслась она в Ленинградскую область, где не хотят строить дорогу, а хотят строить Триумфальную арку к юбилею Победы. Летела она через виадук. Дело известное, сводки поступают систематически.

Водитель — на сей раз не конный джигит, а любящий быструю езду славянин — ударил по тормозам так, что швырнуло решительно всех, и что-то посыпалось. Доли секунды ушли у меня на то, чтобы подобраться, сгруппироваться, наскоро оглядеться и сравнить шансы с остальными. Перепуг и прощание с близкими начались, когда экипаж уже снова катил.

Я думаю, с божьим страхом будет похожая история. Надо будет быстро нырнуть по верному адресу, пока не засосало.

Жандарм

Абсолютная власть развращает абсолютно. С другой стороны, желателен жестоковыйный пастырь с железным жезлом.

Автобус. Кондукторша заслоняет выход и грудью препятствует тем, кто не приложил к валидатору карточку.

Но вот один приложил, но к сломанному, а сам не посмотрел и вздумал выйти.

Бросила все, понеслась, догнала.

— Не выпущу! Не уйдете, пока не приложите! Анархия какая!

Скорость

Маршрутка, которая рулит со Ржевки в область, страшнее самолета. Всякий раз крещусь. О нет, там не узбеки. Узбеки — что... Ну да, услышал сегодня же:

— Офигел? Не на осле едешь!

Дама упала, никто не спорит. Но ведь встала, живая. Осел он и есть осел, трюх-трюх.

А тут — степная кобылица, запряженная в тройку. Тут наши.

С буквальным отрывом от земли. Я постоянно жду, что уберет шасси.

Образы Бробдингнега

Видел в метро напротив себя великана.

Не то чтобы он был такой уж и впрямь великан... Роста высокого, но вполне заурядного. Однако впечатление создавалось его сложением.

Лет двадцати, в футболке и шортах, с дачной поклажей. Блондин. Огорчительно маленькая голова, узкие плечи. Дальше начиналось неуклонное развитие, расширение и, я бы сказал, рывок. В шортах он был — вполне уже корма боевого фрегата.

А дальше были ноги. С какого перепугу, вы спросите, мне пялиться на голые мужские ноги?... Да потому, что не видал таких. Это балки, каждая будто бы ростом с меня, растущие от ушей, со ступнями пятидесятого размера. Чудовищные, неохватные поршни, но не больные какие-нибудь, а здоровее не придумаешь. На таких расхаживают гигантские роботы и Годзилла.

Рядом сидела его мамаша. Тоже корпулентная, но в пропорциях.

Я ничего не смог с собой поделат. Начал представлять, как она его рожает. Прямо такого.

Дуэль

Маршрутка приблизилась очень медленно. Черная иномарка ползла впереди и блокировала ей курс. Оказалось, что эти двое из-за чего-то поссорились. Я понял это не сразу. Зашел, ссыпал монеты, присел и начал ждать, но колесница не трогалась с места.

Тогда я подошел к кабине и увидел, что джигит и славянин-автолюбитель о чем-то яростно спорят. Вдруг джигит быстро вернулся, схватил считывающее устройство и сунул в карман.

Я забрал свои деньги, вышел и стал любоваться. Беседа была жаркой, но тихой. Славянин нагло улыбался. Опустив взор, я увидел, что джигит превратил считывающее устройство в пистолет и целится им врагу в пах через карман. Тот скосил глаза и заулыбался еще шире. Джигит подступил ближе, грозя непоправимо поразить его свинцом. Оружие грозно выпячивалось, готовое выстрелить. Автолюбитель вынул свое — телефон. И начал набирать номер.

Тогда джигит сообразил, что поединок проигран. Он выхватил устройство и отчаянно замахнулся, но не ударил, а зашагал обратно в автобус. Враг ликовал.

Не скрою, что я болел за джигита. Мне тоже однажды случилось прицелиться в бомбилу пальцем. У меня не было денег. И я оказался удачливее.

Новости с фронта

Троллейбус. Трансляция. Нет, не остановки объявляют. Военная летопись августа! Семьсот семидесятый, что ли, год — победа над турками. Девятьсот четырнадцатый — Германия объявила войну.

И дальше — тишина. Троллейбус едет себе. Пассажиры сидят ровно.

Я искренне не понимаю, зачем это. Ну ладно, история. Лучше бы троллейбус рассказал, мимо чего мы едем! Решетка красивая у парка. Водочный магазин. Кафе. Почта, часы работы такие-то. Но нет. История у нас обязательно военная.

Могли бы напомнить про какой-нибудь бал в семьсот семидесятом году. Или о крестьянине, который вырастил манго и вспахал без лошади поле.

И вот уж октябрь. Низы подхватывают с готовностью. Кондукторша проверяет проездной:

— Действителен до двадцать второго! Запомните — когда началась война!

Ну еще бы. Здесь нечего помнить, кроме войны.

Товары в дорогу

На вокзале хотел чего-нибудь заглотив и напоролся на щит: «Выпечка с любовью». Была и с капустой, но я не уверен, что их делают порознь.

Сума и тюрьма

В вагоне метро обозначилась потрепанная фигура.

— Я бывший поэт и артист! — горестно объявила она.

Дальнейшее скрыл грохот колес.

Человек начал предъявлять доказательства и совать окружающим захватанные, местами затоптанные распечатки. Я потянулся за одной. Он хищно подставил ладонь, но я указал на лист, и поэт разочаровался.

Стихи были скромные, что-то про море и проваленный экзамен.

Поэту подавали. Он взял рублей двести. Я тоже немного дал — мало ли что.

Поэт, возбужденный успехом, взволнованно приговаривал:

— Меня избили хулиганы! Но я буду, я буду бороться!

С поезда он мог собрать тысячу. Мой дневной заработок.

Такие стихи мне, думаю, по плечу, да простят эту дерзость мои литературные смежники.

Опыты опознания

Секрет Донцовой и Устиновой прост. Обычное отождествление.

От тридцати до шестидесяти, крашенная, подведенная, с немного напряженным и строгим лицом, в просторном газово-шелковом одеянии; что-нибудь черное с кожаным — вроде лосин и широкого пояса, плюс обязательная блестящая составляющая — какой-нибудь металл или камешек.

Ну и одноименная книжка в руках.

Я таких знаю. Точно такую и рассматривал в метро, сидела напротив. С обложки сошла! Либо Виола Тараканова, либо Люсинда Огорокова.

Обязательна толика снисходительной самокритики: ну да, Тараканова — но все же Виола. Об этом говорится громко, под заливное, на дне рождения главного бухгалтера.

Седины

Сегодня — День пожилого человека. Хватит печалиться! Надо пользоваться преимуществами. Карамзина назвали стариком в тридцать четыре, так что я уже окутался потусторонним ореолом и знаю тайны.

Поэтому я не против, когда в троллейбусе мне предлагают посидеть. Но нынче это сделала бабушка лет восьмидесяти. Спасибо, что без флирта.

Всюду жизнь

Описывая Лондон, Питер Акройд радуется единичным примерам старинного быта, которые кто-то удосужился записать. Может быть, и меня помянут добрым словом! Я тоже запишу.

Потому что везде своя драма.

Пригородный автобус. Кондукторша сидит сзади. Волнуется в телефон:

— И он имеет нахальство заставлять меня работать! Мы вчера сломались. На Ириновском. Ленивая обезьяна даже колеса не посмотрела! Я перенервничала. За ночь-то, спрашиваю, сделаешь? А он мне сегодня: ну, я без тебя съездил! Только ты никому не говори... Я не слышала утром, как он звонил! Не слышала!..

Оборотень

Кинг выписал очередного маньяка — мороженщика. Это не спойлер, личность обозначена сразу. Приветливый молодой человек. Очевидно, поэтому у сейчас начеку.

В троллейбусе № 13 нехороший кондуктор. Тоже молодой человек, лет двадцати пяти, совершенный ботаник с черными кудрями и в очках. Классический математик или айтишник. Те две остановки, что я ехал, он не умолкал. Его завлекательно-предупредительные речи приличествовали лихому отставнику или говорливой бабуле — оба выжили из ума. Юный математик давал характеристику каждому проезжаемому с указанием сроков действия и повторял несколько раз; смотрел внимательно и с любовью к работе; шутил: «Прикладывайте смело, током не ударит»; не пропустил никого, называл свой валидатор «волшебной штучкой» — «сейчас я ею проверю».

Диссонанс был настолько силен, что я присмотрелся, не нагружен ли взрывчаткой его жилет.

Мне он оторвал билетик и пожелал, чтобы оказался счастливым.

Не оказался.

Мзды не беру

Ну как мне не написать про очередного кондуктора?

Сегодняшний был антиподом вчерашнего. Лет сорока, с лицом убийцы. Он отказывался проверять карточки, даже когда совали. Не брал и денег, огрызался. На мои монетки он тоже покосился и не прикоснулся к ним. Сел на место для инвалидов и отвернулся от человека с кривой клюкой.

Либо местный Буковски, либо пятнадцать суток общественных работ.

Призраки

Иные пассажиры ничем особенным не занимаются. Им достаточно быть.

Скособоченная женщина среднего возраста, похожая на медведицу, в джинсах. Ходит по платформе взад и вперед широкими быстрыми шагами. После десяти разворачивается и так же спешно идет назад. Лицо загадочно-заинтересованное. С таким же и села вполоборота, будто бы в ожидании праздника. И поехала так.

Пожилой джентльмен в легком, не по сезону, полосатом костюме и с маленьким саквояжем в руке. Котелок. Подкрученные пышные седые усы. Неуместен чуть более, чем вообще. Мог бы возглавить гангстерский синдикат или английскую разведку.

Тоже уехал.

Все они уезжают, и больше их нет.

МЕЖДУ СТРОЧЕК НЕ ЧИТАТЬ

Главы из романа

... Когда делаешь первый укус, за ним первый глоток — абсолютно ничего не понимаешь, предвкушение удовольствия перекрывает другие ощущения. Второй, третий, другие укусы приносят блаженное расслабление и удовлетворение, получаешь то, чего так жадно ждал, отчего текли слюни — вкус, цвет, форма, начинка, все как полагается. Когда делаешь последний глоток — ненавидишь это блюдо. Чем больше ешь, тем безвкуснее еда... Мне никогда не понять длительных стабильных и уравновешенных отношений. Я не хочу через пару лет прекрасного лучезарного брака ходить по утрам в туалет, прикрывая потребностью чистить зубы примитивное желанием отыгнуть переизбыток сладкого. Планка не то чтобы высока — планки нет; я не то чтобы не могу найти тебе замены — я не могу найти замены себе...

— Поедешь со мной?

— Куда?

— Куда скажу, туда и поедешь.

— Тогда — да.

Снег, снег, бесконечный и белый, солнце, солнце, тусклое, жадное, привередливое солнце, чему тут радоваться... Идолопоклоннику моря и горячего песка противопоставлены снежные процедуры, а мы уже три часа куда-то едем, и отец, как оказалось, тринадцатилетней дочери улыбается мне невозможно пафосно и загадочно. Мне так тепло в его машине, мне так нравится, что тепло, а на улице минус двадцать, что я на миг, на два, на три забываю о своей сущности. Как бы хотелось никуда не приехать и ниоткуда потом не вернуться. Не хочется даже что-то говорить и что-то делать...

Дача зимой — это как-то убого. Все мертвое вокруг... и тихо. Тихо допиваем бутылку, тихо зажигаем звезды, чтобы видеть друг друга, тихо и небрежно ты садишься ближе, еще ближе.

— Мне показалось, или ты не хочешь сегодня возвращаться?

Догадливый, продолжи: «Не бойся, я тебя, конечно, не трону, я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы кидаться на молодых симпатичных девочек при первой возможности... Просто хочу, чтобы тебе было немного веселее, чем обычно». И действительно — мне нравится все, за чем нельзя рассмотреть истины. Ври мне, ври, что ты альтруистически настроен и что снимаешь с меня одежду только для того, чтобы она не мешала мне отдаляться от природы. Мне нравятся руки и настойчивые резкие движения, но я не готова изменить тому, кому уже изменяю, не изменяя в итоге никому. Секс с ним не будет изменой тебе, потому что я для тебя потерянный рай, забытый остров и

просто надоевшая привычка; не будет изменой моему бойфренду, потому что он для меня просто времязаполнитель, ничего более; не будет изменой себе, потому что, по сути, я та же похотливая эгоистка. Мало вина... Моя вина?.. Нет, я говорю, мало вина. Есть еще, налей еще, еще, хватит, за тебя, ты красивый, ты красивее меня... Моя вина... Мало вина?.. Да нет, я говорю, моя вина. Во всем, что происходит, моя вина. Я слишком сильно люблю две вещи — очаровываться и разочаровываться. Первое ты уже сделал, приступай ко второму.

— Можешь на меня положиться, разочаровывать — мое любимое занятие. Иди сюда. Не сиди там, иди, я сказал, иди сюда. Не смотри так невинно, я не шучу, — это крик, — иди сюда!

Все же я знаю, для чего я так тебя хочу увидеть. Чтобы когда ты уйдешь, снова начать тебя ждать. Ждать тебя куда интереснее, чем быть с тобой. Все же я в постоянном ожидании Годо. Блуждаю в поисках твоих глаз по миру, ни разу ни сдвинувшись с места. И ты мне нужен не больше, не меньше, а сильнее всего на свете. Или не ты. Или твой образ в моей голове, твои глаза во сне. Знаешь, я ведь люблю не тебя, я люблю любовь к тебе, и в клинику для душевнобольных меня загонишь не ты, нет, ты тут совсем ни при чем, ты можешь уверенно курить в стороне; загонит моя богатая до безобразия фантазия. Богатая фантазия — не дорога в режиссеры или писатели-фантасты, это верный предвестник плохой жизни, которая никогда не закончится. Пока фантазия очередной раз рождает мысли, негативные, позитивные, нереальные, сюрреалистичные, порой извращенные, люди свое место на шахматной доске моей жизни не займут. Я призываю фантазию замолчать, я умоляю память атрофироваться, я заклинаю себя не думать о тебе каждую секунду, но это не в моей власти. Боже мой, да я всего лишь марионетка в руках кукловода, я не в силах противиться судьбе, я плыву против стихии и стреляю в свою сущность с двенадцати шагов без секунданта — но все без толку... Но твое присутствие куда реальнее в моих мыслях, нежели в моей квартире; твои глаза куда ярче горят в моих сказках, чем в отражении моих; твои руки куда волшебнее в третьей фазе моего сна, чем на седьмом позвонке спины... Скажешь, брежу, скажешь, *под чем-то* (будешь прав — под снегом, под пледом, под небом, на балконе, застывая и оттаивая), скажешь, смешно, сама придумала тебя таким идеальным... Отвечу, что прав, что всегда прав, только этим и живу. И не хочу тебя всего и навсегда, а хочу тебя частями и мгновениями. Тихими, дрожащими от удовольствия мгновениями. Мне нужно только забить глаза досками, чтобы не видеть правды, в которой тебя не существует, как нет на самом деле Деда Мороза и Снегурочки. Забить и не видеть, но пятилетним ребенком верить, что ты вернешься.

* * *

Непрерывным потоком ко мне приходят гости. Скоро буду брать по три сотни за вход и проверять сумки на наличие наркотиков, оружия и валюты. Тот факт, что я живу одна, не говорит о том, что можно нагло заваливать ко мне. Мое одиночество против. Но сегодня я говорю *вэлкам* своей подруге и ее парню. Мне не то чтобы эта компания не нравится... они веселые, пьют виски, а я кофе, с ними не скучно, и порой я смеюсь искренне громко. Но все же из всех находящихся здесь я люблю только кофе.

Когда гости уходят (и я в глубине души этому рада), квартира стихает, снег все падает и падает на голову моего дома, может, где-то и ты под этим снегом, может, и не один. Остается он, который моет посуду и приносит мне какао в постель, целует и потеплей накрывает одеялом, ложится рядом и говорит что-нибудь приятное. Я засыпаю спустя пару часов кругосветного путешествия по

кровати, не вижу во сне ничего необычного, и с утра мне прямо в глаза светит солнце. Больше мне ничего не светит. Он отвозит меня слушать лекторов, но я их не слышу, машинально записывая что-то в тетради, я улыбаюсь — и все так рады моей улыбке. Вечером я еду домой, в магазин за едой, гуляю с подругой, глотаю мороз — мерзнет глотка, глобальное похолодание, февраль, но скоро весна, растает только снег, не растает твоя ко мне ненависть, потекут ручьи; все идет по кругу, бесконечная ходьба на месте. Почему мы живем в одном городе и не видим друг друга?..

Я целеустремленная. Я целеустремленная и умная. Я целеустремленная, умная и воспитанная. Я целеустремленная, умная, воспитанная и талантливая. Я целеустремленная, умная, воспитанная, талантливая и добрая. Я целеустремленная, умная, воспитанная, талантливая, добрая и самодостаточная. Но прилагательные не живут без существительных. Поэтому я целеустремленная, умная, воспитанная, талантливая, добрая, самодостаточная шалава. Пусть будет так. Пусть части речи не врут. Пусть будут вместе.

* * *

Стандартное утро, утренние стандарты: допить оставшийся виски, теплый, липкий виски, не закусывая, пройтись по квартире, пару раз споткнувшись на гладком, как только что залитый каток, ламинате, тоскливо упасть в еще теплую постель и снова не уснуть. Ну и что, что хроническая бессонница, зато я успеваю сделать много дел. Раньше я делала их днем, теперь делаю и ночью. Итак, двойная порция тоски, грусти, глажу свое одиночество, выращиваю шизофрению, говорю по телефону, через секунду забывая, с кем говорила, строю планы и представляю. Я бы хотела проснуться в это снегом засыпанное воскресное утро не одна, не здесь, не так; хотела бы с тобой, хотела бы у тебя, хотела бы открыть глаза и увидеть твое влюбленное, пусть не в меня, лицо, поцеловать твое плечо, которое всю ночь обнимала, и почувствовать твое присутствие... Снова не то. Снова не ты.

Всю ночь танцевала под фиолетовыми огоньками, хотела целоваться с тобой под этими огоньками, но целовалась с другим — и, кажется, не с одним; после выпитого, обнаружив, что это не ты, завyla и уехала домой. Я знаю всех и все знают меня, но все такие чужие, что лучше бы не знать никого. Я не хочу ничего и никого, я отрицаю существование других, я умру одна в этой четырехугольной квартире, она меня убивает, но я не променяю твои ямочки на щеках ни на какие рассказы, романы и эпопеи. Ни на поэзию, ни на прозу.

Тогда, на даче с моим престарелым другом, ничего не случилось, не получилось, потому что он не смог. А я разрешила бы привязать; привязанность к тебе сама по себе ничего не значит, пока я не сравниваю тебя с другими и не понимаю в очередной раз, что ты не лучше, ты не хуже. Ты такой, каких больше нет. А больше и не надо. Лучше одна. У тебя и во время нашего бракованного брака было много других. И сейчас, я думаю, не меньше.

Глаза сужаются от бесконечной мелкой соли, которая уже и не слезы, а просто соль, скапливающаяся в глазах; быть может, я ослепну. А может быть, усну...

— Выдохни! Малыш, выдохни, тебе плохо, тебе хорошо?

— Да уйди ты от меня! Уйди!

— Открой рот! — он вливает в меня литр без газа, моргает, как испуганная птица.

«Убери ее от меня! Убери от меня ее!» — хотела бы я орать, но молчу и ничего не могу произнести, язык онемел.

Накрыло теплым одеялом, кажется, с красными маками. И дверь открыта, и я не решаюсь посмотреть, кто за ней стоит.

Я думала, что утро и снег, что я скольжу по ламинату в своей квартире, а оказалось, что ночь и ветер, и я скольжу по танцполу «лучшего клуба в мире» (иллюзия сродни тому, что Турция — лучший курорт), и мне так хорошо, что зеленые бутылки с зеленым алкоголем никогда мне не заменят твои зеленые глаза. Зеленые елки. Елочные игрушки. Игрушечные отношения. Относительная стабильность. Стабильная пьянка. Я пьяна. Как в небе луна. Одна. Твое имя. Я называю твое имя. Вы его не видели?.. А вы?.. Да ладно, неужели позавчера?.. И как он?.. Такой же красивый?.. Не такой красивый, как я?.. А сегодня вообще... воскресенье?

— Привет, красотка! Когда же ты успела?

— Привет, привет... новые очки? Шикарные? А не отвезти ли тебе меня домой?

— Без проблем, собирайся, поедем, — а теперь мне кажется, что ему сорок.

Натягиваю на ходу шубу, запинаюсь в собственных сапогах. Падаю на заднее сиденье и делаю вид, что не вижу, как твоя машина проезжает мимо нас. Сердце многозначно — прыг-скак, укатилось под сиденье.

Я высохла полностью, не будет больше попыток тебя забыть, застрелить память, привязать веревками руки, не могу я больше притворяться. Я не выстою. Я прикована к инвалидному креслу прошлого. И не прошу у тебя прощения, и не пытаюсь тебя вернуть, и никогда тебе не расскажу об этом. Я уже не верю ни в чудо, ни в судьбу, ни в любовь. Закутавшись в заботливое одеяло, стабильно горячо ненавижу себя. Мы действительно друг друга разочаровали, предали, исказили до неузнаваемости, но ты на всю жизнь приковал меня к себе моим же воображением. Даже если ты больше никогда не появишься в моей одноразовой резиновой скучной жизни, я буду представлять себе, что, окажись ты рядом со мной, ты делал бы меня счастливее, даже делая несчастной.

* * *

Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. День рождения подруги. Суббота. Воскресенье... Итак, день рождения подруги. Языком наивных малолеток — *лучшей* подруги. Шикарный бассейн, горячий воздух, холодный алкоголь, теплый дым и скромная симпатичная компания, в которой всегда найдется маленькая тварь, которая испортит тебе настроение. У меня больше нет парня, и я несказанно этому рада, потому что если уж не ты, то никто, потому что как бы ты ни был похож на остальных, остальные на тебя абсолютно не похожи.

Мне пришлось прийти красивой. Я ищу жертву. Когда в тебе «Джек Дэниэлс», сложно отказать. Пусть сегодня будет он... Бассейн, душ, спальня — и он ни разу не дотронулся до моей красоты.

— Ты меня бесишь, — ухожу, проклиная его девятнадцать лет.

— Подожди, куда ты?.. — он называет меня по имени.

Боже мой, не надо меня называть по имени. Только не по имени.

Подруга виснет сразу на двух двухметровых мужиках, четыре метра роста и двести килограммов веса. Повезет ей сегодня — завтра, задыхаясь гиперболоми, расскажет мне, у кого какой и кто куда. Ловлю себя на мысли, что становлюсь пафосной дрянью. Все мне кажется смешным, будто я не такая, как эти ребята. Не включить ли мне вот этот трэк? Подвिसаю на диване; sms от женатого и бородатого: «Хочу». Отвечаю адресом. Пишет, что приедет и будет меня целовать. Нет уж... Только не целовать. Я готова на все во всех немислимых позах, но только не целовать его. Мои губы дали обет верности.

Пытаюсь вспомнить, как четыре года назад ты нещадно обгрызал мне их, однажды даже прокусил до крови, слизывая до утра, и я стонала от странного удовольствия. Но я не могу вспомнить, как ты меня целовал, я вижу картину со стороны, я помню твои губы, но снова ощутить их вкус не могу. Почему это больше невозможно?..

Подруга ложится ко мне на колени и, запинаясь, рассказывает, как ей нравятся эти два борца. Я рада ее словесному бреду, она абсолютно здоровая и адекватная девочка, и я завидую ей всеми завистями на свете, что она не создала себе кумира, что даже в свой день рождения не зациклилась на прическе и макияже; я же, как ненормальная, бегаю со своей красотой (быть может, потому что больше нечему радоваться, кроме как отражению в зеркале).

Звонит ее домашний телефон — наверно, сорок седьмая бабушка желает поздравить любимую хорошую девочку, которая сейчас лежит на мне и рассуждает, кто из этих двоих будет с ней и как.

— Алло... Алло... Привет, спасибо, да, здесь, у нее давно другой номер... одна, вот она... не надо? — я слушаю ответы, подставляя перед ними вопросы, но логической цепочки не выстраивается.

Она смотрит на меня глазами испуганного котенка, не моргая.

— Кто тебе звонил?

— Может, не будешь звать сюда своего мужика? А то потом слухи пойдут...

— Да кто тебе звонил? — трясу ее за плечи.

— Ну хотя бы пусть приедет позже, и ты с ним уедешь...

Ее уводит один из двух, она не скажет, кто ей звонил, но она разбудила мою фантазию. А может, это ты? Шестой месяц не можешь мне дозвониться, поздравил ее с днем рождения и спросил, здесь ли я — знал, что здесь. Хочешь меня увидеть и приедешь? Может быть... И мне страшно. Вдруг это правда. Но что я тебе скажу, что ты мне скажешь? Лучше не надо. Ведь ничего не будет. Ведь ничего и не было.

Выпиваю два стакана залпом, трезвею на глазах. В тумане кальянного дыма иду подругу — может, они еще не начали, может, она все-таки угомонит мою издевательски активную фантазию. Вижу прекрасное зрелище, не описать словами; извини, что отвлекаю, я не смотрю, скажи только, кто тебе звонил... Она говорит, что звонил мой бывший (о нет, он вечный!), называет твоё имя, — хотел узнать, здесь я или нет, хотел приехать, зачем — не сказал, что за тупой вопрос, неужели непонятно, что за тобой. Ее красавцы смотрят на меня похотливыми глазами, я не понимаю намеков, я пытаюсь вспомнить, как я раньше дышала.

А если это шутка?.. Такая вот невероятно остроумная шутка — звонила все-таки бабушка (дедушка, тетя, дядя, племянник, соседская собака, служба доставки пиццы), и я сейчас зря закрылась в ванной и пятым слоем закрашиваю свою нервозность вишневой помадой. Выбивая дверь, заваливает знакомая или незнакомая девочка, ей плохо, говорит мне: ой, а это тебя... этот, который сейчас... Она пицтит мне вслед, что он и правда красивый, твой бывший, и его новая девушка тоже красивая, — но я не слышу, когда мне надо, я просто делаю людей беззвучными. Лучше бы это было враньем — я так люблю качественное вранье. Я привыкла к твоему отсутствию, я боюсь, судорожно боюсь, что не хватит смелости осознать, что ты не только в моем воображении, ты здесь, тебя можно потрогать, тебя можно поцеловать, дайте кто-нибудь сигарет, нет, ничего не произошло, ну и что, что я не курю, дайте мне сигарет...

Проходит час. Проходит еще час.

Ничего не будет.

Игорь ЛАДЫГИН

СКАЗАНИЯ О СТРЕЛКАХ СИБИРСКИХ

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

Есть такое понятие — сибирский характер. Определений у него множество, воспет он многими писателями, поэтами, журналистами. Отличительная черта сибиряков — упорство. Не упрямство, а именно упорство — без этого качества невозможно было освоить суровую сибирскую тайгу, выжить в диком, толком не обжитом краю. Упорство свойственно русскому человеку, а русскому сибиряку — особенно. Сибирская дивизия генерала Лихачева отличилась при Бородино — в бою с кавалеристами маршала Мюрата сибиряки полегли почти все, но с места не сошли. Сибирские казаки в XIX веке ничтожно малыми силами охраняли почти двухтысячекилометровую южную границу России, и нередко на 5—10 казаков приходилась не одна сотня противников. Но — удержали границу. А потом уже, в конце XIX века, на помощь казакам пришли регулярные войска — туркестанские и сибирские стрелковые батальоны. Эти части тоже стали комплектоваться в основном из сибиряков.

Первой войной, ставшей для сибирских войск испытанием на прочность, стала Русско-японская война. Тяжким бременем легла она на сибирский край. Если в центральной России лишь в некоторых губерниях была объявлена частичная мобилизация, то в Сибири мобилизация была поголовной. Все мужчины, кто мог держать в руках оружие, отбыли на фронт в Маньчжурию. Условия театра военных действий были очень суровы — холод, голод, грязь, трудности со снабжением, но сибирский характер выдержал и это. Не привыкать, не впервой... Японцы надолго запомнили мужество и стойкость сибирских полков — у Порт-Артура, Дашичао, Цунь, Хамытани, Ляояна, на Гаутулинском перевале... Полки 4-го Сибирского корпуса, прекрасно показавшие себя в боях под Дашичао, Хайченом и Ляояном, были укомплектованы исключительно сибиряками — по выражению генерала А. Н. Куропаткина, «людьми угрюмыми, но стойкими, с твердым и решительным характером». Согласно отчету санитарного управления армии, уроженцы Сибири представляли в общем наилучший по здоровью контингент. Физически крепкие, приученные к лишениям и невзгодам таежной жизни, они сравнительно легко и скоро свыкались с условиями походной жизни. Видимо, не последнюю роль для запасных, призванных из Сибири, сыграл тот факт, что многие из них проходили срочную службу, участвуя в китайском походе 1900—1901 годов. Они хорошо представляли, как нужно было вести себя с местным коренным населением, к чему готовиться и чего ждать от природно-климатических условий Маньчжурии. Отличились там и Иркутский и Енисейский полки — будущие новониколаевские — заслужили Георгиевские знамена.

Да, тяжелые природные условия Сибири закаляют сибиряков с детства. К тому же большинство сибиряков — потомки каторжан, ссыльных, беглых и просто смелых крестьян-переселенцев, ехавших неизвестно куда за тридевять земель в поисках «Беловодья». Все эти факторы делали сибирских стрелков опасными противниками.

В Первую мировую сибиряки не раз продемонстрировали свою стойкость и мужество в боях «за Веру, Царя и Отечество». Именно на сибирские части на Западном фронте сделало ставку верховное командование в тяжелый 1915-й год.

Вот что говорил о сибиряках, например, русский генерал А. В. Туркул — ветеран Первой мировой и Гражданской войн: «Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские... Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает — и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу... Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают, как известно, многие военные, и среди них генерал Людендорф».

Генерал П. Н. Краснов писал: «Сибирские полки принесли с собой силу и мощный дух необъятной Сибири. Они несли крепость сибирского крестьянина, его положительность и опыт Японской войны».

Вспомним знаменитый бой под польским городом Пясеčno 27 сентября 1914 г., когда прибывшая под Варшаву в самый критический момент Варшавско-Ивангородского сражения 1-я Сибирская стрелковая дивизия прямо из эшелонов, не дожидаясь поддержки артиллерии, бросилась в штыковую атаку и остановила рвавшийся к Варшаве германский XVII армейский корпус, укомплектованный пруссаками. А надо сказать, что немцы тоже сильный и упорный народ — например, в июне 1916 г. германский XX корпус из Брауншвейга в течение 4-х суток 42 раза подряд атаковал позиции русских стрелков... Но пройти не смог.

В 1915 г. Восточный фронт был фактически спасен бойцами 11-й Сибирской стрелковой дивизии, которые полегли почти все, но не дали значительно превосходящим силам немцев прорвать фронт и окружить русские армии в ходе Праснышского сражения.

В ходе войны германские части потеряли только два знамени, и оба — из-за сибиряков. У Бакаларжево 9 октября 1914 г. в бою с 24-м и 25-м Сибирскими полками 18-й ландверный полк был вынужден сжечь свое знамя, а знамя 34-го Померанского фузилерного полка было взято 26 февраля 1915 у Йозефово 3-м Сибирским стрелковым полком.

Сибирский характер проявился и в событиях 18 сентября 1915 г. В этот день команды конных разведчиков всех четырех полков 11-й Сибирской стрелковой дивизии (сформированной в Омске, Ново-Николаевске, Томске и Барнауле), команда пеших разведчиков и полурота 44-го Сибирского стрелкового полка под командованием штабс-капитана А. Н. Пепеляева получили приказ об отступлении с занимаемых позиций. Однако сибиряки этот приказ командования не выполнили... Вместо этого они по собственной инициативе контратаковали немцев и взяли у них д. Боровую, отбросив противника за р. Неман.

А вот что оставили в своих воспоминаниях о сибирских воинах противники. Германский солдат-доброволец В. Бекман (его полк сражался против 11-й Сибирской дивизии) вспоминал после войны: «Полки, побывавшие на востоке, сохраняли надолго, на всех театрах военных действий, куда бы ни бросала их судьба, прочное воспоминание о лишениях и тяжких боях на этом фронте и о необычайном упорстве русского солдата».

Майор Курт Гессе писал о боях с сибирскими стрелками в 1915 г.: «Тот, кто сражался против русских, сохранит навсегда в своей душе глубокое уважение к этому противнику. Без тех крупных технических средств, какие мы имели в своем распоряжении, лишь слабо поддерживаемые своей артиллерией, должны были

сыны сибирских степей неделями и месяцами выдерживать с нами борьбу. Истекшая кровью, они мужественно выполняли свой долг...»

Офицер Австро-венгерской армии фон Ходкевич вспоминал: «Под Дзивулками атака сибирских стрелков произвела на меня неизгладимое впечатление. Смотри на то, как они держатся под нашим огнем, мне хотелось аплодировать им».

Другой австрийский офицер, Трушнович, писал, что сибиряков они узнавали по песням — перед боем сибиряки пели молитвы, и потом спокойно, уверенно поднимались в атаку.

НЕСИБИРСКИЕ СИБИРЯКИ

В войсках, расположенных в Сибири, на самом деле служили представители разных губерний и разных национальностей. Подавляющее количество нижних чинов в Омском (Западно-Сибирском) военном округе составляли русские (к которым тогда причисляли великороссов, украинцев и белорусов) — 73,9 %, но здесь служили и поляки, литовцы, латыши, немцы, евреи, представители кавказских народностей, финны, татары, мордва и др. Например, в 41-м Сибирском стрелковом полку служили русские, немцы, поляки, татары, евреи из губерний Центральной России и Поволжья. Из 75 % русских только примерно 55 % стрелков были сибиряками. Остальные бойцы, восприняв боевые традиции сибиряков и сибирских полков, приобрели такие же боевые качества уже в ходе службы. Примечательно то, что нижние чины и офицеры, идентифицировавшие себя как сибирские стрелки и снисходительно отзывавшиеся об армейской простой пехоте, сами зачастую были по рождению представителями европейских губерний Российской империи, и Сибирь видели из окна поезда, следуя в составе воинского эшелона к месту службы. Вот типичный образец сибирского стрелка: Казанцев Емельян Фёдорович, старший унтер-офицер 3-ей роты 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Родился и вырос в Курской губернии, Белгородском уезде Муромской волости, на хуторе Плиском. Участвовал в двух кампаниях: в русско-китайской и русско-японской. Служил в г. Порт-Артуре в 11-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. Другие примеры сибирских стрелков — кавалер боевых орденов немец Ульрих Тилле, георгиевский кавалер татарин Гениатуллин Ярулла из Казанской губернии. Так что многие сибирскими стрелками становились, а не рождались.

СОЛДАТЫ И БОГИ

В начале XX века на Дальнем Востоке происходили бурные события. За влияние в Китае, Корее и других странах региона (а точнее — за рынки сбыта) боролись могущественные мировые державы. В Китае в 1900—1901 гг. подавлял восстание ихэтуаней («длинных кулаков») международный экспедиционный корпус из Германии, Америки, Великобритании, Японии, Франции и России, а в Маньчжурии в 1904 г. сошлись в смертельной схватке Россия и Черногория с одной стороны и Япония при поддержке Англии — с другой. И везде самое непосредственное участие принимали сибиряки, сибирские полки. В самом Китае, много веков угнетаемом маньчжурами и европейцами, также поднимались национальные силы, видевшие Китай ведущей региональной страной. Китай резко усилил колонизацию более слабой Внешней Монголии (Халхи): начались широкие административные преобразования, направленные на введение прямого китайского правления, распространение общекайтайского законодательства и ликвидацию самостоятельности монгольских князей и лам. В Халху были введены китайские войска, планировалось строительство железных дорог и т. п., что грозило окончательным поглощением Внешней Монголии Китаем и ассимиляцией монголов, а это уже затрагивало экономические и политические интересы России в этой стране. Пытаясь вырваться из-под китайского владычества и создать собственное национальное государство, монгольские князья подняли народ на сопротивление и обратились за помощью к правительству России. 15 августа 1911 г.

в Санкт-Петербург прибыла монгольская делегация, которая уже на следующий день была принята управляющим МИД России А. А. Нератовым и премьером П. А. Столыпиным. В послании русскому царю халхасский первосвященник Джебцун-Дамба-хутухта и князя всех четырех регионов Халхи писали: «За последнее время китайские чиновники, забрав власть в свои руки и всячески вмешиваясь в монгольские дела и в особенности, под предлогом реформ, заселяя Монголию и изменяя старые обычаи, умаляют туземную власть. Это поистине горестно: ныне мы, посовещавшись, единогласно постановили изложить причины и просить помощи и покровительства... русского царя». Россия приняла решение оказать монголам дипломатическую поддержку. Опираясь на помощь и покровительство России, князя Халхи 1 декабря 1911 г. провозгласили в Урге Декларацию о восстановлении независимости Монголии от Китая. Главой нового теократического государства — ханом Монголии 16 декабря того же года был избран первосвященник — Богдо-гэгэн Джебцун-Дамба-хутухта. Правительство Китая не признало суверенитет монгольского государства: в Кобдо и на Алтае между монголами и китайцами завязались упорные бои. Монгольское правительство в июне 1912 г. направило в Кобдо войска. В итоге монголы разбили китайские войска, и лишь посредничество России спасло пленных китайцев от немедленной расправы. Во главе Кобдоского округа встал один из монгольских военных вождей, калмык по происхождению, русский подданный Дамби Джамцан-лама, или Джа-лама.

«Эта необыкновенная личность, — писал о нем Ю. Н. Рерих, — около тридцати пяти лет гипнотизировала всю Великую Монголию. Эта легендарная личность была очень разносторонним человеком. Он строил замки в центре Южно-Монгольской Гоби, изучал трудные для понимания трактаты по буддистской метафизике, лично обучил своих людей науке войны и мечтал завоевать и возродить монгольские племена».

Ряд исследователей считает, что Джа-лама обладал сильными гипнотическими способностями, так как оказывал на монголов такое влияние, что они считали его богом — перерождением Амурсаны.

Ставка Джа-ламы в урочище Мунчжик в 60 верстах от Кобдо превратилась в центр политической жизни Халхи. Его энергия и предприимчивость били через край, его жестокость не знала пределов. По данным историка И. Ломакиной, он зверски казнил 100 видных монголов, разорил их родственников, жестоко преследовал казахов и совершал театрализованные казни их предводителей, совершая человеческие жертвоприношения. В его юрте всегда находился тулум — снятая с человека кожа. Джа-лама вынашивал планы образования самостоятельного государства в Западной Монголии, без оглядки на Китай и Россию. Джа-лама стал угрожать власти всей монгольской знати и влиянию России в Монголии. Монгольские князья обратились за помощью к российскому правительству, и в 1912 году Россия направила в Монголию свои экспедиционные войска — Кобдоский отряд. В состав отряда вошли и чины 41-го Сибирского стрелкового полка из Ново-Николаевска Евгений Васильевич Булатов, Михаил Васильевич Эпов (начальник штаба отряда) и другие. Секретное предписание Николая II гласило, что Джа-ламу необходимо арестовать и доставить в Россию. Арестовал Джа-ламу в урочище Мунчжик, где в это время находилась его ставка, капитан 41-го Сибирского стрелкового полка Е. В. Булатов с 3-й сотней 1-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска и полусотней 3-го Сибирского казачьего полка. Произошло это 7 февраля 1914 года. «Вид арестованного Джа-ламы — этого бога, окруженного конвоем, — произвел сильное впечатление на всех», — написал позднее в своем отчете Булатов. Джа-ламу привезли в Россию, некоторое время он провел в заключении в Томске.

Так, выполнив монаршую волю и обеспечив интересы России в Монголии, сибирские стрелки вновь послужили Отечеству.

Капитан Булатов в будущем стал полковником, командиром Новониколаевского пехотного полка, капитан Эпов — генералом. А «бога» Джа-ламу в 1923 году убили не верящие в богов красные монголы.

ДАНЦИГ ПРОТИВ НОВО-НИКОЛАЕВСКА

Есть в современной Польше город Гданьск. Это крупный порт, основанный поляками в X веке. В XIV веке его завоевали немцы, много позже сформировавшие в нем прусский 128-й Данцигский пехотный полк. С началом Первой мировой войны Данцигский полк воевал на Восточном фронте. В победоносном для русских войск сражении под Гумбинненом в августе 1914 года бойцы русского Троицкого пехотного полка даже захватили знамя Данцигского. Правда, немцы его потом отбили.

За тысячи километров от Данцига, в небольшом молодом сибирском городе Ново-Николаевске были сформированы 41-й и 53-й Сибирские стрелковые полки. В мирной, довоенной, жизни эти два города никак между собой связаны не были: готический старинный европейский город и провинциальный деревянный амбициозный сибирский безуездный городок.

Данциг и Ново-Николаевск встретились на полях сражений в Польше. Данцигский полк сражался с 41-м Сибирским стрелковым полком в 1 и 2 Праснышских сражениях, а с 53-м Сибирским полком пруссаки из Данцига схватились на реке Равке в мае 1915 г.

31 мая 1915 г. под Волей Шидловской 14-я Сибирская стрелковая дивизия 2-й армии Северо-Западного фронта обороняла участок от устья р. Гнида до фермы Констанция, имея на левом фланге обороны 53-й Сибирский полк (35 офицеров, 3343 солдата). Полки дивизии прикрывали германцам кратчайший путь к Варшаве. Имея целью пробиться к Варшаве, германское командование решило нанести удар против 2-й русской армии, которая уже однажды осенью 1914 г. помешала им захватить польскую столицу. Немцы решили идти к победе кратчайшим путем: они установили в передовых окопах своих частей, в том числе Данцигского пехотного полка, газовые батареи на протяжении 12 км, наполненные сжиженным хлором, который они успешно применили месяцем ранее под Ипром на Западном фронте. На участок протяжением в 240 м таких батарей приходилось до 10. Всего 12 тыс. баллонов. Германцы в течение десяти суток выжидали благоприятных метеорологических условий. И, наконец, дождались. 31 мая в 3 ч. 20 мин., после короткого обстрела русских позиций из орудий, германцы выпустили хлор, открыв одновременно ураганный пулеметный и ружейный огонь. Неподготовленность русских войск к такому развитию событий привела к тому, что солдаты проявили больше удивления и любопытства к появлению облака газа, чем тревоги. Хоть и слышали наши бойцы о германских газах, но никогда воочию их не видели. Приняв облако газа за маскировку атаки, начальник 14-й Сибирской дивизии генерал-лейтенант К. Р. Довбор-Мусницкий усилил передовые окопы и подтянул резервы. К 4 часам утра окопы, представлявшие здесь лабиринт сплошных линий, оказались заполнены трупами и умирающими людьми. В это время германские войска при поддержке артиллерийского химического огня перешли в наступление. Данцигский полк атаковал позиции сибиряков. Несмотря на выход из строя 75 % бойцов в первой русской оборонительной полосе, атака германцев к 5 ч. была отбита сильным и метким ружейно-пулеметным огнем оставшихся в строю воинов 55-го и 53-го Сибирских стрелковых и 217-го Ковровского пехотного полков. К исходу сражения, 3 июня, потери 53-го Сибирского полка составили: в офицерах: 16 человек, или 41 %, в нижних чинах 2625 человек, или 96,2 %.

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

Со школьной семьи всем сибирякам известно, как в 1941 году сибиряки отстояли Москву. Конечно, не только сибиряки, но основной вклад в победу под Москвой внесли сибирские и дальневосточные дивизии. Спасение Москвы спасло Советский Союз — если не от поражения (помните — «с потерей Москвы не потеряна Россия»), то от национального унижения. Именно победа под Москвой показала, что наша армия может бить считавшийся до этого непобедимым вермахт, вселила в сердца надежду на победу. И не знать этого просто стыдно. Но

стыдно не знать и другого — как в далеком 1915 году сибиряки спасли Россию от поражения в Первой мировой войне. Нет в нашей стране более замалчиваемой, более оболганной, более забытой войны, чем Первая мировая. Незавидна судьба ее героев. В силу исторических обстоятельств они не дождались ни уважения, ни благодарности, ни пенсий, ни музеев, ни вечных огней, ни цветов в день Победы... Участники войны были вынуждены скрывать свое участие в войне, многие понесли наказание за верную службу Царю и Отечеству. Много зарытых георгиевских крестов, бережно завернутых в сгнившие уже тряпицы, находят поисковики и копатели на местах старых деревень, много погон и фотографий храбрых героев той войны находят спрятанными на чердаках. При жизни им «спасибо» не сказали. Не торопимся сказать и после их смерти...

Германия начинала войну с простым и гениальным «планом фон Шлиффена». В нем, по-немецки четко и по-научному точно, все было рассчитано на быструю и скорую победу. Немцы учли все, вплоть до мелочей: пока огромная русская армия мобилизовывает призывников из далеких городов и весей необъятной России (согласно норматива русского генерального штаба — в течение месяца), Германия наносит стремительный удар по своему основному противнику — Франции. Причем для экономии сил и средств наносит удар там, где Франция его не ждет — через нейтральную Бельгию. В войне все средства хороши — какой еще там нейтралитет. А чтобы русская армия не отвлекала германскую от главной задачи, в качестве заслона от русских частей повышенной боевой готовности Германия сосредотачивает в Восточной Пруссии армию прикрытия. После разгрома Франции Германия объединенными усилиями с Австро-Венгрией наносит поражение русским войскам в Польше и Украине, и вот она — победа. Англия в расчет не берется — британский посол доверительно сообщил кайзеру, что, несмотря на свои обязательства по Антанте, Лондон свои войска на фронт не пошлет. Внушающий немцам благоговейный трепет британский флот будет мирно дремать на своих базах. Таким образом, разгром Франции и затем России был бы неминуем.

Если бы русская армия воевала по науке, все так бы и случилось — потому что уже через 11 дней после начала войны (напомним, что мобилизационная готовность русской армии составляла 30 дней) слегка задержавшиеся в Бельгии германские войска нанесли удар по французской армии и вышли в тыл ее основной группировке. Немцы начали свой марш на Париж, а французы спешно мобилизовывали свои «марнские такси». Однако, не считаясь с военной наукой и расчетами генерального штаба, русская армия на Восточном фронте перешла в наступление первой — вторглась в Восточную Пруссию, не завершив мобилизации. Немцы этого не ожидали — это ведь не по науке и вопреки здравому смыслу. Весь план фон Шлиффена затрещал по швам... Разбив германские войска в приграничном Гумбинненском сражении, армии Самсонова и Ренненкампа устремились вглубь Германии. Немцы бежали... Вынужденные эвакуировать Кенигсберг, готовиться к обороне Берлина, они перебросили с Западного фронта так нужные для взятия Парижа гвардейские части... В итоге план фон Шлиффена не удался, и горячий сторонник этого плана Мольтке-младший лишился поста начальника германского Генерального штаба. 1914-й год закончился для Германии и Австро-Венгрии не так, как они планировали: на Западном фронте установилась позиционная война, а на Восточном — русские войска захватили Галицию, угрожали вырваться на венгерскую равнину и постоянно пытались захватить Восточную Пруссию.

1915 год Германия решила объявить «годом России» — сдерживая Францию и Англию в позиционных боях, направить основные силы против России и мощным ударом вывести ее из войны. Это был новый план войны, «план Фалькенхайма», по имени его автора. Основные войска России в то время находились в Польше, в так называемом «польском выступе». Ударом с севера (германские войска) и с юга (австро-германские войска) немцы планировали окружить русские армии и принудить Россию если не к капитуляции, то к сепаратному миру на выгодных для Германии и Австрии условиях. Основной удар германское командование решило нанести в районе польского города Прасныш, где занимала свои позиции

11-я Сибирская стрелковая дивизия, рядом с ней — 2-я Туркестанская стрелковая. Немцы сумели скрытно сосредоточить целый корпус, подтянули тяжелые орудия, сменили обычные полки на гвардейские, создали у русского командования ложное впечатление о направлении главного удара и... 30 июня 1915 года ранним утром начали массированный обстрел позиций сибирских стрелков. На одно русское орудие у немцев было четыре, на один русский снаряд — 23 немецких снаряда, на одного сибиряка — 6 пруссаков. Никогда еще немцы не собирали на узком участке фронта столько своей артиллерии. Во всех грандиозных сражениях на Западном фронте — под Ипром, у Вердена, на Сомме — немцы не сосредотачивали такое количество орудий на 1 км, как под Праснышем. В течение нескольких часов велась артподготовка, затем прусская гвардия атаковала позиции сибиряков. К моменту начала атаки связь с батальонами была потеряна, окопы сровнены с землей, были разбиты почти все винтовки, 30 % сибирских стрелков было ранено или убито... Сибиряки встретили атакующую немецкую пехоту обломками винтовок, кольями, штыками, лопатками. 7 дней длился первый этап сражения — к его концу сибиряки и туркестанцы потеряли 75 % солдат и офицеров, а принявший на себя главный удар 41-й Сибирский полк из Ново-Николаевска потерял 85 % своих бойцов. Когда немцы остановились на их пути в глубокий русский тыл, а значит — к победе, оставалось только 700 смертельно уставших сибирских стрелков. Офицер немецкого 5-го гренадерского полка (полк участвовал в сражении) майор Курт Гессе писал, что атакующие сибиряков германские части понесли в рукопашных схватках потери в 50 % и поэтому наступать больше не могли. План Фалькенхайна, как и план Шлиффена, не удался.

Вскоре после этого сражения, получившего название Второго Праснышского, Германия обратилась к России с предложением о мире. Кто знает, может быть именно упорство сибирских стрелков из II Сибирского и I Туркестанского корпусов, показавшее тщетность надежд германского генштаба на победу на Востоке, вынудило кайзера пойти на такой шаг?

Спасибо вам, наши прадеды.



МОИ РОДНЫЕ СТАРОВЕРЫ*

* * *

У многих ближайших соседей, однако, в гостях мы были: нас даже специально возили показывать, как редкую диковину, — людей из России, Советского Союза. А уж нам-то как интересно посмотреть, послушать, поговорить! Люди были разного достатка: у кого дом двухэтажный, даже каменный, и автомобиль новый, шикарный... У Прохора тоже была машина большая, мощная — но «секонд-хэнд». Однако и на ней мы рассекали — будь здоров. Помню, тронулись как-то с места на зеленый свет — а рядом с нами такая шикарная машина, кабриолет алого цвета, а за рулем такая шикарная блондинка! Попробовала она рвануть вперед нас, да Прохор произнес:

— Куда, голубушка, у нас сильнее...

И словно сдуло блондинку!

Пришло время рассказать, на чем держится благополучие орегонской общины. Всего русских в этом штате, как мне сказали, — несколько тысяч человек, проживают вокруг столицы штата, города Сейлем, и занимаются в основном фермерством. Используют такое русско-английское словечко: фарма. Ягоду выращивают: клубнику, ежевику. Клубнику я не застал, а ежевику распробовал всячески — и поел, и пособирал... Называют они ее здесь — ажина: кусты — неколючие, а ягода — крупная, почти черная, раза в два больше обычной, дикой, висит большими гроздьями. Ровные ряды кустов тянутся до горизонта, а вдоль рядов перегибаются сборщики: на поясе подвешено пластмассовое ведерко, орудуют двумя руками, притом невероятно ловко — ягода летит, словно черные струи. Наполненные ведерки высыпают в пластмассовые ящики с ячейками, ящики ставятся один в другой, в конце дня приезжает хозяин — и производит расчет наличными с каждым сборщиком. Стопки ящиков подают на грузовик погрузчиком — и отвозят на фабрику в городок Вудбурн. Там на проходной сдают ягоду, получают бумажку — и всё!

Но я и в цех зашел, посмотрел, что с ягодой делают. Двигается по конвейеру, ее промывают и замораживают — гремит, словно камушки, и в таком виде уже идет по всему свету: и на варенье, и на вино, и хоть на что.

На ежевичных плантациях, где я бывал, стоял разноязычный гомон: русский, английский, испанский. В основном испанский — это мексиканские сезонные рабочие. Сначала они идут через Калифорнию, где собирают виноград, а к концу лета добираются и до Орегона. Те мексиканцы, которых я видел — невысокого роста, очень ловкие, за ними не угнаться. Начинаем собирать рядом, и через пять минут — они уже далеко впереди!.. Вспомнил еще: в конце дня мексиканка, получив доллары, простонародным бабьим движением сунула их себе в лифчик. Я-то думал, так делают только наши...

А меня с Ольгой наши русские хозяева, конечно, баловали деньгами, давали намного больше, чем мы зарабатывали. Да еще в гости потом приглашали, на ужин... Сами русские на плантации так уж строго-четко не работали, они — хозяйева, организаторы процесса. Но если ягоду где-то не успевали убирать, она пере-

* Окончание. Начало см.: «Сибирские огни», 2014, № 10.

зревала — тогда шли все: хозяева, дети, мексиканцы. Тогда и комбайн в поле выезжал, но это — крайний случай, собирает он быстро, но не чисто: обхлопывает кусты, и на транспортер попадает всё — и ягода, и гусеницы, и листья. На комбайне сидят работники, мусор отбрасывают, но за всем не успевают...

Однажды мы с Перфилом на комбайне выехали: он, я и его дети. Перфил за рулем, а мы все управляемся на площадке: откидываем гусениц, гнилую ягоду, подставляем-убираем ящики. Одна только маленькая Марфа, ухватившись за железный столбик на краю площадки, находится в сторонке, улыбается... Льет дождь, на нее летит ягода и бог знает что, и белая головка Марфы уже цвета ежевики... Да еще комбайн тут круто разворачивается!

— Свалится ведь! — кричу я Перфилу.

Он обернется, посмотрит — не свалится...

Трудовая закалка, приобщение к делам взрослых — с младых ногтей. Вообще, русские слывут здесь отличными работниками, хозяевами — и уровень жизни у них повыше, чем в целом по округе! Любопытно, что хотя и сами они уже американцы, но местных, коренных, англоязычных, называют так: американцы. Сами же дома говорят по-русски, носят русскую одежду: косоворотки, сарафаны, платягалички, подпоясываются старOVERЕРскими поясами. И все это яркое, с вышивкой.

Живут сами — и дают жить другим. Такой штрих. Сидим как-то возле дома с одним из фермеров, толкуем о том о сем, а по дороге медленно проезжают-проплывают автомобили: длинные, открытые, блестящие — красивые!

— Какие, — говорю, — автомобили!..

— Ну... они люди бедные, им ведь хочется как-то себя показать...

Оказалось, это мексиканские рабочие ехали с плантации.

Что уж говорить о русских?..

Ясность, осмысленность бытия, достаток во всем. Семьи большие, детей — много! Потому и никакого беспокойства за судьбу общины, спокойно отпускают детей хоть куда. При мне один парень поступил в элитную академию Вест-Пойнт — все очень гордились...

Дома, земельные участки, автомобили — какие присниться не могли уймонцам в 1980-е годы... При этом — твердая вера. Православные заповеди выполняются неукоснительно.

Надо сказать, тогда, незадолго до моего приезда, несколько дней здесь пребывал известный журналист Артем Боровик. Все-все повыспросил, все-все обфотографировал — а в своем «Огоньке» потом — ничего, ни строчки. Формат не тот, не вошли в формат. Помню, что вошло: огромные воздушные змеи на берегу Тихого океана, дамочка с голыми коленками на стадионе в Портленде... Такой формат.

А в Орегоне наши русские живут согласно поговорке: как у Христа за пазухой. Как могли бы жить и в Верхнем Уймоне. Могли бы...

* * *

Многие орегонские русские начинали свою жизнь в Америке — где бы вы думали? В Нью-Йорке! Я видел фотографии: женщины — в европейских платьях, мужчины — в костюмах и галстуках. Хотя древнюю веру свою не теряли, но тем не менее пытались стать «сто процентными американцами». И дело шло успешно: работали в Нью-Йорке на заводах и фабриках, хорошо зарабатывали, и почти сразу автомашины заимели. Один орегонец рассказывал мне, как выезжали «гонять таксистов» — так он выразился. Погоняться с таксистами вперегонки, поддразнить их — и себя потешить, русскую удаль показать!

Представляете?! Были, оказывается, в начале 1960-х такие русские гонки на авеню и стритах Нью-Йорка! Машин еще не так много, пробок нет — можно разогнаться, «таксистов погонять»...

Но и работали, конечно... Фёдор Овчинников, например, работал на стройке. Дело это само по себе тяжелое: в дождь, холод, зной, под всеми ветрами. Вот уж где — круглое кати, плоское тащи! И квалифицированному работнику нелегко, а уж неквалифицированному — вдвойне, втройне. И никаких роздыхов и пере-

куров — на Западе этого не любят. Домой Фёдор приходил совсем без сил, такой усталый — чуть не до слез...

Теперь у Фёдора Овчинникова свой строительный бизнес в Орегоне. В конце концов русские решительно оставили «американский образ жизни» в Нью-Йорке — и переехали с Атлантического побережья на Тихоокеанское, из каменных джунглей Нью-Йорка на зеленые поляны западного штата. Многие занялись сельским хозяйством, а Фёдор проявил деловую хватку в строительной сфере.

Познакомились мы с ним еще в 88-ом в Москве, а через год вдвоем стояли в притворе церкви: ему, как и мне, не разрешалось переступить его — «трогает» бороду, подстригает... Нарушение заветов старины! Перед этим все равны — а я видел, как Фёдор передавал батюшке толстую пачку долларов на нужды церкви...

Но не только в церкви мы с ним виделись: однажды он пригласил меня и супругу пожаловать к нему на именины. Я знал, что именинник — человек состоятельный, мне даже сказали — миллионер, но увиденное прямо поразило. Двухэтажный особняк Фёдора Овчинникова находился на высоком пригорке, и вся столица штата, город Сейлем — там, внизу, у подножия...

В просторном светлом зале собрались несколько десятков человек, русских, и нам в основном незнакомых. Но и здесь почти все выглядели как настоящие староверы: бороды, косынки, тканые пояса...

— Выпьем, господа! — провозгласил хозяин.

И выпивали, и как следует закусывали, и веселые разговоры вели, именинника поздравляли. И на гармонии играли, и шары на бильярде катали, и по широкому двору гуляли... Но если б вы знали, как необычно, как интересно было слышать это слово: господа! Люди Господа то есть. Мы-то в Советском Союзе были все до единого — товарищи, и думать не думали, и представить себе не могли, что когда-нибудь, а тем более — в скором времени, станем господами.

Раз уж упомянул о господах-товарищах — тут и к месту будет сказать о бесконечных и повсеместных тогдашних разговорах о нашей «перестройке».

«Перестройка», как и «демократия», — только в кавычках, только в кавычках, по-другому никак нельзя! Поскольку, как потом выяснилось, левые «демократы» — коммунисты — стали «демократами» правыми, «либералами». Перекрасились, «поменяли ориентацию» — только и всего.

А народ попал из огня да в полымя!

Но тогда, тогда, в конце 80-х — сколько было разговоров, ожиданий, надежд! Всем очень понравился Горбачев, и люди ему сочувствовали: как же трудно человеку приходится после 70-летней диктатуры. Именно такой разговор состоялся у меня однажды со священником, отцом Тимофеем — прямо на улице. Он ко мне подошел, и с полчаса мы с ним стояли-толковали. Батюшка всё упирал на личные качества Горбачева: какой живой, простой, энергичный, смелый человек!

— Но трудно ему придется, трудно...

Оказалось — легко. Оказалось, вместо перестройки — развал, вместо свободы — новое рабство, вместо демократии — власть олигархов. Бес хитёр! Недаром одно из его названий — отец Лжи...

А специфика советской «демократии» — советской жизни, повседневной жизни — для обычного, рядового человека заключалась прежде всего в тотальном дефиците всего и вся. Говорю об этом еще и еще раз. У меня есть большой блок заметок, написанных к 20-летию «демократической» революции 1991 года, где я уделяю этому особое внимание, поскольку, как и многие аналитики, считаю: советскую власть обрушил именно дефицит.

Так что можете себе представить, какое впечатление на меня произвели американские магазины. Американцы, зная это дело, время от времени устраивали нам туда поездки. Хотя... Хозяева относились к этому делу с опаской: как-то поведут себя в магазинах гости?!

«Но вот я набрел на товары. “Какая валюта у вас?” — говорят. “Не бойсь”, — говорю...»

И т. д. Слова из песни Владимира Высоцкого — когда его герой оказался в валютном магазине со списком товаров для родственников...

Орегонцы уже сталкивались с таким явлением, когда советские люди полностью теряли в магазинах голову и начинали хватать всё подряд. А хозяева, почесывая затылки, доставали из карманов все свои доллары — «зеленые рубли».

Но случалось — не только смех, но и грех. Увы... Была у Галины Васильевны одна знакомая, из благочестивой старообрядческой семьи, из Москвы. Галя даже называла ее подругой, и когда от нее пришла просьба сделать вызов на поездку в Америку, с радостью согласилась. Выслала приглашение и — ждет-поджидает гостью. Та приехала... и ни разу даже не посетила свою подругу, не зашла к ней! Были в Орегоне другие знакомые, которых она и предпочла — тех, которые побогаче.

С другой стороны, тут не так и просто — судить. При удачном стечении обстоятельств ведь можно было и целое состояние советскому человеку заработать! В материальном плане всю свою жизнь изменить. Бог судья...

Вот и я, стараясь повысить свое благосостояние, чуть не каждый день выходил на ежевичные плантации. Чего греха таить, про себя надеялся, что «плантаторы», умилясь моему старанию, дополнительно «зеленых» подбросят... Я-то ведь, потрагавшись на поездку в Америку, вообще оказался гол как сокол! Зато местный пенсионер, Прохор Григорьевич Мартюшев, пока я тут ягоду корячился-собирал, успел на несколько дней в Австралию слетать, религиозные вопросы пообсуждать. Такие вот дела...

Вожусь я как-то в ежевичных кустах, смотрю — ко мне по полю идет Семён Созонтьевич Фефелов: в шортах, рыжая борода по пояс, банка пива в руке.

— Зря не поехал! — говорит он мне. — Пятьдесят не пятьдесят, а по сорок пять тысяч долларов взяли!

Это он с Аляски вернулся. Вскоре Семён с гордостью показал мне свой новый шикарный автомобиль, со всякими, как бы сегодня сказали, наворотами: например, оставишь дверцу открытой, а приятный женский голос тебя о том уведомит. И мы все эти навороты разглядывали-испытывали...

Вместе с ним приехал аляскинский житель, сын Прохора от первой, покойной жены — Владимир. Первый раз я его увидел из окна дома: какой-то мужик с большим ножом за столом орудует, что-то большое и белое режет-рубит — мне показалось, капусту разделяет. Оказалось, это не капуста — огромные куски палтуса (его все называли: халаба), привезенного с Аляски.

Приехал со всей компанией рыбаков и аляскинский батюшка, отец Конрад — он же, если попросту, — Кондрат. Довольно молодой, рыжий, энергичный, а в церковных делах, как мне сказали, — несколько либеральный: позволяет «трогать бороду», слегка подстригать, и в храм заходить с такой бородой не запрещает. Отца Конрада мне довелось потом встретить в Москве, и по телевизору увидеть, а в прессе о нем почитать. Все прошедшие после моей поездки годы русская Аляска мелькает то тут, то там. Хотя это всего лишь один поселок — Николаевск, несколько десятков русских переселенцев-старообрядцев. Коренных русских там нет, а те, что были, давным-давно ассимилировались. Зато в Орегоне русских — несколько тысяч — и ноль внимания со стороны российских СМИ. Думаю, это чисто журналистский подход: привлекает словосочетание «русская Аляска» — вот и все. Экзотики — полным-полно, все репортажи — интересные, ничего не скажешь. Интереснейшие статьи были у Василия Пескова в «Комсомольской правде».

Хотя эта «русская Аляска» — можно сказать, составная часть большой орегонской общины, у них сохраняются самые тесные связи. Жениться-то и выходить замуж надо, а предпочитают своих! Где их взять? Прежде всего — на Аляске да в Орегоне. Хотя, конечно, и российских женихов-невест находят, и румынских, и австралийских — русских. Но случаются и американцы! Я сам одного видел: и бороду отрастил, и домотканым поясом подпоясался, и в церкви стоит, и молиться пытается по-русски. Старовер! Да рослый такой, могучий парень — наш, наш...

С приездом гостей с Аляски (да и румынские гости к этому же времени подгадали) наши застолья-разговоры участились. А соловья, как известно, баснями не кормят, и гости за стол — пироги мечи на стол... Но пироги — это так, к слову,

хотя и пироги, конечно, бывали. А угощались мы в основном — да почти всегда — барбекю. Там, в Орегоне, я впервые его и распробовал — мясо, жаренное на решетке. Покупается в магазине специальное мясо, в эдаких невысоких пластиковых блюдах, закатанных полиэтиленом, приготавливается как для шашлыка, только жарится на решетке. Куски — размером с ладонь, а мясо вкусное, сочное, тает во рту. Съесть можно много, много... При этом я не помню, чтобы когда-то что-то заканчивалось — мясо ли, выпивка ли...

— Барбековать сегодня будем! — провозглашал Прохор Григорьевич — и мы барбековали — жарили барбекю.

Прямо перед входом в дом стоял большой, сколоченный из досок стол, с такими же скамейками — на любую компанию хватало. В огромной таре мариновалось мясо, ставились на стол полугаллоновые бутылки канадского виски, да еще кока-кола, для разбавки. Вина не было вообще никогда, а пиво — так, мелькнет иногда баночка. Дымила жаровня, шкворчало мясо — барбекю. Это, как и в России шашлыки, — целое действо, а не просто еда! Общение, разговоры.

Общался я в основном с людьми, которым было уже за 60. Крепкие, энергичные, какие-то очень устойчивые, основательные люди. В большинстве крупные — цвет русской нации! И выпить молодцы, и в этом устойчивы, хотя и предпочитают всем напиткам виски. Не курят — разумеется!

Русская компания здесь, в России, отличается от оregonской-алаянской прямо-таки разительно. Самое главное отличие — мат, мат, мат, за каждым словом мат, надо и не надо — мат. Понятия не имеют, что это — грех. Что касается количества выпитого, то пили мы в Орегоне, пожалуй, побольше нашего... Но при этом не было цели именно выпить, напиться! Пили через какие-то интервалы, закусывали — и разговаривали. Никто не клевал носом, не раскисал — и даже не облокачивался на стол! Всегда — прямая спина, ясный, пусть и хмельной, взгляд, твердая речь и походка. А ведь это — самые простые люди, не имеющие никакого понятия о «правилах приличия», «поведении в обществе», «умении держать себя»... Ведут и держат себя так, как это делали их отцы, деды и прадеды.

И еще: даже если разговор шел о каких-то проблемах, то никогда никакой безнадеги, горестного махания рукой — пропади оно всё пропадом... Ну вот, пожалуйста: во время нашей гулянки позвонили по мобильному телефону из комиссионного магазина, позвонили русскому румыну, который еще ни бе ни ме по-английски. Переговоры пришлось вести оregonцу — и он всё убеждал и убеждал продавцов снизить цену.

— Вы понимаете — у человека совсем машины нет?! И денег нет.

В итоге сторговал машину за смешную цену. И мы радостно отметили такое событие. Была проблема — и нет проблемы. И так — во всем.

А какое барбекю устроил Кирилл Васильевич Бабаев в честь моего дня рождения! Гостей собралось много, и женщин было много, так что всё — чинно-степенно, и виски — не из пластиковой бутылки, а из красивой, фигурной, стеклянной. Сам же Кирилл Васильевич за стол почти не садился: так, подсядет на минуту — и опять к жаровне. Смотрю я сейчас на фотографии с того дня рождения — Боже, какая благодать! Широкая лужайка, красивый дом, яркий цветник, гости в русских нарядах за столом, Евдокия Тарасьевна что-то на блюде подносит — и Кирилл Васильевич голову от жаровни поднял, мне в объектив улыбается... Хорошо.

Все помнится хорошо, и несколько особняком в этом калейдоскопе воспоминаний находится у меня поездка в Калифорнию с Перфилом Тораном. Как-то вечером он мне говорит:

— Я завтра еду по делам в Калифорнию — поехали со мной, тебе же, наверное, интересно посмотреть...

Раным-рано, часа в четыре, мы с Перфилом и двинулись в путь. Подъехали к банкомату, установленному в бетонной глыбе, на перекрестке дорог, едва ли не в чистом поле, сняли деньги. Это мне было уж совсем в диковинку.

— А если на тракторе своротит кто-нибудь — и деньги украдет?!

— Не успеет своротить, как полиция приедет, — сказал Перфил, укладывая доллары в бумажник.

Подъехали мы к магазину, закупили чего надо в путь, а также ящик пива на дорожку — поставили его в ноги. Позавтракали в нашем микроавтобусе, за столиком: кофе, бутерброды. Стояла у нас и бутылка ликера «Южный отдых». Нет-нет, не подумайте, с утра до вечера оregonцы не хлещут! То виски, то ликер... Это ради гостя, ради гостя. Хотя, вообще-то, западную привычку пропустить глоток средь бела дня, да без закуски, они приобрели...

К ликеру Перфил начал нарезать... ветчину. Я удивился.

— А чем же закусывать надо?

— Ну, фруктами, шоколадом...

Сходилили еще за фруктами и шоколадом.

Ликеру хозяин налил и мне, и себе. Я опять удивился: а ничего, что за рулем? Вдруг полиция остановит?

— А с чего она остановит? Я же не поеду вот так, — он изобразил рукой зигзаги.

Ну, поехали. Да с каким ветерком поехали: Панамериканское шоссе — скорость, широта, простор! Равнина — и гладь океана. А потом пошли горы — невысокие, поросшие лесом. Похожие на Алтайские... Однако — северная Калифорния. Я даже гигантские секвойи увидел, и даже в местный музей мы зашли.

А дело, по которому Перфил сюда поехал — такое: по горам растет смешанный хвойно-лиственный лес, хвойный — нужен, лиственный — не нужен, однако лиственные деревья растут быстрее хвойных, заглушают, мешают — их нужно спиливать, чем и занимается бригада все тех же мексиканцев, вооруженных мотопилами. Перфил взял у фирмы подряд на расчистку леса — нанял мексиканцев. Я их видел, общался с ними: невысокие худощавые робкого вида мужички.

Заехали мы с Перфилом в контору фирмы, он пошел к хозяевам, а я остался ждать в машине. Вышел мой друг озабоченно-озадаченный:

— Недовольны, что нанял мексиканцев — почему не русских? А где я их найду? Русские взяли по пятьдесят тысяч долларов на Аляске, и сейчас на Багамах да на Гавайях!

Пошли мы с Перфилом посмотреть, как идут дела у мексиканцев. Ничего, нормально, дело-то не особо мудреное, сложное или тяжелое; кустарник опиливать — это ж не лесоповал. Так что мы спокойно двинулись осматривать местные красоты: лес, речушку, бегущую по камешкам. На дороге обнаружили большую кучу ягодных косточек.

— Медведь наложил, — пояснил мой спутник.

Самого медведя мы, слава Богу, не встретили, и вернулись к вагончикам мексиканцев, которые охранял пёс на цепи, изнывающий от скуки — он явно нам обрадовался. Я сел перед ним на корточки, посмотрел в добрые глаза, погладил-потрепал его:

— Ах, морда твоя, морда... калифорнийская!..

Переночевали мы — и двинулись в обратный путь, который мне запомнился купанием в океане — я попросил Перфила остановиться: как же не отметить! Было мелко, вода холодная, волна большая, но я все же залез — искупнулся в Тихом океане.

После Калифорнии мы начали помаленьку подсобирываться в обратный путь. А вообще в Америке мы пробыли ровно 50 дней! Для советского времени — дело невероятное, притом я даже не пытался звонить на работу: человека, улетевшего на другую планету, не уволят. Так оно и случилось...

Чемоданы свои мы паковали долго, сто раз всё укладывая и перекладывая: народ продолжал и продолжал приносить подарки — в том числе громадные чемоданы. Вон они, стоят на антресолях. Память... А главная память — вышитые рубахи-косоворотки, яркие тканые пояса, блестящие платья-таллички.

Накануне отъезда я ночью вышел на крыльцо, во двор, посидел, глядя на звезды, за столом, вспоминая наши «барбекования», встречи, разговоры... Неподалеку шумела свадьба — и звонкие девичьи голоса распевали советскую песню «Катюша»! Мелодичная песня — весь мир любит.

Прощай, Орегон, прощай, поселок Вифлеем!

Тем же маршрутом, на автобусе, двинулись в обратный путь, в Нью-Йорк. Теперь у нас уже были адреса, где можно остановиться, переночевать. Быть в Нью-Йорке — да не погулять по нему хотя бы несколько дней?! Этого не поняли бы даже те, кто увольнял бы нас с работы. Как писал один известный советский диссидент:

— Да не собирался я никуда сбегать! Я просто доехал до Парижа и побродил по нему несколько дней...

Такие же планы были и у меня насчет Нью-Йорка. У меня в кармане был авиабилет с открытой датой вылета: вот нагуляюсь — и пойду заполнять эту дату. А пока — в Нью-Йорк! Позвонили по адресам, и приехали на один из них. Евреи, молодежь, а также их родители, недавно уехавшие из Советского Союза. Молодежь, совершая автопробег по Америке, заезжала к русским на Аляске — отсюда и знакомство, адреса. Приняли нас радушно, в разговоре — полное взаимопонимание... До тех пор пока не затрагиваешь серьезные темы — любые. Тут — стоп! Полная противоположность во всем. Да я и не затрагивал... Даже когда хозяева вскользь обронили: их там не очень-то любят... Их — это русских на Аляске. Хотя понятно — это мысли самих новых американцев: зачем косоворотки, церкви, молитвы? В Америке-то, свободной стране! Мучают себя, как при царском режиме. Впрочем, это сейчас я понимаю, что к чему, пройдя через «демократическую революцию», а тогда я был еще вполне советским, сибирским человеком.

Вот поднял я сейчас эту тему — и сижу, в который раз сокрушаюсь: какая же это беда, что мы уже почти сто лет барахтаемся в «демократии»: то в левой — коммунизме, то в правой — либерализме... Снова и снова позволяем водить себя за нос. А нужна власть людей умных, честных, справедливых, понимающих, что такое Добро и что такое — Зло. И выбирающих Добро — самым естественным образом.

Ну, а пока — в город Желтого Дьявола, в каменные джунгли. Есть у Нью-Йорка и другое название, символ — Большое Яблоко. Город мне понравился, а потому я принимаю Яблоко! Рассмотрел, распробовал я это Яблоко неплохо, пусть и хотелось бы подольше-получше. Желтый Дьявол? Ну, это, в общем-то, пустыаки. Каждый из нас находит свое место, свое дело в жизни, при этом каждый знает: с деньгами лучше, чем без денег. Каменные джунгли? Да нет каменных джунглей! Есть высокие, очень высокие дома, а внизу, на земле, — уютно, просторно, всё благоустроено и красиво. Просторно — ведь было где погоняться с таксистами нашим русским новым американцам в 60-е годы.

Прошлись мы по 5-й авеню, по Таймс-сквер, заглянули в дорогие магазины, где все продавцы со всех концов зала поворачиваются к тебе, входящему — и делают улыбку. Чудо чудное, диво дивное! Ну, а я, позабыв про товары, горел одной мыслью: побывать на вершине Эмпайр-стейт-билдинга. И побывал! Вознесся на 86-й этаж, на смотровую площадку, посмотрел на все четыре стороны, на небоскребы, на океанский простор, на мириады желтых божьих коровок — нью-йоркских такси. И на 102-й этаж съездил — ну, это вовсе не этаж, а маленькая застекленная площадка: идешь по кругу, глянешь за стекло — и спускаешься по лесенке вниз. На дюралевой полоске вдоль стекла я успел разглядеть прокарയാбанную надпись: «Вася». Молодец, Вася, отметил. Нет, я не шучу, я понимаю простого человека, Васю, которого занесло в Нью-Йорк, вознесло на 102-й этаж — и он не стал мелочиться, писать карандашиком, а достал перочинный нож — и увековечился. Понимаю...

А я еще на статую Свободы в бинокль поглядел. Потом уже узнал, что хоть она из Франции, но... сделана из русского, уральского, нижнетагильского металла!

Планировал я сплавать к ней на кораблике, а также побывать в музее Рериха, Метрополитен-музее, да много еще где. Но... Пошел в кассу «Аэрофлота» уточнить дату вылета, а там сказали: или завтра — или только через две недели. Пришлось лететь завтра. Однако Большое Яблоко я все-таки распробовал, распробовал — и город Нью-Йорк, его «вкус», остался в памяти навсегда.

Улетая на «Боинге» из аэропорта имени Джона Кеннеди, снова посмотрев с высоты на великий город, я вспомнил первые услышанные мною здесь слова:

— Ты свободен!

Я-то, конечно, свободен, но лечу навстречу грандиозному спектаклю по заморачиванию и одурачиванию, порабощению, а режиссеры этого спектакля находятся как раз в Америке. Трагедия...

Придя на работу, первым делом направился к своему начальству — в партийный комитет. Открываю дверь, а там — в задумчивых позах сидят секретарь парткома и заместитель.

— Ну, слава богу! — вскричали они. — Мы только что собирались звонить в райком партии: сбежал в Америку редактор, номенклатурный работник...

Так я, номенклатурный, и вернулся на работу, проставив себе в таблице 20 дней за свой счет. Поехал в типографию, а там сразу окружили коллеги-редакторы: ну, как она, Америка?!

Я рассказал. Надолго стал героем дня — «занял верхнюю строчку рейтинга».

Когда все разошлись, ко мне подошел один из коллег.

— Послушайте, я хочу спросить... Вы были в Америке, а почему все-таки не остались?

Я объяснил. Он недоверчиво выслушал, отошел... Потом вернулся.

— Нет, не понимаю. Вы же всё видели, могли сравнить — почему не остались?!

В голосе его были удивление и досада. Человек всю жизнь мечтал о Западе, а вынужден был жить здесь, писать о социалистическом соревновании, перевыполнении плана, ударных вахта... Казалось, это враньё — и притом бессмысленное — не закончится никогда. А я, который мог разом покончить со всем этим, вернулся, чтобы вновь тащить этот дурацкий хомут... И на дурачка вроде не похож. Непонятно...

Так что этого коллегу-редактора можно понять. Однако я не сомневаюсь: именно из-за непонимания — по самому большому счету — он и рванул, когда пришло время, голосовать за Ельцина и Собчака, и на «демократические» митинги бегал, и «демократический» Ленсовет бежал защищать в августе 1991-го... Попался на дурилку картонную. Не понял, что участвует в создании одной из форм диктатуры, установленной в октябре 1917-го. Такие, как он, обдурили-облапошили самих себя — и всех утащили за собой в «демократическое» рабство. Взгляните на нынешние СМИ, и коммунистические, и «демократические»: наше «социалистическое соревнование» по сравнению со всем этим — невинный пустяк...

Коллега мой, думаю, не был бы таким, если был бы верующим. Ну, какой из Ельцина президент, скажите на милость, какой президент?! Достаточно пять минут посмотреть-послушать его по телевизору — и все понятно... Понятно, если ты различаешь черное и белое, Добро — и Зло. Если в 1991 году хотя бы 10 процентов населения были бы православными — не случилось бы «демократической» катастрофы. Но какие там 10 процентов, когда и сегодня — от силы два...

Впрочем, если честно, вспоминал я, вспоминал слова моих орегонских родственников и знакомых:

— Оставайся, поможем...

Стоило мне только согласиться — и я оказался бы на другой планете. Хотя в 1989 году Америка уже не оставляла у себя «невозвращенцев», как раньше — но можно еще было, можно... Вспоминал я, вспоминал предложения остаться — когда оказался в своей десятиметровой комнатенке с видом на серую стену, с крысами и клопами да пьяным рёвом со всех сторон. И безо всяких перспектив... Самому завывать-зареветь можно!

Я писал заявления в райкомы-исполкомы, тщательно продумывал-излагал аргументы, факты, цифры... А мне в ответ всегда приходило несколько слов: отказать. Хоть головой об стенку бейся! Ведь только чудом, истинным чудом я решил впоследствии свой «квартирный вопрос». А большинство «демократизированных» россиян остались в клетушках-клоповниках навсегда...

Где-то недели через две после нашего возвращения в Ленинград приехала большая группа орегонцев и аляскинцев. Визит носил официальный характер, имелась программа пребывания русских американцев в городе на Неве. Так, побывали они в Покровской старообрядческой церкви, в институте русской литературы Академии наук, где увидели рукописи легендарного протопопа Аввакума; им даже разрешили взять их в руки, полистать! Вместе со всеми ездил и я: и на службе в церкви стоял, и на обеде сидел — и книгу пламенного борца за старую веру, протопопа Аввакума, старовера № 1, в руках подержал... Положил ладонь на листы, постоял с закрытыми глазами, подумал...

Жили наши американцы не в гостинице, а у родственников, друзей — в коммунальках, так что имели возможность познакомиться со всеми сторонами нашей жизни. Мне своего крестного, Прохора Григорьевича, вести было некуда... А вот икону свою старую алтайскую я привез туда, где он жил — и услышала моя икона обращенные к ней слова древней молитвы — через столько десятилетий!

Погостив в Ленинграде несколько дней, русские американцы отбыли на Урал, а моя орегонская эпопея все продолжалась. Случайно увидел в газете объявление: Ричард Моррис, доктор этнографии университета штата Орегон, выступает с лекцией. Я поехал послушать. Зал неожиданно оказался полон, а сама лекция превратилась в дружескую советско-американскую встречу — это же было время первых свободных международных контактов! Доктор этнографии из Портленда рассказывал, естественно — о старообрядцах штата Орегон. Показывал слайды, фотографии, легко и просто — по-русски! — отвечал на вопросы. К моему особому удовольствию, поведал собравшимся и о том, какой у него есть замечательный знакомый: и в Китае-то он жил, и тигров ловил, на руке у него даже есть тигриная отметина — и много, много еще чего интересного и хорошего о нем рассказал. О Прохоре Григорьевиче Мартюшеве, моем крестном отце.

Когда лекция-беседа закончилась, я подошел к Ричарду Моррису, представился, сказал: только что прибыл из Орегона, от Прохора Мартюшева.

— Эх, как бы мы сейчас пошли посидели, выпили — как в Орегоне! — воскликнул гость из Америки. — Но я уезжаю в аэропорт...

Проводил я Ричарда Морриса до автомобиля, а вскоре увидел по Ленинградскому телевидению большую передачу, где он во всех подробностях рассказывал о жизни старообрядческой общины в Орегоне.

— Там высокая моральность — я знаю их, я подружился с ними... И я стал вести себя довольно прилично, — пошутил ученый американец.

Добрая, теплая, душевная вышла передача — я записал ее, и время от времени смотрю: много фотографий, видеосъемок... Смотрю, вспоминаю моих дорогих орегонских староверов.

* * *

Бийск, родной Бийск... Что же я первое помню, от рождения? Деревенский дом, угол в нем, полосатый матрас — всё наше с матерью имущество, теснота, людской гомон, масса всякого чужого народу, неуют... Мне и места там не было.

Потом другая изба, старая бабка-хозяйка, тишина. Ни друзей у меня, никого. Летом я частенько сидел на дереве или на заборе — и глядел на воду, на Мочищенское озеро. Есть в Бийске такой район — Мочище, а озеро давным-давно исчезло, пересохло. А тогда я в нем купался, с утра и до вечера. На ногах у меня были цыпки, от воды и грязи — полвека назад жизнь была намного проще, внимания на всякие там цыпки не очень-то обращали.

Жили мы и в других избах — обычно вместе с тетей Тасей, её семьей. Но вот однажды подъехал грузовик, и мы в кузове, на узлах, поехали в новую жизнь — на свою квартиру! Хотя... Какая там «своя квартира»? Просто мужик, с которым дядя Ваня, муж тети Таси, работал в одной бригаде грузчиков — бригадир, получил двухкомнатную квартиру в деревянном двухэтажном доме, и одну комнату, маленькую, уступил своему товарищу. Такие были времена и нравы! И случилось это летом 1957 года... Те летние дни я, кажется, помню все до единого.

Приехали мы на улицу Социалистическую, в районе новостройки (хотя и на Мочище улицы назывались типа «Ударная», и тому подобное). Кучи песка, жара — ах, эта бийская летняя жара, когда во время налетающей грозы лужи просто кипят! А в остальное время — запах полыни, горячих досок, волны раскаленного воздуха...

Поселились мы сначала... в сарае, потому что дом еще не готов, к тому же он был «прорабский» — прорабы там сидели, так что мы все лето в сарае и прожили. Сарай назывались стайками: меж домов стояли длинные ряды сараев-стаек, для каждой квартиры — своя стайка. Но не только мы так жили: люди перебывали в сараях, карауля свои квартиры. Чтобы не захватили! Случалось, в только что построенном доме раздавались крики, в открытые окна летели вещи — я видел и слышал.

А как же ордера? Да бог его знает, может, и ордеров поначалу не было — а простота нравов была: Ваське и Вовке дали квартиру — а я чем хуже?!

Наконец, зашли и мы в свою комнату, в кухню. Помню, дядя Ваня осторожно повернул кран: есть ли вода? Ой, есть! Потекла прямо на вещички, сложенные в раковине. Я впервые увидел, как из крана течет вода... Но прожили мы все вместе в этой комнате, кажется, лишь несколько дней — и слава богу. Из дома напротив уезжала молодая пара, освобождали такую же комнату, и предложили нам с матерью въехать: надо было только купить у них деревянную скамейку и жестяную ванну!

Такая вот жисть... Тут надо вернуться к истории нашего семейства, немного рассказать еще, как мать оказалась в таком невеселом положении, ведь она была, по общему мнению всей родни, красавицей, и могла отлично устроить свою судьбу, личную жизнь. Кстати, ее миловидность и спокойствие приметили еще Рерихи, и просили отдать им в дети — и это, кажется, не легенда — я встречал упоминание этой истории в мемуарной литературе. А среди родни разговоры ходили такие: американцы просили отдать им Олю в дети. Просили не американцы, а Рерихи, и... в дети — не в дети, а, наверное, на воспитание.

И вот такая жизнь, по чужим углам, в сарае, с ребенком...

Вообще, судьба матери не один раз менялась — и самым несчастным, печальным образом. После Нарыма они с тетей Тасей оказались в детдоме, в хороших условиях — но вскоре за ними приехал родственник и отвез на родину. Мать говорила мне: она так не хотела, так не хотела ехать... Но Тася заусилась: едем!

Родственника тут же, по приезде в Уймон, арестовали — и обе внучки Вахрамея Атаманова оказались никому не нужны. Еще печальная усмешка судьбы: в доме Вахрамея власти устроили интернат — и сестры Атамановы пришли в свой дом уже как воспитанницы интерната...

Но всё же детям новая власть не давала пропасть: они и выросли, и школу закончили. Пришло время взрослую жизнь начинать, замуж выходить, и женихи были, но тут — война...

— Иду утром по Усть-Коксе, — рассказывала мать, — еще ничего не знаю, и вдруг вижу плакат, черными буквами: война!

Время наступило черное, страшное. Женихи все ушли на фронт — и не вернулся никто. Приходили письма, одно из них мать запомнила на всю жизнь — из Сталинграда:

«Ходим в атаку, — написал ей парень, — впереди танки, по горам трупов, как по волнам, а сзади идем мы...»

Наверняка в одной из атак упал и он на эту гору трупов... Не вернулся никто.

А в Усть-Коксе собрали девчонок, провели курсы медсестер — и тоже отправили на фронт. Из этой группы домой вернулись две: одна без ноги, другая беременная... Мать тоже окончила эти курсы — да ее оставили работать в Коксе, валенки для фронта катать.

— День и ночь катали, здесь же ели и спали. Бывало, только соберешься хоть чуть-чуть поспать или домой сбежать — появляется мастер: «Девчонки, надо еще смену поработать...»

Тася — решительная, боевая Тася — ушла через горы в Казахстан, добралась до Усть-Каменогорска. А мать всю войну без выходных-проходных отработала на промкомбинате — и не получила даже справки, не говоря уж о трудовой книжке.

И — никого и ничего, ни кола ни двора. Уехала в Горно-Алтайск, устроилась в столовую военного училища. Можно было подумать о любви и семье — но стала болеть, начали опухать ноги, да и училище вскоре перевели в другой город.

Врачи посоветовали матери уехать с гор на равнину. До Бийска — сто километров, здесь болезнь и прошла. И Тася сюда же приехала, и еще немало родни — сбежали от рабской жизни в деревне, в городе все-таки было чуть полегче.

Сняла мать угол у старухи, в районе вокзала, а дом этот оказался... воровской «малиной». Воров и всякого «деклассированного элемента» после войны в стране было пруд пруди. Да еще чем-то не угодила вора, стали они ей угрожать... А жиличка-соседка ее подчистую обворовала — и сбежала.

Поистине: хоть караул кричи! Было у матери такое присловье, частенько я его слышал...

Через некоторое время встретила она свою соседку на улице — под ручку с офицером. Та сама к ней подошла, сунула деньги, прошептала:

— Только молчи...

Однако всё равно: хоть караул кричи. И тут встретился мой отец. Вершинин Иван Васильевич... Солидный мужчина, бывший офицер, майор, но примерно в таком же положении. Находился в госпитале, в глубоком тылу, в чужом городе, а вышел из госпиталя — и неизвестно куда ехать. Семья, жена и двое детей, погибли в блокадном Ленинграде, и возвращаться туда он не хотел...

Сошлись, стали жить вместе. Пожили, пожили — и надумали ехать к его родителям, в город Керчь, а потом и в Краснодар. Поехали через Среднюю Азию, заезжали зачем-то в Алма-Ату — в этом городе сфотографировались, оттуда у меня единственная фотография моего отца...

Ехали они, ехали и доехали до Ашхабада. И угораздило же их оказаться на вокзале именно в тот момент, когда произошло страшное, вошедшее в историю ашхабадское землетрясение 1948 года. Мать с отцом, правда, уцелели, но в суматохе у них украли все вещи, все подчистую, даже сумку с документами. Пришлось возвращаться в Бийск. Разговор с начальством наверняка был короткий:

— Какая такая Керчь? Может, еще в Москву хотите? В Бийске живете, туда и отправим. Скажите спасибо...

Скорее всего, так и «поговорили», слово в слово. Времена-то — глухие, послевоенные, сталинские.

Вернулись назад, а вскоре и я родился. В это время снимали угол вместе с другими дорогими и близкими мне людьми: моей двоюродной теткой Лепестиной Фёдоровной Ерлиной и ее мужем Дмитрием Леонтьевичем. Долго, долго они вспоминали, какими заботливыми родителями были мои мать и отец. Это была их любимая тема разговоров: как меня мыли каждый вечер, как отец бегал на рынок, покупал свежей рыбки, чтобы сварить бульонцу... Когда я, уже совсем взрослый, прожив много лет в Северной столице, приезжал в отпуск, когда позади оставались «Петербург, снега, подлецы» (слова Гоголя), когда я, весь измочаленный — живого места не было — сидел с ними за одним столом, одно только их присутствие было самым лучшим бальзамом на все мои раны...

Рассказы о детстве, воспоминания — это для многих бальзам; но тут все-таки особое: сами люди, мои дорогие тетя Лепа и дядя Митя, мои родные староверы...

Собирались ли мои родители пожениться? Наверняка да! Такого понятия — «гражданский брак», в те времена не существовало. Однако я сомневаюсь, был ли у матери паспорт, не числилась ли она «беглой крепостной»? Жителям советского села вплоть до 60-х годов паспортов не полагалось! Да тут еще эта история в Ашхабаде. Канитель с паспортом продолжалась где-то до 65-го года! Имелся какой-то временный, который надо было постоянно продлевать, ходить в милицию...

Отец неожиданно умер летом 1953-го: раны, война, тяжелая жизнь... Перед этим отослал все свои деньги родной сестре, куда-то на Урал, на покупку дома.

— А мы еще заработаем!

И остались мы с матерью... Даже не у разбитого корыта — голые люди на голой земле. Отца у какое-то время помнил: вот тут мы с папкой сидели на бревнышках! — а потом забыл. Раскатились бревнышки...

Потолкавшись по углам тут и там, все мы, вся родня, в конце концов оказались в районе новостройки, промзоны. Даже автобусный маршрут был такой: «Центр — Промзона». Кстати, в Бийске сохранился прекрасный исторический центр. Уникальные деревянные, каменные дома, церкви, особняки — целые улицы. Бийск — большой город, и в самом конце советской власти, как я читал, он мог стать областным центром: область фактически существовала — только оформить документы — да помешали очередные исторические пертурбации.

Итак, мы — на «31-м квартале», тетя Лепя с дядей Митей — на «тресте», другие — на «1-м участке» — это всё новостройка, промзона.

В начале своих заметок я упоминал, что это такое было и для чего: создавался комплекс оборонных предприятий — химкомбинат, олеумный завод, машиностроительный завод и тому подобные «лесные братья». Вырубались березы и сосны, рылись котлованы — подземные цехи устраивались! — возводились бетонные и кирпичные стены, дымили трубы, на город валил «химдым» — то рыжий, то синий... Гробились материальные ресурсы, деньги, человеческие жизни — ради сохранения «стратегического баланса».

— Людишек, конечно, жалко — зато какую экономику построили! — сказал большой советский начальник.

Пришел момент — и рухнуло все к чертовой матери! Господи прости. Так, кое-где дымок еще курится. Да вздохи слышны, как здорово работали...

Создавал все эти заводы-предприятия строительный трест № 122 — вот там в основном и трудились мои родственники. Разнорабочими, подсобными рабочими, грузчиками... Наверняка можно было пройти какие-нибудь курсы — и стать токарями, слесарями — каменщиками, в конце концов! И работать легче, и платят больше, и начальство уважает — ордена-медали дает. Однако мои родные-староверы, как я понимаю, инстинктивно сторонились всего этого. Ну, не могли они, по своей крестьянской натуре, по восемь часов в день да каждый день, не поднимая головы, класть кирпичи! И уж тем более, не видя солнечного света, стоять в цехе у станка, точить железяки. Правда, дядя Митя Ерлин был сварщиком — что называется, квалифицированным рабочим. Сварному делу научился он еще в деревне, и дальше так и «выявлял себя» в этом направлении. На «промышленные гиганты» не стремился, а трудился в разных мелких шарашках, при тех же гигантах: отремонтировать, приварить-прихватить. Причем дядя Митя был «летун»: полгода-год на одном месте — потом на другом; сегодня он в каком-нибудь СУ-15, завтра на автобазе, в «дикой дивизии» — и так далее. Была такая организация: «дикая дивизия»! Рабочему и знать не надо, что называется она, скажем, «Запсибстройметаллконструкция». «Дикая дивизия» — и всем понятно, что это и где.

У меня в трудовой книжке задолго до выхода на пенсию появился вкладыш, а у дяди Мити трудовая — наверняка в палец толщиной. И палец этот указывает на любовь к свободе! Совершенно серьезно заверяю-заявляю: уж дядю Митю я знаю. Не станет долго он терпеть начальственные указания, нотации да попреки: сходи туда, принеси то, сделай это... Да побыстрее! Пошлет куда подальше — и свободен. Благо, советское время имело одну особенность: перешел дорогу — и устроился в другую шарашку. Тем более что везде платили примерно одинаково.

Характерный момент. Уже в наше время, в отпуске, еду в Бийске на трамвае, смотрю — дядя Митя на остановке стоит. Я выскочил — обнялись, поговорили. Оказалось, дядя Митя, уволившись, едет домой. Будучи на пенсии, подрабатывал сторожем где-то у «лесных братьев». Не сработался.

— Я им говорю: тут вот так-то надо... А они мне: не-е-т, надо вот эдак... Да пошли они все!..

А дядя Ваня Жмак, муж моей тети Таси, всю жизнь проработал на ТЭЦ — грузчиком, на угольном поле. Одно-единственное лето он уходил в трамвайный парк — рельсы и шпалы менял — а потом снова ТЭЦ, какой-то «Котлоочист»: кувалдами оббивал изнутри нагар на тэцовских котлах. Ад...

Когда я начал хорошо учиться в школе, вся родня хвалила, радовались за меня: вырастешь, выучишься, не будешь вкалывать, как мы, в жаре, на холоде, в грязи! В чистом будешь ходить, на стуле посиживать.

Сильно подозреваю, что, как многие простые люди, всякий умственный труд они и за труд не считали: в кабинете сидит, в костюмчике да в галстукe ходит — какая же это работа?!

Не знали, простые души, известную истину: человечество за всю свою историю не придумало ничего более трудного, чем пустой лист бумаги — и необходимость писать на нем. Сейчас мне — ровно шестьдесят, гораздо больше, чем каждому из взрослых вокруг меня в то время. Сижу, пописываю, поглядываю на петербургский дворик, вспоминаю бийский. Мы, дети, находились под женским присмотром: стариков и старух в новостройке не водилось, а женщины были в основном домохозяйками. Готовили еду, стирали белье в корыте, на стиральной доске, развешивали на улице — миллион дел! — и за детьми приглядывали. А жизнь у детей вся проходила во дворе. В любом дворе: московском, ленинградском, бийском. В ленинградском-петербургском дворике, куда я гляжу из окна, только-только, несколько лет всего назад, кончилась традиция: приходила весна — и асфальт расчерчивался на «классики», девчонки прыгали по квадратикам. Сейчас, во-первых, всё заставлено машинами, а во-вторых... Во-вторых, в-третьих, в-десятых — закончилось всё! Закончилась дворовая жизнь. Дети, молодежь, даже пьяницы — сидят по домам. По-научному это называется «атомизация общества». «Демократы» говорят об этом просто как о факте, патриоты — об умышленной, злонамеренной политике. Я — патриот...

Игр во дворе было множество. Футбол, городки, лапта, догонялки, прятки, «война», «чижик», «ножички»... Как с утра начиналось, так весь день и продолжалось. Надоеет одно — начинается другое. Футбол я любил до самозабвения — и бескорыстно: у меня не всё получалось, а некоторые пацаны были прямо виртуозы. Зато городки!.. Тут мне равных не было. Я и сейчас, к удивлению моего 16-летнего сына, запросто могу влепить, почти не целясь, снежком или камешком в далеко стоящее дерево. Это — от городков.

Сейчас мой бийский дворик — обычный пустырь. Иногда на его краю сидят, зевают и кричат с похмелья местные алкаши — вот и все события. Нет, на самом деле — ничего, я ведь заживал в свой дворик чуть не каждое лето: пустота и тишина.

Среди детских игр тех лет запомнилась еще особая пасхальная игра: биться крашеными яйцами. Зажимаешь яйцо в кулаке и по очереди стучаешь: тупым концом — острым концом. У кого яйцо осталось целое — тот победитель. Вот и всё.

Кстати, кроме покраски яиц на Пасху, ведь никаких других отзвуков религиозных праздников не было. Да и что такое Пасха — мы не знали, и многие взрослые наверняка не знали! Не видели икон, не знали молитв, не умели креститься...

Читаю сейчас, по ходу дела, ученого человека, его слова про те времена: «общинный крестьянский коммунизм» как версия «народного православия»... Дальше тоже интересно пишет: «к концу 70-х годов на арену вышло поколение, в культурном отношении очень отличное от предыдущих».

Очень, я бы сказал, очень отличное. С чем бы сравнить? Ну, как жители Северной Кореи — это советское поколение 30—50-х годов; а Франции, Германии, Англии — наше поколение 70-х. Притом образованное! Очень, очень отличное. Перед нами вся эта политбюровская орда, Горбачев с Лигачевым да Ельцин с академиком Яковлевым — тёмное дубье да зверье, загнавшее нас в рамки дикого «дефицита». Впрочем, идея краха коммунизма была заложена еще на старте — в 1917-ом, и наше поколение это понимало. Как бы сейчас ни мудрили философы.

У меня же — ностальгические заметки, рисующие живую картину — надеюсь, интересную и познавательную для читателя. Ну вот пожалуйста: во время написания этих строк исполнилось 50 лет с того дня, когда безграмотный лысый толстый дядька — Хрущев — объявил о строительстве коммунизма, и о том, что через 20 лет коммунизм будет построен. Заявляю как свидетель: никто, ни один человек — а я слышал все разговоры вокруг — не поверил ни в какой коммунизм!

Помню, мы, дети, приставали к учителям: и что, я смогу зайти в магазин и набрать конфет сколько захочу?!

— Не-е-е-т, — объясняли нам, — ты будешь сознательный...

В 1961 году конфет в магазинах было — завались, а в 1981-ом — шаром покати...

А «великий и мудрый» Сталин? «Вождь народов»? Я, правда, его не застал, но достаточно посмотреть кинохронику, фотографии... Как-то я даже его сочинения почитал. Боже мой, какая дурь, дикость, варварство! Северная Корея...

Кстати, постаревшие «северокорейцы» в 1991-ом бегом кинулись на избирательные участки голосовать за Ельцина. Понравился он им. «Великий и мудрый».

Во многом они и привели «демократов» к власти. «Отличное в культурном отношении» поколение при виде Ельцина испытывало оторопь и шок: этот человек способен на всё... Так оно и вышло, для того и выставили его «демократы» перед собой — как таран...

А Горбачев... Было видно: человек анекдотически глуп... но забавен. В 2011 году у него случился юбилей. Ну, думаю, цирк: сейчас вручат ему новомодный орден «За заслуги перед Отечеством»! Нет, догадались выдать другой. А сам он так до сих пор и не понимает, что натворил, и что говорит, и что городит...

И продолжается наш бег по кругу, под присмотром «все тех же лиц того же круга» — только уже безо всяких лозунгов. Бег в никуда, без цели и смысла. Хотя вроде и храмы строятся, и купола золотятся.

— Но это будет время зла и лжи, — сказал в свое время православный святой, преподобный Серафим Вырицкий.

Ну, а мы тогда, в конце 50-х, в 60-х годах, — все были молоды, силы кипели — жили как могли. Не всё же работа, работа, школа да игры во дворе — случалось и нечто необыкновенное — праздники, приезды родственников, в основном из Горного Алтая, а то и вообще бог знает откуда: вон у меня до сих пор сохранилось фото с Василием Вахрамеевичем Атамановым и кучей родственников, у дома на 31-м квартале. Нет среди них только меня... Это было, видимо, то несчастное лето 1962 года, когда меня сначала отправили в летний лагерь при интернате, где я всю зиму прожил, а потом — в пионерский лагерь «Ключи», всё с теми же интернатскими пацанами. До сих пор живы те чувства: горе, хоть и детское, но горе. Настоящее... Пропало лето!

Помню я Василия Атаманова при каких-то других обстоятельствах. Мне он запомнился как очень спокойный человек с внимательным взглядом. Теперь понимаю: это взгляд человека, много, много повидавшего, испытавшего на своем веку... Другие родственники с Горного Алтая, такого же возраста, не говоря уж о более молодых — все шумливые, говорливые, веселые, певуны и плясуны — хоть и староверы!

А вот речью, манерой говорить — они отличались от городских, слова произносили мягко и неспешно.

— Всю зиму пролежала в больниси, — жаловалась одна гостья.

И совсем молодой парень тоже толковал про «больниси»: справки в больнице собирал для чего-то. Кстати, народ долго не говорил слово «поликлиника»: слишком уж мудрено, язык сломаешь! А разговоры, как у всех простых людей, шли про здоровье да цены на продукты. В самом деле, не новинки же литературы обсуждать, не политику! Но когда Хрущева сняли, это обсуждали: «лысый полетел». Не любили почему-то Хрущева! А знаете, я думаю, почему? Слишком много болтал, слишком лез на глаза. Народ этого не любит. Вот Сталин, хоть и настоящий палач был, но упоминали о нем осторожно и уважительно. И вовсе не из-за победы в войне или страха, а из-за того, что не видно и не слышно его было... Таковы люди, такова жизнь!

Привозили гости из Горного Алтая подарки, гостинцы: листья бадана, золотой и красный корень, да еще какую-то «щетку» — тоже заваривать, всё — вместо чая. Про золотой корень при этом обязательно вспоминали стародавний случай: одна баба в Уймоне выпила целую кружку крепкой заварки — и у нее «жилы полопались»; осторожнее с ним надо!

Непреренно привозили кедровые шишки — кедровые орехи. Откуда ж все-му этому добру в Бийске взяться, кроме как с Горного Алтая?! Особенно бадан, помню, не переводился: чай-то денег стоит, а тут — бесплатно! Помню разговоры:

— Вот приедет Ванька Зубакин — он еще бадану привезет.

Ванька Зубакин — двоюродный брат матери и тети Таси, очень близкий человек, они и жили в детстве вместе. Вспоминается мне и смешной случай. Когда тетя Тася получила квартиру в пятиэтажной хрущевке, Иван Зубакин искал адрес по бумажке: дом такой-то, подъезд такой-то, квартира такая-то. Вот он — дом, а что за «подъезд» номер третий? Обошел вокруг дома — нету никакого третьего — один к дому подъезд!..

Долго и весело все смеялись, когда встретились, и много лет со смехом вспоминали этот случай — и сам Иван Зубакин, про это «третий подъезд»... Иван Зубакин — отец моего троюродного брата Семёна Зубакина, который тоже является правнуком Вахрамея Атаманова. Семён достиг больших государственных должностей, был председателем правительства Республики Алтай...

А с Иваном мы в последний раз встречались в Горно-Алтайске в 2006. Был он уже старенький, больной, но в здравом уме. Хорошо посидели, поговорили о жизни, о прежних временах, о наших родственниках — староведах...

* * *

В советское время, заполняя разные анкеты — в школе, на работе, в институте — я всякий раз морщился, натываясь на строку: социальное происхождение. Варианта всего три: из рабочих; крестьян; служащих. Не из тех я, не из других, не из третьих... Используя советскую терминологию, мне надо было писать: из люмпен-пролетариев, притом с полной пауперизацией — обнищанием то есть. И это было бы чистой правдой. Но приходилось врать: из рабочих, из служащих...

Ну вот, перебрались мы с матерью в пустую комнату (чужую!) комнатёнку, и пошла она «устраиваться на службу» — уборщицей, в трест № 122, чтобы закрепиться в этой комнатёнке — и официально устроиться на работу, наконец! Как и на что жили мы до того, я еще скажу. Заручилась бумажкой за подписью аж самого заместителя председателя горисполкома: «прошу изыскать возможность трудоустроить гражданку»... Вон она, до сих пор лежит у меня, эта бумажка — со следами материнских слёз... Пороть бы надо начальничков за такие формулировки! До усёру пороть, до полного оразумления...

Трестовский начальник, взяв такую «бумажку-рекомендацию» в руки, злобно произнёс:

— Я вышвырну тебя из этой комнаты...

Но это он просто от злобы... Потому что «вышвырнуть» не имел права: мать с ребёнком. А уборщицы-то всегда и всюду нужны, мог бы и принять — получить добросовестного работника. Нет, сильнее оказалась злоба на бумажку, злоба на своё бессилие. Злоба, равнодушие, бессердечность.

Морока, неопределенность продолжались — и с комнатой, и вообще... Да! Так на что же мы жили-то, после смерти моего отца? Дело в том, что еще в довоенной жизни он был прекрасным портным — и мастером по ремонту швейных машинок. Перед отъездом из Бийска он и жил этим ремеслом — чрезвычайно востребованным, — и мать обучил: машинки ремонтировать. Почти в каждом доме тогда была швейная машинка, чаще всего «Зингер».

— Портновское дело слишком кропотливое, сложное, а вот машинки — это тебе кусок хлеба на всю жизнь.

Трижды ах: как же отец оказался прав!

Год шел за годом, но ни жилья, ни профессии, да и я еще маленький — а тут сходил, две-три машинки отремонтировал — и деньги на какое-то время есть. Так мать и втянулась в это дело, и со временем стала великой мастерицей, на «вызов» частенько ходила с одной отверткой в кармане:

— Да там только отрегулировать надо...

Но и запчастей всяческих имелась целая сумка.

Так что когда в нашей жизни в 1960 году появился Измайлов Валентин Алексеевич, учитель у него оказался прекрасный. Измайлов до войны окончил финансово-экономический институт, был немалым начальником на Дальнем Востоке,

войну прошел офицером. Имел в Бийске жену, сына. И вот — сошел с круга. Спился. Сёстры — врачи — устроили ему первую группу инвалидности, 120 рублей пенсии — целая зарплата! К нам он явился с галстуками, костюмами, хорошими пальто и ботинками. Поначалу устроился в трест 122 каменщиком (комнатёнка!), но быстро вылетел.

— Руки золотые — рот говёный, — выдал характеристику мастер со стройки, пришедший узнать, что с его работником.

Семейная жизнь как таковая быстро закончилась, Измайлов пустился во все тяжкие (хотя не валялся и не блевал), никаких денег не хватало — тут он и обучился у матери ремонтному делу.

Вспоминаю сейчас... Прости меня, Валентин Алексеевич, но второго столь же пьющего человека я в жизни не встречал! Норма — шесть бутылок креплёного вина в день. Почему я помню? А в торец кухонного стола умещалось ровно шесть! Ближе к ночи ставилась последняя пустая бутылка, Измайлов брал под мышку кошку — и брёл спать. И так каждый день. Да: любил еще почитать газеты, поиграть со мной в шахматы. Но это когда я был ребёнком, подростком, тогда ещё был для него чем-то забавен, интересен. А так... Типичная картинка советской жизни. Бездуховность — даже неловко писать это слово, настолько оно здесь наивно звучит.

Бессмысленность, полная бессмысленность существования. Пожалуй, так... Никогда и нигде за всю историю человечества — безусловно! — не пили так, как в Советском Союзе в период «развитого социализма» — где-то с 1965-го по 1985-й год. Притом пили-то, пили-то что! Бормотуху. У нынешнего поколения глаза бы на лоб полезли от её запаха и вкуса.

От такой «личной» и «коммунальной» жизни и мать в конце концов серьезно заболела и тоже получила группу инвалидности — с грошовым пособием. Так что швейные машинки давали ей кусок хлеба до самого конца.

Единственным везением, даже чудом в её жизни можно считать то, что однажды вся двухкомнатная квартира стала нашей — и даже ордер выписали на мать. Я уже учился в 10 классе, однажды сижу, делаю уроки — и в комнату (комнатёнку!) входит компания сиятельных женщин — нарядных, благоухающих.

— Да, да, условия неподходящие, — произнесли сиятельные феи...

Дело, значит, такое. Соседи наши получили квартиру, освободилась комната, и никто бы нам её не отдал, но бийская сестра-врач Измайлова дала знать сестре-врачу, начальнице, из краевого центра. И та лично приехала «проверить условия»...

Сейчас, бывая в Бийске, заезжаю к матери на кладбище — вот и в 2010 был. Пока другие родственники выдирали буйное алтайское разнотравье, я красил оградку на лютой жаре. Фотография на памятнике повисла — я булыжником аккуратно гвоздик подколотил, закрепил. Потом всё оглядел: ну что ж, не хуже, чем у других!..

* * *

А еще обязательно бываю у дома, в доме, куда мы приехали в 1957 — и между сараями прохожу. Без этого мне не жизнь! Постою на площадке-пустыре, повспоминаю друзей детства, футбол, городки, догонялки — и на дом посмотрю. Боже, какой же он ветхий, старенький, выцветший, ободранный, обитый там и сям рейками, разномастным толем! Похожу, похлопаю перила, поглажу досточки, подберу камешек, выпавший из фундамента — на память. Он помнит меня! Поддержу его в кулаке в трудную минуту, обменяемся с ним памятью и теплом — и на душе легко.

Именно этот дом я считаю домом своего детства, поскольку всё время проводил здесь — у тёти Таси. И все друзья жили здесь, и все интересы — здесь. И самая-самая первая любовь — и смерть...

Любовь... Я и думать об этой девочке не смел, и глядеть на неё... стеснялся, что ли: она была чуть постарше, и даже не разговаривал с ней ни разу. О чём?

Смерть... Да, это была первая смерть, которую я увидел. И — почти ничего не понял. Просто вдруг побежали к дороге взрослые, рядом с домом. На обочине валялся большой велосипед — и возле него девочка: чистенькая, беленькая, в розовых носочках. Лежала — и не шевелилась.

Из разговоров услышал: ехала на багажнике, наверное, с папой. Сбил самосвал... Я, конечно, тогда не осмыслил: что это значит — умерла? Когда вокруг тихий вечер, когда под ногами тёплая мягкая пыль, а кругом — друзья, родные, мама... Сегодня, глядя на себя тогдашнего, хочется еще написать: когда по самые вихры на макушке наполнен счастьем...

Из тихого счастья вспоминается летнее утро, я спускаюсь — конечно, босой — по тёплой деревянной лестнице, а всё вокруг заполняет солнечный свет. Тоже свой, родной!

А однажды нам, ребятишкам, пришла фантазия: ночевать на чердаке. Большой чердак, под шиферной крышей. С длинными стропилами, тёмными углами, таинственный и загадочный. Взрослые разрешили. Мы притащили матрасы и разные тряпки, улеглись, лежали в темноте, болтая разную таинственную чепуху. Запомнилось навсегда!

Бурное счастье было зимой, когда мы вечером играли в общем коридоре и на лестнице, прячась за стойки перил и развешанные пальтишки — и лупили друг в друга мячиками! Визгу и крику было столько, что взрослые нас в конце концов разгоняли.

А на улице — мороз градусов под 40, и синяя снежная гора, прямо у входа, где мы отводили душеньку уже днём, устраивая штурмы — или тихо прокапывая туннели и ходы. А весь дом, как большая гора счастья, смотрел на нас и радовался...

Радовался дом и за взрослых — когда звучали песни на праздниках. Не всё же бадан пили, кедровые орехи шелкали да про «больнисы» говорили. Такую дробь каблук выбивали — стукоток на весь дом стоял! И песни пели — какие в провинции до сих пор на гулянках поют: «Вот кто-то с горочки спустился...», «Ой, рябина кудрявая, белые цветы...», ну, и коронное — «Огней так много золотых на улицах Саратова-а-а-а... Парней так много холостых, а я люблю жена-а-а-а-това-а-а!»

На столе — брага, вареная картошка, селёдка да квашеная капуста — целый таз; всё самое простое, самое дешёвое. А за столом — самое дорогое: искренняя радость, настоящее веселье. Счастье...

«Программу» пытались разнообразить тётя Лепа с дядей Митей: песнями и частушками собственного сочинения. Впрочем, пели они всё, что им нравилось: и своё, и народное, и эстрадное. Так, услышали они по радио песню про «город мой солнечный Сплит» — и пели-прославляли этот неведомый никому «солнечный Сплит».

К себе зовёшь ты меня,
О, Сплит, жемчужина моря!

А уж весёлых-шутейных песенок-частушек в их репертуаре было поистине море.

— Завлека-а-тельный Серёжа, — начинает ласковым голосом Лепестинья Фёдоровна.

— Нос рябой, ко-ря-ва харя! — грохает Дмитрий Леонтьевич.

А далее — хором:

— Ой-лы, чиндалы, лычка-чинда чечевинда — ох, кручинда-чиндала!

Десятки лет они пели-сочиняли, и только в двадцать первом веке, когда уже и дяди Мити не было, их творчество получило известность: бийское телевидение, услышав однажды про народную певунью-сочинительницу, наведальось к ней, рассказало про неё...

А дядя Митя был еще и настоящий воин-герой: всю войну прошел в пехоте! До Будапешта дошел, и даже там, в страшнейших уличных боях, сумел остаться живым.

— Пробираемся вдоль стенки — и вдруг оказываемся — как на расстреле! — рассказывал дядя Митя. — Стрельба, кирпичная пылища такая, что ничего не видно. Пыль малость осядет, вижу — всех перебило... А я цел!

Однако, как сочинитель, хлебнув лишнего, дядя Митя мог пуститься в такие фантазии — только держись! Тётя Лепа и удерживала: от погони на танке за Гитлером, например. Хотя это было не хвастовство, а фантастическое сочинительство — все относились с пониманием.

Ну, и еще про один бой Дмитрий Леонтьевич рассказывал... Закончилась война, вернулся он в Горный Алтай, в свою деревню. К молодой жене. Легли спать... И тут на них напали... полчища клопов!

— Да во-о-т такие клопы! — показывал дядя Митя свой здоровенный ноготь. — Ну всё, думаю — пропал, погиб!

И в старости он рассказывал как-то за столом эту историю, надев военную фуражку и китель — весь в орденах и медалях.

Хохотали до слёз...

Если тётя Лепа с дядей Митей — певцы-сочинители, то тётя Тася — искусница по всяким словечкам и выражениям. Это и по характеру ей подходило: острая на язык, решительная, боевая. Крутятся целый день по хозяйству, она и сыпала этими словечками. Обожглась, укололась:

— Куток!..

Случилось что-нибудь поострее:

— Ёкарный бабай!..

А когда я швырнул в коридоре новенький резиновый мяч, и он тут же напорол на что-то острое, мигом и непоправимо сдулся, тётя Тася произнесла своё коронное:

— Надолго собаке блин...

Порвались ли новые штаны, раззявились ли новые ботинки, поломались ли новые санки:

— Надолго собаке блин.

Нехорошую женщину тётя Тася могла назвать так:

— Сука меделянская!

А мужчину:

— Уразбай покровский!

Но это — только словесные характеристики за глаза: открытых скандалов с кем-нибудь я не помню.

Хотя нравы вокруг — именно вокруг, в жизни — были грубые, жестокие. Бедность — мать всех пороков... С получки, аванса — новостройка вся гудела и шаталась от пьяного разгула. Доводилось мне видеть и жестокие массовые пьяные драки мужиков... Застал я, кстати, и времена, когда пацаны — подростки — ходили улица на улицу и даже район на район: орали, кидались камнями, наступали-отступали. Кажется, это повсеместно закончилось к 1970-м годам, когда пришел телевизор.

* * *

Осмысленно я приехал в Верхний Уймон первый раз в 1983 году, в отпуск, из Питера. Помню, мой тогдашний приятель, аспирант ленинградского вуза, сам — из Бийска, представлял меня своим друзьям-знакомым на невских берегах так:

— Атаманов — наш сибирский князь!

Имея в виду, конечно, мои корни — от Вахрамея Атаманова.

Осмысленно-то осмысленно, да только вот религиозные, духовные вопросы оставались для меня закрытыми наглухо, напрочь, абсолютно. И поговорить на эти темы было не с кем. Так, какие-то отголоски, самые первые шаги, небольшое приоткрытие. Иду по улице, а навстречу парень, голый по пояс, не местный. Уймонская старушка при виде парня крестится, отворачивается в сторону, пытается его усосветить... Потом и на меня обращает внимание: а ты кто таков, чей будешь?

— Атаманов, правнук Вахрамея Семёныча.

Старушка глядит на меня пристальной, выдает приговор:

— А ты на него не пох-о-ож...

Но тут же спохватывается: да, каждый таков, каким его Господь создал, у каждого свое лицо. А потом и поговорили мы с ней хорошо, душевно: признала своим. Но отошел в сторону — и снова житейская суета и страсти, грехи и пороки... А я ведь еще и журналистом был, газетчиком. Вспоминаю сейчас с ужасом всю белиберду, которую выводило моё перо про социалистическое соревнование, трудовые вахты, перевыполнение плана... Ничего этого в природе не существовало! Не просто враньё — фантазмагория, притом напряженная, жесткая, жестокая... Как в таких условиях умудрился написать очерк — путевые заметки для журнала «Нева» — ума не приложу. Под пьяный рёв соседей по коммуналке в Питере, да со всех сторон — да еще и сам, голубчик, хорош: я же говорю — все грехи и пороки. Я был для них полностью открыт — беззащитен. Мотало меня — как соринку в Катунь! Только молитвы моих родных-староверов, пребывающих — я надеюсь — у престола Божия, меня и спасали.

Они меня вымолили. Только так могу объяснить своё второе рождение — во Христе, и открытый взгляд на мир.

В 2010-ом году еще раз приехал в Верхний Уймон. Снова прошелся по усадьбе Вахрамея Семёныча Атаманова. В самый туристический сезон попал — вместе со мной ходила англоязычная группа, и всё-то было слышно: Рерих, Рерих, Рерих. Я — с полным пониманием: если бы не заехал сюда Рерих в 1926 году, вероятнее всего, вообще бы никаких туристов и музеев в Уймоне не было, и про Атамановых никто бы не узнал. Как они здесь жили, добывали хлеб в поте лица своего, молились. И как за своё трудолюбие, благочестие, цельность натуры и справедливость — перед советской властью заплатились.

Теперь здесь красиво и спокойно: растут цветы, бродят по траве-мураве мирные туристы со всего света, слушают экскурсоводов, покупают сувениры. Расходятся по миру книги и открытки, звучат имена и названия: Горный Алтай, Верхний Уймон, Николай Рерих, Беловодье, Вахрамей Атаманов...

Реальная жизнь, однако, очень и очень сложна. И своим подвигом мои предки показали миру, как надо стоять за правду, отстаивать Добро — и хранить свою веру.

Теперь и я сподобился молиться за моих родных староверов.



Дмитрий НЕЧИПУРЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ*

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Начало войны я встретил в Николаеве. Немцы сразу стали сильно бомбить наш завод. Мы строили военные корабли и подводные лодки. После начала войны стали ремонтировать катера: война шла на Буге, на Черном море, и нам доставляли побитые катера.

Завод был защищен с воздуха: в самом городе было много зенитных установок. Помню, я спал дома на балконе и проснулся на рассвете от грохота зенитных батарей. Обидно было: немецкий самолет попал под прожектора, снаряды рвались рядом с ним, справа и слева, и ни один не попал. Но и отбомбиться ему не дали: он сбросил на завод только две-три бомбы и улетел.

Мы побежали на завод. Наш цех не пострадал, а в литейный попала бомба и наделала там дел. Одна бомба попала между двухэтажным зданием охраны и бетонным сортиром. В здании охраны всех ударной волной поубивало: там было пять или шесть человек, а те двое, кто был в сортире, остались живы.

Из рабочих завода сформировали истребительные батальоны, которые должны были защищать город. Собрали мы вещмешки, дали нам автобус, польские пулеметы и вывезли в степь. Все польское оружие было зачуханным, слабеньким — я там занимался с этими пулеметами: разобрался и показывал другим, как они стреляют.

Пошли слухи, что немец начал выбрасывать десант. А настроение было такое: стоит только нам найти немца, тут мы быстро с ним расправимся. Немцы высадили десант на водопое — метров в 500 от шоссе, которое шло с Николаева на Херсон. Там всего километров 60 от Николаева до Херсона, рядом железная дорога — по шоссе и железной дороге отступали гражданские и военные.

Когда мы приехали туда, там уже были военные, какой-то майор организовал оборону. Нам было видно немцев: там был лесок, отдельно стояли деревья — и из-за них танкетка выглядывала. Майор сказал: занимайте железнодорожную насыпь. Мы заняли оборону вдоль полотна, чтобы немец не перерезал железную дорогу. Вокруг были степи и кукурузные поля, так что насыпь была единственным возвышением.

Среди нас оказался молодой парень с орденом за боевые действия против японцев под Халхин-Голом. Оружия у него не было. Он всем предлагал пойти с ним к немцам — добыть оружие. Но все отказывались. Я тоже отказался. Он взял железный прут и пошел вдоль кукурузного поля.

Долго мы его ждали, часов шесть прошло. Потом слышим: стрельба там началась страшная. Проходит еще время, смотрим: возвращается — и автомат немецкий на шее несет. Он рассказал, что подлез к немцам по кукурузе, подождал, когда один отошел оправляться — и дал ему по голове прutom. Наверное, насмерть. Но автомат у немца был на цепи прикован, так что он с трудом его отодрал.

Мы там провели ночи две, прямо в поле ночевали — было тепло. Кто-то на машине к нам приезжал, выступал на дороге от обкома партии. Что надо Николаев оборонять... Войска и жители шли и шли со стороны Николаева — никто с нами не оставался. На второй день одна немецкая танкетка вышла от водопоя и пошла к шоссе. Как раз по дороге отступала сорокопятка, орудие артиллерийское с расчетом, так им ничего не надо было говорить: тут же сорокопятка развернулась — и дала по танкетке раза три. Та загорелась, и оттуда начали немцы выскакивать.

Я себе уже вырыл окоп, мы закрепились — но тут пролетел самолет: нас, видно, засекли. Немцы начали стрелять из миномета, и мы побежали. Когда бежал, сильно ударило по ноге. Попал в пятку осколок, идти уже было тяжело. Ребята осколок вытащили и перебинтовали ногу, дальше шел с палкой.

Майор, что нами командовал, начал мобилизовать солдат, которые отступали, а нам сказал:

— Спасибо, вы выполнили свою задачу, идите на Херсон, в военкомат.

Отобрали у нас оружие, мы и пошли.

Тут обгоняет нас милицейский майор на машине:

— Остановитесь! Кто посмеет отступить, буду стрелять!

Пистолетом размахивает и приказывает, чтобы мы заняли оборону.

— А где же оружие?

— Я вам привезу.

Мы ждали час, другой.

Я был старшиной, потому меня выбрали за главного. Ко мне подходят ребята:

— Где же майор, где оружие?

— Подождем еще немного...

А тут мимо нас военные проходят:

— Там танки прорвались, вы что, ребята, тут без оружия делаете? Давайте драпать!

Мы пошли дальше, увидели солдат и спрашиваем:

— Где майор, который нам оружие обещал и распорядился?

— А он сел на машину и уехал...

По пути встретили десять телячьих вагонов с ранеными. Они были с костылями, инвалиды, без рук и ног, начали нас ругать:

— Куда же вы, предатели!

Кто мог, кое-как начал выбираться, на костылях за нами потянулись — а тяжелые так остались.

Я тоже кривой был на ногу, с палкой шкандыбал. Тут полуторка шла, ее остановили, ребята говорят: подвези раненого.

А шофер — бывают же такие гады:

— Заплотит — подвезу.

Я ему заплатил, так он меня провез километра два и высадил: в сторону сворачивал.

Рюкзак мой остался там, где я был ранен. Там же я видел, как муж с женой, молодые еще, под минометный обстрел попали. У мужа осколок в животе, он лежит на земле, кишки руками прикрывает, а жена кричит, помощи просит. Но как ей поможешь? Она сама свое исподнее белье, сорочку разорвала — и перевязала его.

В Херсоне скирды сена горели, дома — все те, что отступали, подпаливали.

Выходили женщины. Выносили нам вареники.

Одна спрашивает:

— Правду говорят, что Николаев у немцев?

Я отвечаю:

— Нет, немцы в Николаеве!

А она обрадовалась:

— Вот паникеры! Говорят, что Николаев уже у немцев!

В Херсоне нас построили, военные билеты поотбирали и начали переправлять через Днепр. Сразу нам дали маршрут на Запорожье. Но немцы так быстро наступали, что нам три раза меняли маршрут.

Ночевали на дороге, прямо в степи: было тепло.

Помню, как заночевали в заповеднике Аскания-Нова.

Молока нам надавали, сметаны.

Там был совхоз — и нам принесли всего.

Орленок присел с нами рядом и начал орать — пока мы его не покормили.

Дошли до Геническа, это на Азовском море. Там уже приготовили для таких, как мы, казармы с двухъярусными нарами — и формировали части для отправки на фронт.

БАТАЛЬОН

Начальником в этом лагере был лейтенант Монин.

Он меня долго держал.

Там все по два-три дня — и в строй, в пехоту на фронт отправляли.

А это верная смерть.

Я дал документы: «летный состав», а летчиков вокруг и подавно не было.

Он приходил и говорил:

— Что мне, старшина, с тобой делать? Посадят меня за тебя. У нас офицеров нет — ротой командуют старшины. На летчиков запроса нету.

Раз пришел радостный:

— Иди, старшина, видел я твоих, с голубыми петлицами.

Батальон аэродромного обслуживания вышел из окружения из-под Одессы. Часть их еще плыла по Черному морю. Он меня к ним отвел.

Там и авиация была, несколько самолетов. У них радиостанция стационарная была для связи с самолетами на машине с дизелем, но они не могли работать — не знали, как ее запустить.

Батальоном командовал майор Неймарк. О нем я позже расскажу.

Я познакомился со старшиной Семёновым, он был грамотный, москвич. Мы подружился там и с Исайкиным, который заведовал у нас хозяйственной частью.

Первое, что еще было — пригласили в Особый отдел, и какой-то армянин сразу дал мне кличку «Васин» — и чтобы я к ним являлся и докладывал. После войны уже выяснилось, что все мы должны были друг на друга докладывать. Я — на Семёнова, он — на меня...

Один раз в Особый отдел меня вызвали:

— В эту ночь стреляли ракетами — на наш аэродром показывали. Даем тебе пять человек с винтовками: надо найти людей, которые раскрывают место нахождения аэродрома.

Дали плащ-палатки.

Мы там дежурили всю ночь — холодно было, но никто ракеты не пускал.

Намучался страшно. Вернулся под утро и говорю Семёнову:

— Мне не до еды, спать хочу, пойду лягу — а ты принеси котелок, потом поем.

Только лег — тут меня будят:

— Вставай, старшина, вставай: командир роты Медведев приказал строевой заниматься.

Поставил он меня в первую шеренгу, и давай маршировать туда-сюда.

А я даже не в той еще форме был, в гражданской. Я терпел-терпел, потом вышел из строя:

— Я отказываюсь выполнять ваше задание. Меня Особой отдел отправлял всю ночь дежурить, мне надо отдохнуть.

Тут этот Медведев покраснел, за пистолет схватился:

— Да как ты можешь приказ не выполнять! Да я тебя сейчас под трибунал!

Велел меня арестовать, приставил двух с винтовками — и отправил к майору Неймарку. Он спросил:

— Зачем с винтовками пришли?

Отослал тех.

— Ну, рассказывай.

— Я с завода Андре Марти в Николаеве. Служил до войны в дальней бомбардировочной авиации. Сейчас дежурил всю ночь — ловил шпионов. А меня строевой заставляют заниматься. Это же глупость, у меня и формы нет, какая строевая? Разве этим сейчас надо заниматься? У вас тут радиостанция стоит, не работает. Я же радист, мог бы ее завести.

— Знаешь, как запустить радиостанцию? Так пойдем! То, что ты не слушаешься приказа, это неправильно. Твои командиры тоже не правы. Я с ними разберусь.

Привел меня он сразу на станцию. Радисты там были, но они не знали, как включить дизель. А у нас в полку как раз такая станция была, и я запустил ее. Неймарк пароль дал, сказал, как вызывать 34 район аэродромного базирования (РАБ). Я включил рацию, связался с ними.

Майор так обрадовался... Впервые после того, как они из-под Одессы вышли, удалось наладить связь!

Говорит:

— Ты будешь со мной, я тебя заберу на легковую машину. А пока иди, но только имей в виду, что приказы надо выполнять.

Я лег спать — потом уже командир роты Медведев с политруком пришли извиняться:

— Мы же не знали, что ты не спал, ты нас прости...

Позже их куда-то от нас убрали.

Стал я начальником радиостанции. Ко мне все относились как к командиру взвода, но все-таки звание не присваивали — и взвода не давали. Потом уже прислали на место командира взвода кого-то. А я так и остался старшиной роты, начальником радиостанции.

Неловко было: всю войну прошел — и остался старшиной.

В конце войны, в бане в Германии я встретил комиссара своего полка, в котором служил на Дальнем Востоке, — он меня сразу узнал, сказал, что полк рядом стоит.

Я сразу его про своего командира Логинова и штурмана Довгушу спросил.

А он глаза опустил:

— Нет твоего командира, погиб вместе с экипажем, и так загадочно погиб: упал на взлете вместе с бомбами в самом начале войны, при втором вылете на Берлин.

Тогда я вспомнил, как командир мне признавался, что сердце у него барахлит...

БАЯН

Отступали мы от Геническа до Ростова-на-Дону.

Помню, вызвали меня раз и сказали:

— Одного смертника надо отвезти в Ростов, берите машину и пять человек охраны.

Мне так не хотелось человека на смерть везти. Но делать нечего. В Ростове у меня дядя военкомом был, я надеялся его повидать.

А этот приговоренный спокойно так сидел. Привели мы его, обыскали, вытащили нож перочинный и портсигар. Ремень сняли и забрали. Отвезли и сдали там, куда надо. Я пошел к дяде — но его не было, и тети Шуры не было — она в деревню поехала с дочкой.

Там я видел воздушный бой: налетела авиация — три «мессершмитта» и три наших И-16. Но эти наши самолеты такие дрянные были, их наштамповали много. Сразу два наших самолета подбили, так один летчик выбросился на парашюте — и немцы его в воздухе расстреляли, такие гады. Это потом у нас появились хорошие самолеты — «Кобра» по ленд-лизу и свои штурмовики... А тогда были никудышные.

Немцы сбрасывали листовки. Один раз я нашел и журнал на немецком языке, видно, выпал с самолета немецкого: смог тогда разобрать про Катюнь и что 12 тысяч поляков расстреляли. Один еврей у нас читал по-немецки — и мы узнали про Катьинский лес.

Немцы тогда первый раз Ростов взяли, мы отступали через Батайск. Ночевали в соломе. Мыши на нас напали: мозоли у кого были, они пообгрызли. Начали отступать в сторону Сталинграда. Помню, переправа через Дон у Аксая. Ростов наши взяли у немцев назад, и потом мы попали на Донбасс, на шестую шахту, в деревню Шарапкино — между Краснодоном и Ровеньками. Там простояли полгода. Тут познакомился я с будущей женой — ее взяли к нам вольнонаемной в телеграфистки. Вначале пришла к нам ее сестра Вера с дочкой. Вера была очень порядочная и красивая, дочка у нее была еще маленькая, Света. А после пришла и моя Мария, фамилия ее была Мухина, прозвали ее в части «Мушкой». Была у нее коса, а мне нравились девочки с косами. Девчонки боялись под немцами оставаться, записывались в армию. У нас в роте связи состояли радисты и телеграфистки, всего было десятка два женщин. Некоторые вели себя распушенно, к ним приставали такие же ребята из части. Я старался честных девочек защищать, пользуясь своей властью старшины. А два раза в году у нас проходили медицин-

ские проверки: и мы уже все в части знали, сколько честных девушек у нас... С Марией мы сошлись уже в конце войны, хотя все эти годы я за ней приглядывал.

Когда мы стояли на шахте у деревни Шарапкино, командир батальона узнал, что я играю на баяне. В задачи батальона входило не только обслуживание самолетов и обеспечение связью — нам надо было еще и отдых для летчиков на земле организовать, делали вечера, на которых летчики танцевали. А что за отдых без баяна? Вот Неймарк и дал распоряжение: надо найти баян для Нечипуренко.

Кто-то узнал, что есть баян в Китай-городке. Там в землянках жили в основном раскулаченные, и у одного человека был баян. Приходим мы к нему вместе с Исайкиным: так и так, у вас баян.

— Есть.

— Мы хотим его выменять для части. Что вам нужно: продукты, вещи, — мы дадим за баян.

— А кто на баяне будет играть?

Я на этом баяне поиграл, попробовал. Он глянул на меня и говорит:

— Тебе я готов отдать. Не надо продуктов, ты мне на память давай китель (а я ходил в летной форме тогда) — и часы.

Часы были с Дальнего Востока, японские. Вот за такую чепуху я получил баян. И потом под него сам Покрышкин танцевал, прославленный ас, который к концу войны сбил более пятидесяти немецких самолетов.

Мама мне, как только их освободили, написала письмо. Рассказала, что бывший голова нашего колхоза Проскура служил немцам, боялся, чтобы те его не расстреляли. Так его люди не выдали, что он колхозным начальником был. Как только немцы пришли, они начали собирать теплую одежду — и он бегал, им помогал. И после войны его уже никто не трогал, он меня встречал из армии и умер в старости. А того заядлого коммуниста Мороза, что ко мне приставал, немцам выдали на третий день — и те его сбросили в колодезь.

Прислали на место командира взвода связи лейтенанта Френка. Его никто не любил, был он совсем никудышный, ножки кочерыжкой... Наш водитель Макаренко научился азбуке Морзе и стал на своей пипикалке сигналить: «Френк дурак, Френк дурак»...

А Френк ко мне подходит и спрашивает:

— Старшина, что это он передает?

— Так вы сами азбуку Морзе знаете — я-то здесь при чем?

После этого вызвал меня майор, заместитель по политчасти, фамилия у него была страшная: Лев.

Глазами чертячьими смотрит, достает пистолет и кладет на стол.

— Вы что, против евреев выступаете?

— Да вы что, найдите хоть одного человека, чтоб это подтвердил.

— Если я услышу, что вы выступаете против евреев, пристрелю на месте.

— У меня мысли такой не было.

Когда мы еще отступали, нам дали задание: дожидаться, пока не заберут листовки, которые должны были разбрасывать с самолетов на оккупированной территории наши перед отступлением.

Вот сидим мы, ждем. А Френк все скулит, ко мне пристает:

— Старшина, когда уедем?

— Пойдите сами, спросите у командира полка.

Он хоть и боялся того, но пошел.

Командир полка на него как заорет:

— А, гаденыш, ты как тут оказался? Я же тебя в ларьке в Ростове видел! Ты куда спрятался? А ну на передовую!

Тот вернулся к нам, весь дрожит. Уже темнота наступает, дождь пошел, и все уехали давно — и за листовками никто не приходит. Едет какая-то машина, остановилась — и знакомый подрывник из нашего полка окно протирает и к нам заглядывает:

— Вы что тут делаете?

— Листовки должны передать.

— Самолеты уже давно все улетели, какие листовки! Мы уже капониры взорвали, мотайте быстрее!

Водитель у нас был отличный, Кульбака, он надел цепи на колеса — и как дал по газам! Нам повезло, что мы ночью ехали: тех, кто ехал днем, немцы бомбили и расстреливали.

Так как ехали мы на спецмашине, нас никто не проверял.

Доехали до Бирюково.

Тут какой-то лейтенант остановил нас. Документы проверяет — и внутрь заглядывает. А там на столе стоит баян.

— У вас тут баянчик... А ну, давай его сюда!

— Не отдадим баяна!

Наши ребята тут начали вооружаться: один гранату достал, другой — карабин.

Лейтенант говорит:

— Неподчинение? Сейчас мы вас тут остановим!

Отдал своим приказ: его солдаты занимают позиции, наводят на нас уже и пулеметы.

Людей вокруг собралось полно, им интересно, чем же дело кончится: отдадут легчики баян или нет? А дело было в низинке, тут мы видим, что на пригорке остановилась машина. Метров сорок от нас. Вышел из нее человек — и стоит в длинной шинели, как Дзержинский. Мне рукой махнул.

Я подбегаю — смотрю, он по званию капитан.

— Что такое, почему люди собрались?

— Да вот, у нас спецмашина, приказано не проверять, а они задумали проверять. Придирается лейтенант, баян хочет забрать.

— А что у вас в машине?

— Радиостанция.

Капитан махнул лейтенанту.

Тот к нему подбежал. Капитан назвал цифру, до сих пор помню:

— 56!

Лейтенант вытянулся перед ним — и говорит нам:

— Уезжайте!

Они там остались — но что капитан с ним сделал, так и не знаю.

* * *

Когда мы отступали, один старик вышел из хаты и сказал:

— Эх вы, вояки, пока не наденете погоны, будете тикать!

Мы думали тогда: какие погоны? Это же в царской армии были погоны. А у нас форма со знаками отличия на петлицах, без погон. Совсем спятил дед!

Пришли на Кавказ — и точно: надели погоны.

И начали наступать.

ТИФ

По дороге на Кавказ я под Майкопом уступил одной женщине место в кабине и сам лег в кузове на бомбах. А был мороз, так я уснул и промерз насквозь: у меня с той поры почки слабые. Есть там станица Тимашевская — 60 км от Краснодара. Моей обязанностью было разместить роту. А там были до нас тифозные. Мы размещали своих с Семёновым, и я там подхватил тиф.

В станице Бабиче-Кореновской положили меня в больницу, и вначале никто не мог определить, что у меня. Тиф у меня, видно, уже прошел, но была высокая температура. А в это время как раз Неймарк был в отъезде — и в части командовал его заместитель, лейтенант, по гражданской специальности — врач-стоматолог. Одна женщина, врач-капитан, тогда и поставила мне диагноз «тиф». Начали по всему району возить.

Нашли тифозный пункт, где никого еще не было — и бросил меня тот лейтенант на койку без матраса: только одеяло вместо матраса подложил и накрыл таким же одеялком. Там в комнате на окне снег лежал — так было холодно.

Я ему говорил:

— Что же ты меня тут бросаешь в холоде! Я тебе отомщу, вот вернусь — будешь у меня знать!

Но так и не отомстил.

Он припугнул главного врача в этом пункте (врач на немцев работала в оккупации). Пункт только организовали, не топили еще. Там я пережил воспаление легких.

Когда вернулся в часть Неймарк, узнал про меня — разгону нашим врачам дал — и они приехали, меня обложили подушками, матрасами, бочку спирта привезли в больницу — и дали лекарства: под подушку положили сульфидин. Его тогда только открыли, он на вес золота был...

У меня кризис был — они со мной говорили всю ночь, врач и сестра, спрашивали, откуда я родом.

А утром уже поздравили — все, пошел на поправку, самое страшное миновало.

После этого случая, когда мы стояли на Тамани, наши летали бомбить немцев в Крыму. Немецкий самолет выследил, какие сигналы давать, чтобы осветили полосу. И зашел как будто к нам на посадку в полночь, ему осветили полосу — а он высypал 33 бомбы.

Было это через два дня после того, как Неймарк ушел от нас на повышение — преподавать на курсы. Командиром части тогда назначили майора Чиркова.

Известно, что главное ночью — светомаскировка. А меня как раз перед тем, как немец бомбы сбросил, попросили дать свет в Красный уголок. И вот пожар, горят самолеты наши, рвутся бомбы, слышно стоны, кричат летчики и техники — я включил лампочку 24 вольта.

Чирков бежит с пистолетом и кричит:

— Кто светит?

— Старшина Нечипуренко.

— Сейчас пристрелю!

Я прыгнул, двумя руками разорвал провода — потухло.

Ко мне в тифозный пункт ходил Иван Иванович Михайлов. Он километров за десять, где наша часть стояла, ходил пешком, приносил продукты. А потом он сам на mine подорвался — в огороде немцы поставили... Я так и не смог к нему зайти, когда он был ранен осколком мины и уже при смерти лежал. У меня не было сил — как подойду к двери санчасти, так останавливаюсь. Долго я искал потом уже, после войны, то место, где его похоронили. Там как раз накрыло наших бомбардировкой, похоронили 18 человек и потом в эту же могилу положили Михайлова. Кажется, это были Туркулы. Я ему выгравировал надпись на дюрале из разбитого самолета. Был он из Тирасполя — и остались там у него жена и сын. Погиб, считаю, он из-за врача — врач наш неумеха, не смог осколком вынуть, а так — разрезал и зашил...

БРАТ

Дело было в конце сорок четвертого, уже под Новый год. Мы тогда были в Польше, в городке Замбров. Ехали на машине с радиостанцией — и остановились на перекрестке. Кузнец подковывал лошадь: нагнулся, одной рукой копыто к груди прижимает, а другой, с молотком, — размахнулся...

И вдруг я вижу, что он так же стоит, скрючившись, — а головы у него нет.

Осколком снаряда начисто снесло: ее потом метрах в двадцати нашли — а руки копыто держат.

Кричат: «В укрытие!» Наши радисты высыпали из машины и полезли в подвал. Я шел последним. И тут опять снаряд.

Тогда я, наверное, был ближе всего к смерти.

Напротив был дом сгоревший — там раньше пожарная команда размещалась, так он сам истлел, но не развалился. Черный сруб из обугленных бревен стоял, как тень.

Слышу: шр-р-р — пыль взметнулась — и вылезит из сруба этого чушка метра в полтора длиной.

Впервые я видел так близко немецкий снаряд дальнобойный: с красной головкой взрывателя, он вылез мне под ноги — и черный прах осыпал сапоги.

Весь сруб насквозь прошел, нигде не встретил сопротивления — и взрыватель не сработал.

Позвонили артиллеристам, они сразу приехали, замерили: снаряд точно, откуда прилетел, направление показал — и полчаса не прошло — накрыли ту батарею.

Немец замолчал.

Вызывает тогда меня командир части:

— Раз такой случай: ты жив остался — проси, чего душа пожелает.

А я ему говорю:

— К брату хочу, не видел его с начала войны...

Брат мой в пехоте служил, в пятой ударной армии, которой командовал Берзарин. Брат мой Ванька был младше меня, он как раз окончил институт — и оказался в оккупации, отсиживался у матери в деревне. Потом, когда их наши освободили, мобилизовали в эту армию. Мы знали, что она несет большие потери: туда как раз набирали таких, кто побывал под немцем, и особенно с ними не считались. По письмам его (какие города взяли) я догадывался, что он где-то рядом. Были такие умники — нас научили, как передать место и номер части в письме. Он и написал вроде чепуху: «Шлю тебе двадцать два привета и девятьсот сорок два поцелуя».

Часть его стояла под Туховичами — что-то около ста пятидесяти километров от нас.

Командир меня пускать не хотел:

— Да ты что! Там же немцы кругом!

Дело было в Польше, мы только что эти места взяли, и в лесах сброду было навалом — попадались даже отдельные немецкие части.

— Да как ты его найдешь? Номер части знаешь?

— Знаю.

— А где стоит?

— Под Туховичами.

— Ну, раз обещал... На двое суток отпускаю, но если что — пеняй на себя.

Выдали мне увольнительную, паек на два дня, прихватил я парабеллум трофейный, и в путь. Подбросили меня наши до ближайшего КПП. Три машины сменил — к ночи так и не добрался до места. Машинам было разрешено только по охраняемым дорогам ездить, так что прямо доехать не удалось.

Последний раз вылез у какого-то хутора — а еще километров тридцать оставалось. Дорога на Туховичи пустая. Никто там не ездит, не ходит — места эти недавно взяли, там немцы в окружении еще оставались, да и поляки пошаливали: среди них были и такие, что против нас.

Зашел я в хату: там хозяйева — старик и старушка.

Мне не очень рады. Лопочут:

— Пан солдат, пан солдат...

Чувствую — что-то неладно.

— Есть еще кто в доме?

— Миц нема, панич.

Но чую: в хате легким табаком пахнет.

— Курите?

— Нет.

Сел я за стол, достал буханку хлеба, консервы. Глядь — а на печи занавеска ворушится... Ну, думаю — мне капут: он меня сквозь щелку видит, а я его — нет.

Вдруг вижу, в окна свет: по дороге машина идет — тут я вещмешок схватил — и ходу! Выбежал на дорогу, по шуму — едет большой «студебеккер», фарами светит, шпарит прилично.

Встал я посредине дороги, руки раскинул. Ничего не оставалось делать.

Он прет, не тормозит, сигналит громко!

Остановился прямо передо мной — в живот бампером уткнулся.

Автоматчики выпрыгивают:

— Дурак ты, руки вверх, кто такой?

— Ребята, возьмите с собой...

Они меня обыскали, нашли парабеллум, и к офицеру. Тот спрашивает:

— Кто такой? Что тут делаешь?

— К брату иду. Вот моя увольнительная.

Как он услышал про брата, подобрел:

— Тебе что, жить надоело? Здесь же никто не ездит и не ходит, немцы в окружении...

— Я брата своего с начала войны не видел.

— А где он служит?

— Под Туховичами его часть.

— А, знаю, есть там. Я тоже брата своего с начала войны не видел. Садись! Повезли они меня.

Остановились:

— Мы тут тебя высадим, а ты иди к тому лесочку. Пройдешь ворота — и в лес сверни. Как часового увидишь — делай все, что он прикажет. Но только не говори никому, что это мы тебя подвезли. Мы со срочным донесением едем — нам запрещено кого-то брать.

Иду. И точно — прохожу лесочек, слышу:

— Стой! Руки в гору! Лягай! Кидай сброю! — часовой, видно, хохол.

Я лег, ночь звездная — я часового вижу, а он меня — нет. И какой дурак так придумал — я же его подстрелить мог легко.

Он сообщил по команде: так делали тогда — подергал за веревку, где-то зазвенело. Слышу — идут. Подняли меня. Спрашивают:

— Кто такой? Шо тут робишь?

— У меня увольнительная...

— Какая еще увольнительная у ночи? Ты шо, с глузду съехал? Ты же в секретную часть лезешь!

Повели меня к офицеру. Докладывают ему:

— Вот летчик, пытался проникнуть в секретную часть.

Поглядел он мои бумаги:

— Авиация! А мы вас только в небе привыкли видеть... И чего же ты пехом тут ходишь?

— Да вот, часть ишу, где брат служит.

— Есть тут такая часть. А кто же тебя отпустил? И ночью?

— Увольнительная на два дня, — оправдываюсь, — а я брата пять лет не видел...

Посмотрел он на меня странно так и говорит:

— Повезло тебе, что дошел. Я тебя расстрелять был бы должен, но ладно: пока переночуешь тут у поляков, у них сын за нас воюет, они хорошие, — а с утра уже покажем, как найти твою часть.

Отвели меня к полякам, которые нам сочувствовали: сами натерпелись при немцах.

Но вначале они тоже на меня поглядывали с опаской — мало ли что...

А я вижу: у них ходики с кукушкой на стене висят.

— Поломаны? — спрашиваю.

— Да, стоят, пан.

Снял я часы, открыл заднюю стенку, почистил — пошли часы.

Как старики обрадовались! Тут же и чугунок с картошкой на стол поставили, и яйца вареные нашлись. А я перед ними «второй фронт» выставил — американскими консервами угостил. Хорошо посидели. Они мне письмо от своего сына прочитали.

Лег я спать. Утром просыпаюсь, сунул руку под подушку, а парабеллума нет!

Тут хозяин меня кличет:

— Жолнеж, жолнеж — пушка!

Парабеллум протягивает.

Смеется — оказывается, ночью он из-под подушки выпал.

Утром вышел я на улицу: вижу, почтальон идет: боец с письмами. Я у него спрашиваю: это такая-то часть? А он — то ли азербайджанец, то ли армянин — молчит — им не велено говорить. Я за ним увязался. Он так и шел молча, но потом остановился, завернул в сторону — и мне рукой показал на полевую кухню.

Я подошел туда, там повар, спрашиваю: тут такая-то часть?

Он посмотрел на меня подозрительно и кричит:

— Петро! Беры винтовку и иды сюды! Тут один хоче дуже багато знаты!

Появился Петро и отвел меня в блиндаж к командиру батальона. Я еще и ему про брата рассказал.

Он спрашивает:

— А брат у тебя грамотный?

— Да, институт окончил.

— Тогда знаю — он тут в газете писал.

Повели меня, землянку показали:

— Там он, братан твой.

А уже светает, и побудку играют.

Со всех сторон люди бегут, на меня показывают:

— Этот человек к брату пришел.

Идут следом: им же интересно: такое дело — братья встречаются. И командир батальона тоже идет.

Гляжу, а он уже бежит навстречу, братуха мой! В обмотках, смешной... В сорок первом ему было двадцать один, а теперь все двадцать пять! Ему уже кто-то успел сказать, что брат пришел. Мы обнялись — сколько же не виделся. Он от волнения плачет, я его утешаю — и начинаю плакать сам...

Только сели поговорить, а тут боевая тревога. Вскочили все. И брат тоже. Собрались быстро. Команда: «Батальон, равняйся, смирно! Шагом марш!»

И потопали куда-то.

А я бегу за ними, рядом с колонной: куда мне деться, что мне делать?

Командир говорит:

— Посторонним тут нельзя, вы летчик, уходите.

Тут их и на передовую могут бросить.

Ванька тоже чуть не плачет — он минометчиком был, тащит свою дуру:

— Иди, братуха, тут нельзя...

Что делать: только увидел брата — и расставаться?

Слава богу, прошагали минут десять — и отбой, отменили тревогу.

Назад вернулись.

Ну, тут уж мы с братухой посидели... Повар — тот, что меня недружелюбно встретил, нам специально обед прислал. И запас у нас был — им фронтвые стограмм выдавали, и я с собой привез. Правда, мы не особые любители выпить. А к нам все заглядывали, на брата показывали и говорили:

— ЭТО ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ БРАТ ПРИШЕЛ!

Ну, а назад мне уже легче было добираться.

Когда вернулся я на место, откуда выходил в путь — своей части уже не застал. Долго бы пришлось искать — но тут наши летчики помогли — взяли меня на самолет, доставили к своим: мы часто тогда меняли аэродромы — наступали...

РУЖЬЕ

Служил у нас Валентин Скорик: командовал автоколонной, были у него машины и мотоциклы, — так он меня выучил ездить на мотоцикле. А я потом выучил Героя Советского Союза, летчика-разведчика Кулагина. Для Кулагина после полета подавали машину, но он предпочитал мотоцикл. Кулагин мне потом помог в одном деле, с трофейным ружьем. Но все по порядку.

Скорик жену нашел в армии: самая красивая в части у нас была — Добрынина. С ней жил Неймарк, а когда он уехал, то сошелся с ней Скорик. А женились в армии так: было дело уже в конце войны, в Германии, в Штетине (потом этот городок перешел к Польше). Майор Чирков построил батальон, вызвал нас — было всего в батальоне таких восемь пар (мы с Марией, Скорик с Добрыниной и другие):

— Раз вы выбрали друг друга, селитесь в квартиры и живите, я вас освобождаю от воинских обязанностей до демобилизации. Объявляю вас женами, распишитесь вы уже дома, разрешаю жить отдельно, здесь много квартир: выбирайте — и живите.

Там домов немало брошенных стояло, такие все аккуратные, ухоженные, — а хозяева от нас убежали. Нам предложили трехкомнатную квартиру, там оставалась женщина, хозяйка, но она должна была уйти. Мы как пришли туда, так она нам понравилась, культурная женщина. Когда засобиралась уходить, я ей сказал, что она может остаться, пусть живет в своей комнате, места хватит... Она очень обрадовалась, осталась, потом мы вместе обедали. Общались мы на смеси языков — она знала немного русский и польский.

Один раз закричала — нас позвала к окну. Там поляки вели колонну пленных немцев. Так она сказала нам, что так же поляки раньше водили пленных русских солдат...

Командир части поставил мне условие:

— Как восстановишь электричество в Штетине, так отпущу тебя с женой из армии.

Немцы, отступая, взорвали генератор, и весь городок был обесточен. Делать нечего: взялся я за дело. Нашли где-то в одном из хозяйств генератор, приволокли дизель, подключили, как я им сказал... А дизель был на торфяном угле. И вот все собрались, раскопегарили дизель, машина воеет... Сам командир части Чирков снял китель, уголь в топку подбрасывает. Замыкаю я цепь, а напряжения нет, лампочки не горят. Что делать, такой конфуз — все смеются... И тут я догадался, что в магнето не осталось намагниченности — машина давно не работала. Взял я батарейку от фонарика, присоединил к клеммам — и этого хватило, чтобы ток индуцировать! Лампочки загорелись. Все в ладоши хлопают... В общем, осталось мне до демобилизации несколько дней.

Тогда вокруг было много ценных вещей, и особенно ценились немецкие ружья.

Одно такое ружье появилось у нас откуда-то в части — и потом пропало. Было оно прекрасно. Раз ко мне приходит Скорик, приносит ружье, завернутое в тряпку. И говорит:

— Это самое лучшее ружье. Неважно, где я его достал — пусть будет у тебя.

Я пошел тогда на охоту — там отличные водились фазаны. Взял жену: я тогда уже демобилизовался, мы должны были со дня на день домой уезжать. В тот раз двух фазанов подстрелил. Но навстречу нам попался один товарищ — и донес на меня начальнику штаба Удалову.

Тот ко мне пришел и говорит:

— Мы знаем, что у тебя это ружье. Мы тебя не выпустим с ним. Давай, я тебе семь тысяч денег дам и другое ружье в придачу.

Делать нечего: пришлось соглашаться.

Но он меня обманул: три тысячи дал сразу, а остальное, сказал, что потом отдаст. А когда я его потом спросил, он говорит:

— С тебя будет довольно.

Когда я демобилизовался, уже дома у матери пошел на охоту. А тут начальник милиции:

— Где документы на оружие?

Забрал то ружье. Решил я написать письмо в часть. Но кому, разве этому Удалову? Я вспомнил тогда Кулагина, написал ему, — и ответили мне из части, что этим ружьем меня премировали.

Так что ружье мне на родине вернули.

* * *

Майора Неймарка в части все уважали. Когда он уходил от нас, то вызвал меня, пригласил в столовую для офицеров. Говорит подавальщице:

— Две порции!

— Только одна осталась.

— Тогда раздели на двоих.

Сели с ним напротив друг друга, и он говорит:

— Ухожу от вас, переводят. Во всей части есть три человека, с которыми не хотел бы расставаться: Исайкин, Семёнов — и ты.

Неймарк был такой человек, что потом, до конца войны, все мы, встречая своих, кого разбросала судьба, первым делом не здоровались, а спрашивали:

— Где Неймарк, знаешь?

Но так мы и не узнали, где он и как... С Семёновым и Исайкиным мы сохранили дружбу на всю жизнь. Сейчас они в Москве живут, но собраться и увидеться уже трудно — всем за девяносто, плохо видим, еле ходим. Но созваниваемся, про здоровье узнаем, какие у кого новости...

Держимся друг за друга — вот уже шестьдесят лет.

АВТОРЫ НОМЕРА

Атаманов Геннадий Иванович родился в 1950 г. в городе Бийске. Член Союза журналистов России. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

Ивантер Алексей Ильич родился в 1961 году в Москве. Учился в МГПИ им. Ленина. В 1989 возглавил (совместно с Алексеем Сосной) издательство «Постскрипtum». В настоящее время возглавляет проектно-конструкторское бюро амфибийной авиации. Автор книг стихов «Держава жаворонков», «Дальнобойная флейта», «Каменная правда». Живет в Москве.

Кручинин Сергей Иванович родился в 1939 года в г. Ивантеевка. Окончил новосибирскую консерваторию, 41 год работал в академическом симфоническом оркестре филармонии, возглавляемом Арнольдом Кацем. Писал сценарии для «Новосибирсктелефильма» и для московской студии «Центрнаучфильм», издал несколько повестей и рассказов. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Ладыгин Игорь Валерьевич родился в 1976 году. Окончил Новосибирскую академию экономики и управления. Кандидат технических наук, военный историк, член Новониколаевского военно-исторического клуба. Автор книг: «Ново-Николаевск в военном мундире. 1904—1920 гг.», «История 41-го Сибирского стрелкового полка». Живет в Новосибирске.

Науменко Виталий Владиславович родился в 1977 году в г. Железногорск-Илимский Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат премии им. Виктора Астафьева, журнала «Интерпоэзия», победитель Волошинского конкурса. Публикации: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Крепцатик», «Арион» и др. Живет в Москве.

Смирнов Алексей Константинович родился в 1964 г. Публикации в журналах «Новый мир», «Звезда», «Нева» и пр. Автор ряда сборников прозы. Член СРП. Живет в Санкт-Петербурге.

Стахнёва Яна Александровна родилась в 1989 году в г. Камень-на-Оби Алтайского края, окончила факультет журналистики Алтайского государственного университета. Работает специалистом по PR. Живет в Новосибирске.

Стручкова Нина Николаевна родилась в 1955 году в деревне Погореловка Моршанского района Тамбовской области. Окончила Литературный институт имени Горького. Автор поэтических книг и множества публикаций в периодических изданиях, коллективных сборниках и антологиях. Член Союза писателей России.

Чванов Михаил Андреевич родился в 1944 году в деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирии. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Автор более 20 книг прозы и публицистики. Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом Почета. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Уфы, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, президент Аксаковского фонда, директор уфимского Мемориального дома-музея Сергея Аксакова, лауреат Большой литературной премии России, премий имени Константина Симонова и Сергея Аксакова.

Ярцев Владимир Иванович родился в 1945 году в селе Пильно Алтайского края. Окончил историко-филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Автор нескольких поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Сибирские огни», «Мангазeya», «Дети Ра» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.